

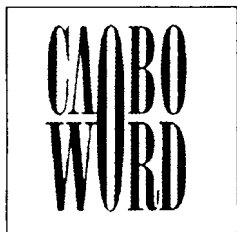
МИНА ПОЛЯНСКАЯ • «Я - ПИСАТЕЛЬ НЕЗАКОННЫЙ...»



*Мина Полянская*

# **«Я - ПИСАТЕЛЬ НЕЗАКОННЫЙ...»**

Записки и размышления о судьбе  
и творчестве Фридриха Горенштейна



**Мина Полянская**

**«Я – писатель незаконный...»**

**Записки и размышления о судьбе и  
творчестве  
Фридриха Горенштейна**

**Слово Word  
New York 2003**

*Писателю, исследующему романтическое горение истории, требуется увлекательная мечта алхимика, забывающего о трудностях и неудачах при составлении самых фантастических обобщений и предположений, и одновременно отвага пожарного, идущего в пламя и разгребающего головешки, пышущие жаром истории. Потому, в случае удачи, такие писатели достойны высочайшей награды. Я имею в виду не Нобелевские и прочие подобные элитарные камерные комнатные, как герань, награды, а медаль «За отвагу на пожаре» или «За отвагу на пожарище».*

*Ф. Горенштейн. Вербочная книга*





Часть I.

# **Страницы жизни**

# 1. «ТАМ НА ШАХТЕ УГОЛЬНОЙ ПАРЕНЬКА ПРИМЕТИЛИ...»

---

У первого «мемуариста» положение самое нелегкое, оно требует огромного душевного напряжения, поскольку все еще очень близко, и многие события не созрели для бумаги из-за краткости временного расстояния. Тем не менее, берусь за перо. Впрочем, есть и преимущество у первого рассказчика: меньше риска аномалий памяти и, соответственно, искажения фактов. Кроме того, рукопись можно прочитать друзьям писателя, моим помощникам и советникам, доверившим мне материалы о нем и письма. Надеюсь, что они укажут мне на неточности, которыми соблазнилась моя память.

Эта книга об одном из замечательных, еще не до конца оцененных русских прозаиков, драматургов и киносценаристов второй половины теперь уже прошлого века – Фридрихе Горенштейне. В «каноническую» историю советской литературы он вошел, наряду с Василием Аксеновым, Андреем Битовым и Виктором Ерофеевым, прежде всего, как участник шумевшего диссидентского альманаха «Метрополь» (1978).

Знатоки и любители литературы высоко ценят Горенштейна и вне политического контекста – как художника. «Так не умел и не умеет никто, ни среди предшественников, ни среди ровесников, ни среди тех, что идут следом», – писал о мастерстве Горенштейна Симон Маркиш. «Вторым Достоевским» величал его Ефим Эткинд. «Тургеневскую чистоту русской речи в прозе» отмечал Марк Розовский. Иконописцем литературы (писателем «обратной перспективы») – называл Лев Аннинский.<sup>1</sup> «Единственным русскоязычным кандидатом на Нобелевскую премию», «великим» писателем, «которого одни не заметили, а другие замолчали» – Виктор Топоров. Писателем, наделенным «могучим эпическим даром», – Борис Хазанов. Горенштейн – «классик русской прозы», сказал в некрологе Александр Агеев, и выразил опасение: «похоже, что и после смерти судьба его легкой не будет».

В то время как в Германии и Франции знать и читать Горенштейна считается «хорошим тоном» (так, например, Франсуа Миттеран был поклонником его таланта), широкому русскому читателю он пока мало знаком. В России он известен, скорее, «широкому зрителю» как сценарист фильмов «Солярис» и «Раба любви» или автор пьесы «Детоубийца», которая с успехом ставилась во многих театрах, в том числе в Александринском (Петербург) и в Московском Малом драматическом. Немногие, однако, читали его политический роман-детектив «Место», посвященный хрущевской оттепели, и роман-притчу «Псалом», в котором перелистываются страшные страницы советской истории. Хотелось бы надеяться, что моя книга поможет российскому читателю найти путь к творческой личности Горенштейна.

С 1980 года писатель жил в Западном Берлине. Мне в качестве редактора берлинского журнала «Зеркало Загадок», где он публиковался, довелось с ним познакомиться, а затем и подружиться. Начну свои записки, однако, не с рассказа о моем знакомстве с Фридрихом Горенштейном, – сделаю это позже, – а соберу воедино старость и юность, детство и зрелость, и изложу свое понимание того, что составляло фабулу его биографии, явилось главным импульсом творчества – его сиротство.

Фридрих Горенштейн родился в Киеве в 1932 году в семье профессора-экономиста. Отец, Наум Исаевич Горенштейн (1902-1937), родом из Бердичева, был арестован и приговорен 6 сентября 1937 года «Особой тройкой» УНКВД по Дальстрою к расстрелу.

Много лет спустя, в 1995 году, Фридрих получил в «органах» копию приговора той самой «тройки» и показывал мне этот «продукт» изодренной инквизиции эпохи Советов. Приговор был приведен в исполнение 8 ноября 1937 года – такая дата стояла в документе. Кроме того, Горенштейну показали «дело» отца, которое он внимательно прочитал. Выяснилось, что отец его был не совсем случайной жертвой сталинского молоха. Молодой профессор был посажен за «дело»: он доказал нерентабельность колхозов. «Как будто бы колхозы были созданы для рентабельности, – говорил Горенштейн, – наивный отец! Романтик!» Отец был обвинен в саботаже в области сельского хозяйства. В документах по обвинению постоянно фигурировала дама по фамилии Постышева, оказавшаяся сестрой Павла Петровича Постышева – члена президиума ЦИКа СССР, секретаря ЦК КП Украины, впоследствии (1939) также не избежавшего Молоха. Сестра Постышева, специалист по эконо-





Отец Фридриха,  
Наум Исаевич Горенштейн



Мать Фридриха,  
Энна Абрамовна

мике и сельскому хозяйству, оказалась главным разоблачителем Наума Исаевича Горенштейна.

Горенштейн рассказал о своем отце в романе «Веревочная книга». «Мой отец, – писал он, – молодой профессор экономики, был специалистом по кооперации. Кооперативные предприятия резко отличаются как от капиталистических, так и от хозяйственных организаций, имеющих принудительный характер».<sup>2</sup>

Мать, Энна Абрамовна, урожденная Прилуцкая, по образованию педагог, была директором дома для малолетних нарушителей. После ареста мужа она скрывалась у своих родственников на Украине, вернув себе девичью фамилию, сына она тоже записала Прилуцким, чтобы оградить от возможных преследований. (Впоследствии писатель вернул себе фамилию отца<sup>3</sup>.) Перед самой войной Энна Абрамовна с девятилетним мальчиком скрывалась в Бердичеве у своих сестер, но уже очень скоро вынуждена была покинуть этот город. Горенштейн писал: «Восьмого июля 1941 года, через 17 дней от начала войны, танки немецкой дивизии победным маршем ворвались в Бердичев, «стратегически важный объект», как обозначен был Бердичев на оперативных немецких военных картах. А стратегического было в Бердичеве – только старьевщики и их клиенты. «Веселые немцы... ехали на танках и грузовиках, смеялись и кричали: «Juden kaput!»<sup>4</sup>. Фридрих рассказывал, что чуть было тогда не погиб от разорвавшейся рядом бомбы. Им удалось с матерью сесть в последний эшелон, отправлявшийся в эвакуацию.

Однако самое жестокое испытание для мальчика было еще впереди. Мать заболела и умерла прямо в поезде. На какой-то станции ее вынесли из вагона, а девятилетнего Фридриха отправили в детский дом. Так рассказывал он мне эту историю. Я не случайно останавливаюсь на этом трагическом факте, поскольку это факт не только биографический, но и литературный. Он лег в основу рассказа, благодаря которому советский читатель впервые познакомился с творчеством Горенштейна – «Дом с башенкой», и наложил неизгладимый след на все его творчество.

В рассказе мальчик едет с мамой в поезде в Сибирь в эвакуацию. Она болеет, на станции ее уносят на носилках и отвозят в больницу. Мальчик тоже выходит из поезда, мечется по городу в поисках единственной в городе больницы, куда увезли мать, и не может ее найти. Он плутает вокруг городской площади у противоположной стороны вокзала, на которой стоит одноэтажный старый дом с башенкой, и у которого старуха торгует рыбой.

В конце концов он находит больницу (нужно было, оказывается, на этой площади сесть в автобус и ехать довольно далеко), в которой мать умирает у него на глазах. И вот он снова на площади, которая, как мне кажется, покрылась теперь белым саваном: «Она была совсем незнакомой, тихой, белой. Дом с башенкой был другой, низенький, и очередь другая, и старуха больше не торговала рыбой». Рассказ «Дом с башенкой», напечатанный в «Юности» в 1964 году, остался единственной российской доэмигрантской публикацией Горенштейна. Анна Берзер, литературный редактор «Нового мира» времен Твардовского, в рецензии писала тогда: «Наивное, детское (да и не только детское) цепляние за проблеск надежды и жестокое, безжалостное, невысказанное для детской души уничтожение этой надежды – вот что по существу составляет содержание рассказа «Дом с башенкой».

Действие рассказа отличается от реальных воспоминаний писателя. Вместо короткой сцены выноса тела матери, здесь долгие, мучительные метания по заснеженному городку. Впрочем, иногда мне кажется – может быть, виной тому воздействие художественности, – что рассказ с его бесконечной станцией, привокзальной площадью, вагоном, в котором мальчик едет дальше один, то есть «художественная» правда, ближе к действительности, чем признавал сам писатель. Дом с башенкой, вокруг которого блуждал мальчик и зафиксировался в детском сознании как символ смерти матери, не придуман им, и остался тайным наваждением будущего писателя. Именно тайным, то есть правдой, которую он способен был высказать лишь в отчужденно художественной, фикциональной сфере. Может быть, где-то в оренбургской степи, в маленьком городке стоит одноэтажный старый дом с башенкой, символ внезапно грянувшей беды – панического сиротства и одиночества, к которому Горенштейн мысленно возвращался всю жизнь. Стоит, не ведая, какие силы всколыхнул.

В 1995 году Горенштейн ездил в Москву<sup>5</sup> и привез оттуда документ, свидетельствующий о том, что он был в эвакуации. Он тогда еще сказал:

«Мать моя была мудрая женщина, обо всем позаботилась, везде, где нужно, меня вовремя зарегистрировала. Благодаря этому документу я буду получать пенсию как жертва геноцида».<sup>6</sup> Можно предположить, что эта регистрация произошла как раз в том городе, который фигурирует в рассказе.

Горенштейн в 60-х годах написал для Андрея Тарковского сценарий «Возвращение» – продолжение своего рассказа «Дом с башенкой». Главный герой, уже взрослый человек, искал могилу своей матери и, как рассказывал Горенштейн, «утра-

ченное время». Этот сценарий со «сложной психологией» правился Тарковскому. Идею, однако, не удалось осуществить. В памфлете «Товарищу Маца» Горенштейн написал: «...Могила моей матери – где-то под Оренбургом, могила отца – где-то под Магаданом. Я поставил им памятники: матери – роман «Псалом», отцу – роман «Место».

Деятилетний мальчик был отправлен в детский дом. К концу войны детей, которые помнили, из каких мест они родом, отправляли в детские дома «по месту жительства» в надежде, что найдутся какие-нибудь родственники и заберут ребенка. Фридрих, конечно, помнил, что родился в Киеве, и его распределили в какой-то детский дом на Украине. Его и в самом деле отыскивали сестры матери из Бердичева – Рахиль и Злота. В своей пьесе «Бердичев»<sup>7</sup> он оставил им подлинные имена. Тетки вернулись в Бердичев из эвакуации в 1944 году, сразу же после его освобождения, и застали пустую разоренную квартиру. У младшей сестры Рахили муж ушел добровольцем на фронт и погиб под Харьковом. Нужно было содержать, кроме Фридриха, двоих своих детей, так что жили в постоянной нужде. Старшая сестра Злота, старая дева, считала себя опекуной Фридриха. Она зарабатывала шитьем, что было рискованно в сталинские времена.

После скитаний и долгих детдомовских лет мальчик оказался в кругу родственников, в пестрой обстановке послевоенного быта с портретом Сталина над старым продавленным диваном и гипсовым бюстом Ленина на буфете. В ремарке к третьей картине пьесы «Бердичев» Горенштейн описывает накрытый в честь новогоднего праздника стол «в духе роскоши 46-го года»: «Стоят эмалированные блюда с оладьями из черной муки, тарелка тюльки, несколько банок американского сгущенного молока, жареные котлеты горкой на блюде посреди стола, картошка в мундире, рыбные консервы, бутылка сидро и бутылъ спирта». За столом дружно и вдохновенно звучат застольные песни на смешанном русско-еврейско-украинском немыслимом языке, своеобразном явлении советско-еврейского конгломерата, густо замешенном на неповторимом местном колорите. Поют песню о Сталине на идише, «шедевр» еврейского фольклора:

*Лоз лыбен ховер Сталин, ай-яй-яй-яй, ай.  
Фар дем лыбен, фар дем наем, а-яй-яй-яй.  
Фар Октобер революци, ай-яй-яй-яй-ай.  
Фар дер Сталинс конституци, ай-яй-яй-яй.*

(Пусть живет товарищ Сталин, ай-яй-яй-яй-ай. За жизнь новую, ай-яй-яй-яй. За Октябрьскую революцию, за сталин-



скую конституцию). Тут же дружно подхватывают песню о вожде народов, уже по-русски: «Встанем, товарищи, выпьем за Сталина, за богатырский народ, выпьем за армию нашу могучую, выпьем за доблестный флот...»

В пьесе «Бердичев» Рахиль и Злота выходят на балкон и наблюдают за дракой во дворе «дружбы народов» – украинского, русского и еврейского. Злота, в отличие от взрывчатой «огненной» Рахили, медлительна, и к тому же она плохо слышит. Она подносит ладонь ко лбу козырьком, прикрываясь от солнца, чтобы лучше видеть.

«Рахиль. Гоем шлуген зех...»

Злота. Что такое?

Рахиль. Гоем дерутся...

Колька (лейтенанту). Оторвись!

Злота. Вус эйст «оторвись»?

Рахиль. Оторвись – эр зол авейген... Чтоб он ушел.

Злота. Ну так пусть он таки уйдет... Пусть он уйдет, так они тоже уйдут...

Рахиль. Ты какая-то малоумная... Как же он уйдет, если они дерутся?..

Злота. Чуть что, она мне говорит – малоумная... Чуть что, она делает меня с болотом наравне...

Рахиль, Ша, Злота... Ой, вэй, там же Виля...

Злота. Виля? Я не могу жить...

Рахиль (кричит). Виля, иди сюда... я тебе морду побую, если ты не пойдешь домой.

Виля. Оторвись!

Рахиль (Злоте). Ну, при гоем он мне говорит: оторвись... Язык чтоб ему отсох...

Витька (лейтенанту). Оторвись!

Лейтенант (озверев). Под хрен ударю!

Злота. Что он сказал? Хрон?

Рахиль (смеется). Ты таки малоумная. Оц а клоц, ын зи а сойхер...»<sup>8</sup>

Бердичев и квартира в сером кирпичном доме с «пузатыми» железными балконами и длинными деревянными верандами, выходящими в двор, стали для Фридриха приметамы домашнего очага. Он впоследствии воистину воспел Бердичев. Если бы бердичевляне знали, как он описал их город в романе «Попутчики» (о пьесе «Бердичев» уже и не говорю) с его старой водонапорной башней, которая видна была отовсюду, чугунными узорными оградами и старинными мостовыми, изумительной красоты православным кладбищем, с его особой атмосфе-

рой и исторической судьбой, то они поставили бы памятник создателю неповторимого образа Бердичева.

Когда я однажды рассказала Горенштейну, что предки мои по материнской линии (Лернеры) выходцы из Бердичева, откуда они во второй половине 19-го века во время русско-турецкой войны отправились в Бухарест, он сказал мне: «Если ваши предки жили в Бердичеве, то это значит, что они были свободными людьми! Без гетто – комплекса маленьких местечек с их гнетущей подавляющей атмосферой, страхом перед внешней средой и внешним окружением. Это ведь был в России единственный крупный город – со своей большой ярмаркой и городскими привилегиями, – который был доступен евреям, где они могли свободно себя чувствовать».

В одной из своих последних работ, в эссе «Как я был шпионом ЦРУ», писатель постоянно возвращается к довоенному и послевоенному Бердичеву, создавая его особую городскую семантику в лучших традициях писателей-урбанистов. Он сокрушается, что снесли красавицу-водонапорную башню, уничтожили бульвары, вырубил старые каштаны, разрушили старые дома в стиле барокко и рококо.

«Такие дома барокко и рококо с ажурными балконами, в которых еще успели пожить Рахиль и прочие персонажи моей пьесы «Бердичев», теперь разве что в Берлине, Вене, Милане и прочих подобных городах увидишь... В бывшем городе Бердичеве, еще с башней, бульварами и домами в стиле рококо и барокко, чудные старики-старьевщики ходили по мощеным старым булыжным улицам и к радости детворы кричали: «Айн галош – а ферделе! Один галош – лошабочка!» И детвора сбегалась со всех сторон, несла старые галоши, старые башмаки, позеленевшие медные шпингалеты, ржавые замки... А в оплату получали глиняные лошадки и коровки, куколки, свистульки, сладкие красные и зеленые петушки и рыбки на палочке, а кто был поразумней и поэкономней, брал копейку. Эта еврейская жизнь веками цепко, как растение у забора, цвела и цеплялась корнями, изо всех сил пила соки этой благодатной Божьей земли, невзирая на все погромы, порубки и злобу «коренных» дубов и колючих кустарников, желавших все Божьи соки пить самим».

Страницы о Бердичеве в романе «Попутчики»<sup>9</sup>, на мой взгляд, одна из вершин творчества Горенштейна. Главный герой романа писатель Феликс Забродский оформил командировку в Здолбунов, казалось бы, без всякой необходимости. Заказанный издательством фельетон он вполне мог бы написать и без посещения «места происшествия». Однако была у него для поездки тайная причина: «захотелось опять проехать ночью

мимо маленьких станций юго-запада, особенно мимо Бердичева». На подъезде к станции герой размышляет о городе, в котором жил всего четыре года в ранней юности. Тем не менее, всегда, когда он подъезжает к Бердичеву (что случается редко), его охватывает ни с чем не сравнимое волнение. Он сожалеет о том, что само название города стало символом комически-постыдного. Несправедливо обиженный, затравленный город, думает он. Поезд стоял у станции «Бердичев» всего три минуты. Бердичевляне на перроне беспрерывно кричали, выкрикивали имена, звали, искали друг друга. Забродский вдруг, неожиданно для самого себя, в смятении чувств, бросился к двери и, держась за поручни, подавшись вперед, насколько возможно, стал «выкрикивать» свое собственное имя. «Забродский, Забродский, Феликс Забродский!» – кричал он самозабвенно. «Пусть мое имя и фамилия окунутся в бердичевский воздух, поплывут в нем вольным стилем, обогнут здание вокзала, приземлятся на бердичевский бульжник, поскачут по трем городским бульварам, которые тянутся от самого вокзала к центру, далее к тому месту, где стояла ныне покойная, знаменитая бердичевская водонапорная башня, сложенная из серого старинного кирпича». На такой пронзительной феллиниевской ноте произошла встреча с Бердичевым<sup>10</sup>.

Поезд медленно тронулся и в который раз появилось непреодолимое желание сойти с поезда и уйти вглубь города, окунуться в него и, может быть, пройти к дому, где жил в юности, и где не осталось никого из родственников и близких. «Пока не поздно, пока поезд движется медленно, хорошо бы сойти, снять номер в бердичевской гостинице, утром погулять по бульварам, потом пойти в гости к Гуманюку в его кулацкую хату, сделанную по-хозяйски, крытую цинком. Выпить сахарного самогона, поесть великого сала, поесть жирных баклажан, поесть вареников с вишнями. Нет, опять я проехал мимо Бердичева. Сегодня буду ночевать в гостинице города Здолбунова, Ровенской области. Потому что у меня нет сил жить в бердичевской гостинице. В Бердичеве я мог бы спать только в домашних условиях».

Однако вернемся к юному Горенштейну. В Бердичеве он учился в школе и получил аттестат зрелости. Злота и Рахиль понимали, что дать высшее образование сыну «врага народа» будет трудно. В пьесе Бердичев Злота говорит о Виле (в этом подростке мы узнаем самого автора): «Пусть ваши дети будут слесари, а Виля будет большой человек, большой врач или большой профессор, как его отец. Люди еще лопнут, глядя на него».

Сын «врага народа» мог поступить либо в мукомольный, либо в горный институт. Горенштейн поступил в Днепропетровский Горный институт. Могу себе представить, с какими слезами и напутствиями отправляли юношу поступать в «шахтерский» институт. У Злоты были серьезные основания для беспокойства: Фридрих в детском доме болел полиомиелитом (во время войны прививок не делали) и с тех пор едва заметно прихрамывал. «С такой ногой только на шахте работать! – причитала Злота. – Врагам моим такого не пожелаю!» Однако снарядили в дорогу, дали целую сумку с продуктами. Там, в этой сумке, чего только не было: и банка гусиного жира со шкварками и жареным луком, и коржики, и банка свежесваренного варенья из крыжовника, и жареная курица. А в институте выдали нарядный черный мундир с золотыми погонами. Правда, Фридрих надевал его только по торжественным дням, а в остальное время носил коричневую вельветовую куртку, которую сшила ему Злота.

В 1955 году Горенштейн стал обладателем диплома горного инженера и получил распределение на шахту в Кривой Рог. Отсюда у автора будущего романа «Зима 53-го года» знание шахтерской профессии. Герой повести, – его зовут Ким – как и автор, человек с неподходящей анкетой, у него также репрессированы родители. Обвиненный в космополитизме, Ким отчислен из университета (он проявил самостоятельность мысли, заявив однажды, что Ломоносов ошибся, считая источником подземного жара горение серы). Ким, сын «врага народа», работает на шахте под постоянной угрозой ареста и в конце повести погибает. Примечательно, что герой, так же как и Фридрих (в честь Энгельса), назван в духе времени. Ким – аббревиатура. (Коммунистический союз молодежи, как известно, до войны назывался Коммунистическим интернационалом молодежи, сокращенно КИМ.)

Высказывания критиков, звучавшие в 60-х годах как политический донос, о том, что труд советского человека в повести Горенштейна показан хуже подневольного каторжного труда в сталинских лагерях, вполне справедливы. Безысходное положение, в котором находился Ким, ничуть не лучше положения Ивана Денисовича из повести Солженицына. Более того, в то время как у Ивана Денисовича остается хотя бы надежда выжить и освободиться, «свободный» Ким знает, что надежды нет – «освободиться» можно либо в лагерь, прямоком к Ивану Денисовичу, либо в смерть, что, собственно, и произошло, когда исчезла последняя опора жизни – любовь к ней. «Когда природа отказывает ему в праве любить себя, любить воздух, воду, землю, он гибнет. И чем чище и нравственней чело-



век, тем строже с него спрашивает природа, это трагично, но необходимо, ибо лишь благодаря подобной неумолимой жестокости природы к человеческой чистоте, чистота эта существует даже в самые варварские времена»<sup>11</sup>.

Мне кажется, что Горенштейн в «Зиме 53-его года» «намекал» на знаменитую повесть Солженицына и даже полемизировал с ней. Дескать, зачем далеко ходить? Вы пишете об экстремальных условиях в сталинском подневолье, а я покажу, что на воле бывало не лучше. Смерть Кима, говорит писатель, «страшнее любых земных мук». Как бы ни издевались над человеком, он, «искалеченный раскаленным железом, терзаемый стыдом, унижением, болью по невозвратному, очнувшись или забывшись, в промежутки между пытками или приступами боли, в течение часа или долей секунды, а это не важно, потому что время условно, может увидеть либо представить себе родные ему лица, глотнуть свежего воздуха, наконец, просто лечь поудобнее»<sup>12</sup>.

Намеренно провожу эти «параллели», поскольку обе повести предназначались для премьеры в «Новом мире» с временным промежутком всего лишь в три года. Впрочем, для эпохи уходящей «оттепели» — это солидное временное расстояние. Литературный редактор судьбоносного тогда журнала Анна Берзер «Ивана Денисовича» сумела «протолокнуть» (а, как потом стало известно, повесть Солженицына была опубликована еще и по личному распоряжению Хрущева), а «Зиму 53-его года» — «протолокнуть» не смогла. Во вступительной статье Инны Борисовой к книге Анны Берзер «Сталин и литература»<sup>13</sup>, рассказывается о скандале, возникшем в «Новом мире» в связи с тем, что Анна Самойловна приложила максимум усилий для того, чтобы опубликовать повесть «Зима 53-го года». «Ей не удалось опубликовать повесть Фридриха Горенштейна «Зима 53-его года. Эта история едва не окончилась уходом ее из журнала. Но Твардовский ее не отпустил»<sup>14</sup>.

С каким чувством Фридрих спускался в черную глубину шахты, подальше от «воздуха, деревьев и звезд», можно только догадываться. Рассказывать о работе на шахте он не то что не любил — категорически не хотел. Когда я попросила Горенштейна подробнее рассказать о работе на шахте, он ответил мне только: «Читайте внимательно «Зиму 53-его года». Часто он напевал песню из кинофильма «Шахтеры», что в контексте берлинских реалий, а также моих познаний о каторжном труде на шахте из романа Фридриха, слушалось, как фантазмагорические соляризовские мотивы:

*Спят курганы темные,  
Солнцем опаленные,  
И туманы белые  
Ходят чередой.*

*Через рощи шумные  
И поля зеленые  
Вышел в степь донецкую  
Парент молодой.*

Я тоже помнила слова песни Бориса Ласкина, и затем мы уже пели вместе песню о романтике шахтерского труда:

*Там, на шахте угольной,  
Паренька заметили,  
Руку дружбы подали,  
Повели с собой.*

*Девушки пригожие  
Тихой песней встретили,  
И в забой отправился  
Парень молодой.*

Фридрих, как и его герой Ким, попал в аварию: в шахте случился обвал. Целые сутки он простоял в забое по колено воде (к тому же еще и повредив и без того большую ногу), пока его оттуда не вытащили. Больная нога беспокоила его до конца жизни. «Дни работы жаркие, на бои похожие, в жизни парня сделали поворот крутой», причем поворот не менее крутой, чем когда-то бесконечное кружение вокруг дома с башенкой. Полагаю, что с «Зимой 53-го года» произошло то же, что и с «Домом с башенкой» – говорить о самых тяжелых этапах своей жизни писатель мог только языком литературы.

## 2. НАРИСОВАННЫЕ ФОТОГРАФИИ

---

Однажды Фридрих Горенштейн сообщил своей приятельнице Ольге Юргенс, что у него нет ни одной детской фотографии. Это ее просто ошеломило, «сразило наповал». «Но ведь такого не может быть!» – сказала она ему. «Как не может быть? Может! Вот же, у меня нет ни одной детской фотографии!» Тогда у Ольги возникла идея нарисовать Фридриху детские фотографии, она позвонила ему из Ганновера и сообщила об этом. А у Горенштейна тогда же возник замысел целого альбома с рисунками о его несостоявшемся детстве.

«Моя приятельница Ольга Юргенс, – писал в одном из писем Горенштейн, – талантливая художница, по моей идее делает сейчас рисунки. Один, к которому я сделаю небольшую подпись, – «8 ноября 1937 г., понедельник». Я, пятилетний, с моими родителями, моим красивым папой-профессором и моей красивой мамой в кафе «Континенталь». 8 ноября – день расстрела моего отца в Магадане»<sup>15</sup>. «Я излагать пока не буду, – писал он Юргенс, – поскольку слишком, на первый взгляд, дико и необычно. Я еще подумаю. Однако, если надумаю, то его можно будет опубликовать (назову пока условно «его») где-нибудь в Нью Йорке у моей издательницы в журнале, а потом, может, и в России». Далее, в этом же письме от 17 октября 1999 года:

«У меня сохранилась единственная фотография моей мамы-красавицы. Очень ветхая. Но проблема в том, что левая половина лица засвечена. Причем, с фотографии сделаны копии. Однако я их куда-то засунул, спрятал так, что найти не могу. Осталась одна копия. Пробовал восстановить фотографию – оказалось технически невозможно. Не попытаетесь ли Вы, Ольга, нарисовать с фотографии портрет, используя фантазию. Если да, то я Вам вышлю копию заказным письмом. И фотографию отца тоже. Она лучше сохранилась. Может, и его нарисуете. Вот отец мой визуально более неопределен. Это, конечно, не значит, что Гоша на него похож»<sup>16</sup> внешне, а тем более, внутрен-

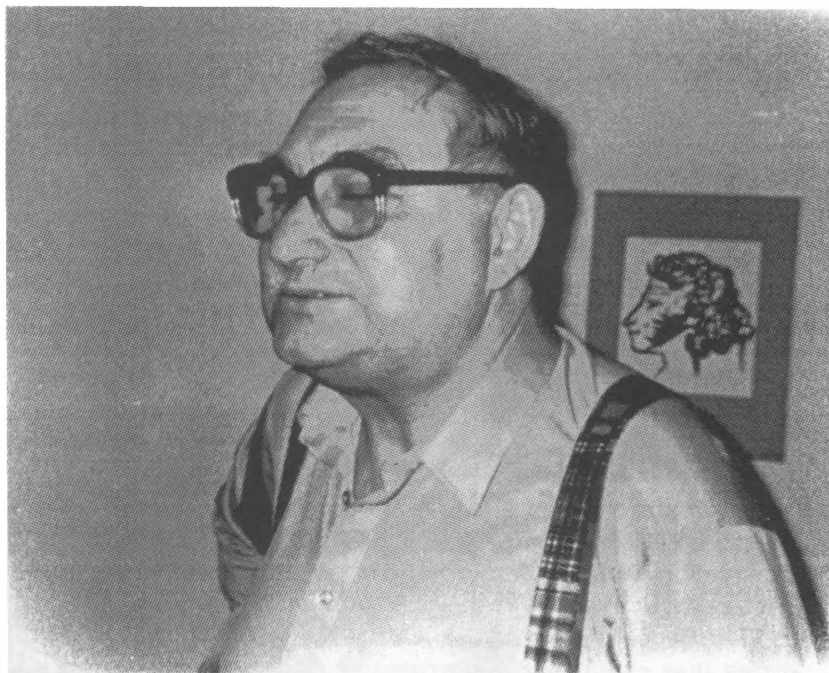
Ольга Юргенс



Рисунок О. Юргенс к альбому-календарю «Детство, которого не было». Горенштейн считал этот рисунок очень удачным и «похожим»







Горенштейн на фоне автопортрета Пушкина

не. Однако вот лицо, в котором семитское начало и интеллект выражены менее, чем у меня. Хоть он, профессор экономики. в 30 лет, был интеллектуал...» Спустя неделю (24 октября) Горенштейн уже подробнее изложил Ольге свою идею.

«Посылаю Вам три фотографии. Фотография моего класса, единственная... Если считать слева – я шестой справа против окна. Если справа – третий. Надеюсь, у Вас есть хорошая лупа. Эта единственная фотография, где я наиболее молодой. А нужно это вот для чего... Я своей шальной головой придумал такую тему. Впрочем, прежде скажу, чтобы Вы никому не говорили, пока не получится... Сначала попробуйте нарисовать маму, восстановить лицо. Папу тоже. Попробуйте так, как он и она есть. А потом оденьте их по-другому. Пофантазируйте. Папа был высокий, сероглазый, темно-русый. А мама – брюнетка, тоже не маленькая. Папа в 30 лет стал профессором экономики. Свободно владел несколькими языками, особенно немецким. Мама – учительница, была директором дома для малолетних правонарушителей. Это для общего представления. А теперь о теме. Я, пятилетний, моя мама и мой папа 8 ноября 1937 года. Где-нибудь в кафе. В киевском кафе «Континенталь» едим мороженое за столиком. А может, просто втроем стоим. Улица. Еще что-либо. Подумайте. Это могло быть. Но этого никогда не было, потому что 8 ноября 1937 года – день расстрела моего отца в магаданском концлагере. Если Вы нарисуете, я напишу страничку, и мы, я думаю, это опубликуем. Может, в России. И за этим должно быть многое. Не только мои родители – многие, которые могли жить и процветать и работать для блага страны, уничтожены, скормлены свиньям. Я об этом напишу. Эстетика рисунка должна быть красивая. Эстетика начала 30-х годов. Я не побоюсь даже... нечто из журналов мод. Не могли бы Вы найти журналы мод начала 30-х годов. Желательно, советские, но немецкие тоже подойдут. Эстетика одежды была общей. И альбомы Киева начала 30-х годов.

Вы... никому не говорите. Ни Мине, никому иному. Пока не удастся осуществить. Я надеюсь, удастся. На школьной фотографии я на десять лет старше, но можно найти еще черты детства...»

По некоторым деталям можно было восстановить внешность пятилетнего ребенка. Так, например, одну деталь «черты детства» Юргенс угадала еще при первой встрече с Фридрихом. Когда она впервые увидела его на Ганноверском вокзале (он был там проездом по дороге в Нюрнберг, где читал из романа «Летит себе аэроплан»), то отметила для себя, что седые волосы его слегка «завихрялись» сзади, из чего она сделала вывод, как оказалось правильный, что в детстве он был кудрявым. На

детских «фотографиях-рисунках» она потом так его и изобразила.

Альбом Ольги Юргенс<sup>17</sup> – это одновременно и календарь на 2000 год. На обложке название: «Детство, которого не было». На первой январской новогодней странице – посреди комнаты нарядная елка, под ней – подарки и пятилетний кудрявый мальчик. На «мартовской» странице день рождения: мальчик сидит за праздничным столом перед тортом с шестью зажженными свечками. Несколько страниц-месяцев посвящены папе с мальчиком: они катаются на лодке, они – на катке, на велосипедах. Я рассказываю сейчас об альбоме и вспоминаю, что когда впервые увидела эти «кадры», мечты о прошлом, то меня охватило чувство, граничащее с ужасом. Помню еще, что, получив альбом-календарь от Юргенс по почте, Горенштейн сразу же сообщил мне об этом по телефону и добавил: «Она – родной человек».

### **3. НА ПОРОГЕ БОЛЬШИХ ОЖИДАНИЙ**

После окончания Горного института в 1955 году Горенштейн три года проработал инженером на шахте в Кривом Роге. «Я работал на руднике имени Розы Люксембург, – вспоминал он. – Во время аварии, чудом уцелев, я повредил ногу, и медкомиссия обязала начальство предоставить мне работу в конструкторском бюро или в управлении. Но поскольку начальство держало эти места для своих, мне предложили подать заявление об увольнении по собственному желанию. Так я оказался в Киеве с трудовой книжкой, но без работы»<sup>19</sup>.

Это было в 1958 году. Однако и здесь, на родине, все начинания давались с мучительным трудом. С трудом удалось устроиться на работу прорабом-строителем, с трудом удалось найти «угол» в общежитии, а прописаться вовсе не удалось – он вынужден был жить там нелегально. Много лет спустя Горенштейн вспоминал, какого «рода деятельностью» занимался в Киеве: «В конце пятидесятых, начале шестидесятых годов я работал мастером в Киевском тресте «Строймеханизация». Один из моих участков располагался на Куреневке, где велись земляные работы, рытье котлованов и траншей для канализации»<sup>20</sup>.

В Киеве все было отнято у него до войны, а времена хрущевской оттепели, когда после «Большого террора» ожидалось большие перемены, ничего ему не вернули. Либерализм хрущевской эпохи оказался непоследовательным, урезанным. Вдруг открылась было возможность новой жизни: после XX съезда в 1956 году казалось, что вот – пришел его час: он получит отнятые у него права. Однако неизблемой осталась закономерность: если в этом государстве отняли жилье, где можно голову приклонить, то не вернут никогда.

Полагаю, что Горенштейн получал в общежитии «Строймеханизации» весной такие же повестки на выселение, какие получал герой его романа «Место» Гоша Цвибышев в общежитии «Жилстрой»: «Гражданин Цвибышев Г. М. На основании параграфа... постановления Совета Министров о проживании в общежитиях и ведомственных домах государственных учрежде-

ний и организаций, предлагаю вам в двухнедельный срок, то есть 21 марта 195... года освободить занимаемое вами койко-место. В противном случае к вам будут приняты административные меры. Зав. ЖКК треста Жилстрой Маргулис».

Этой обманчивой демократии, либеральному таинству посталалинского правительства писатель как раз и посвятил роман «Место» с подзаголовком «Политический роман». Восьмисотстраничный роман о московских диссидентах, антидиссидентах, тайных организациях со средневековыми ритуалами и репетитовским многозначительным фразерством, с захватывающей интригой, с сюжетными ответвлениями диккенсовской школы был написан в начале 70-х годов. Однако путь его к русскому читателю длился двадцать лет.

Первые отрывок из «Места» был опубликован в 1988 году в Тель-Авиве в журнале «Время и мы», затем, спустя три года опять же в Тель-Авиве, несколько глав опубликовал журнал «Двадцать два». Тогда же, в 1991 году, то есть уже в эпоху другой российской оттепели, «Знамя» опубликовало первую часть романа под названием «Койко-место». Почти одновременно в издательстве «Слово/Slovo в Москве вышел первый том «Избранного» (трехтомник) – полный текст романа. К этой книге я еще вернусь особо. В главе «Aemulatio» речь пойдет сразу о двух романах – «Место» и «Бесы», поскольку считаю роман Горенштейна уникальным продолжением «бесовской» темы. Что, собственно говоря, и подсказывает нам один из эпиграфов к «Месту», напоминающий, что Сатана продолжает «править бал»: «И сказал Господь: Симон, Симон, се Сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу» (Евангелие от Луки, 22, 31). Первая часть «Места» посвящена бесправному положению главного героя, забитого, затравленного человека, и во многом «повторяет» социальное положение молодого Горенштейна в Киеве. Не случайно ее открывают евангельские строки: «Лисицы имеют свои норы, и птицы небесные гнезда; а Сын человеческий не имеет где приклонить голову».

Герой романа Гоша Цвибышев – сын репрессированного комкора, оставшийся сиротой. Воспитывался у тетки в провинции, в возрасте двадцати семи лет вернулся в свой родной город (автор его не называет, однако по многим приметам и описаниям это Киев), где до конфискации у родителей была большая квартира. Он мечтает поступить на филологический факультет, но вынужден отложить поступление, с большим трудом, по знакомству, устраивается на работу и селится в общежитии, из которого его постоянно изгоняют, поскольку у него нет прописки. В течение трех лет мысли Гоши сведены к одной линии, черте: чтобы проникнуть в общежитие, ему надо пересечь по-

рог. Причем, как можно тише, не хлопнув дверью – комендантша не должна его заметить – а затем быстро взбежать по лестнице.

Бездомность, голос тотального неблагополучия – катализатор романа, где неприкаянный человек будет потом искать места не только для ночлега, но и места в общественной жизни, и на политической арене, и, наконец, места под солнцем.

Суэта героя во имя ночлега, координатная система его мыслей и желаний, на пересечении осей которой находится узкая железная кровать, напоминает фантазмагорию отчаянной борьбы за койко-место героя романа Кафки «Замок», где нравственные ценности определенного населенного пункта опрокинуты в силу опрокинутости самой основы бытия. К. удастся, в конечном счете, остаться в Деревне, хотя на то «и не существует юридического основания».

Один мой знакомый, прочитавший роман Горенштейна «Место» в замечательном переводе Томаса Решке, сказал мне однажды, что он, хотя и близко знаком с Россией (он сын посла ФРГ в России), однако не может понять особой русской трагедии системы прописки. Почему Гоша Цвибышев не может прописаться в городе, в котором, как оказалось, он еще и родился, и почему он, согласно своей воле, не может там жить? Ведь он гражданин своей страны. Трагедия Гоши Цвибышева, оказывается, не всем понятна, и нередко требуется комментарий, поскольку трагедия «постоянного места жительства», с одной стороны, вневременная, и потому «литературная», а с другой – это трагедия определенной страны, поколений определенной эпохи, эпохи «Большого террора». «Тогда многие любили говорить о «беспаспортных бродягах», – писал Илья Эренбург, – справка о прописке казалась чуть ли не решающей». Не следует забывать при этом, что у крестьян долгое время вообще не было паспортов, и они заведомо были закреплены за своей деревней.

Гоша Цвибышев с точки зрения юридической не имел права занимать место в общежитии треста «Жилстрой». Однако, опять же, согласно закону, Гошу не могли выселить зимой. Поэтому отчаянная борьба за койко-место начиналась «всякий раз, когда наступала весна»<sup>22</sup>.

Мы застаем героя в начале романа как раз накануне весны, а стало быть, в ожидании очередной повестки на выселение: «В конце февраля подули теплые весенние ветры, и у меня тоскливо сжалось сердце. Кончалась моя защитница зима, начинался новый цикл моей борьбы за койко-место».

Страх перед наступлением весны выделяет героя из рядов нормальных граждан, вырывает из будней общежития, выра-

тающего в романе в символ общего жития, из которого выброшен Цвибышев. «Теплые весенние ветры» дуют не для него, и пробуждение от зимней спячки означает начало нового жизненного цикла отчаянной борьбы за существование. Даже кошка догадалась, что Гоша бесправен и набросилась однажды на него. Сцена со старой общежитской кошкой – символ бесправности героя. Оба они, кошка и Цвибышев, на «птичьих правах» в общежитии «Жилстроя». Маргинал Цвибышев почти добился «прав человека» – именно поэтому его не выгоняют зимой на улицу. Кошке, наоборот, как домашнему животному, принятому в человеческий коллектив, предоставлены привилегии почти человека. Вот почему кошка, привигилированный зверь, и Цвибышев, деклассированный человек, сталкиваются в узком пространстве их полуполюгального существования.

Тема «без места» варьируется у Горенштейна постоянно во многих произведениях. Бездомные и неприкаянные скитаются его Марья и Аннушки в поисках пристанища. Сам образ «места» стал для него ключевым. А повесть «Улица Красных Зорь», написанная уже в Берлине, посвящена «безместности». Горенштейн говорил, что поводом для написания повести послужил устный рассказ одной женщины, живущей теперь в Берлине, о том, как в 1952 году, после смерти Сталина, выпущенные по амнистии уголовники убили ее родителей. Фридрих рассказывал, что она плакала навзрыд, когда прочла повесть.

Мне как-то показалось, что Горенштейн не до конца оценивает именно это свое произведение (он в последние годы на публичных чтениях читал в основном из романа «Летит себе аэроплан» о Марке Шагале, считая, что он «легче» воспринимается публикой и возникает меньше «неудобных» вопросов)<sup>24</sup>.

Я даже пыталась заступиться за «Улицу Красных Зорь», а Горенштейн со мной спорил: «А что там хорошего в этих резиновых калошах?» «А то, что запах этих новых «дефицитных» калош, – отвечала я, – радостный, праздничный их запах, знаком многим детям, рожденным после войны». Вероятно, ему нравились «комплименты» и все новые «версии» повести, когда я с рассказывала о девочке Тоне в новых, вкусно пахнущих, тугих резиновых калошах с ярко-красной мягкой подкладкой, вспоминала ее бордовую «шибко красивую» ленту, которую подарил ей дядя Толя. Эти личные ее вещи были символом ее домашней и суверенной жизни. Тоня была обезличена в один день, когда родителей убили амнистированные уголовники, и девочку привезли в детский дом: «Прошла Тоня дезинфекцию, надели на нее кремовое с цветочками, сшитое из кашемировых платков платьице, какое носили в детдоме все девочки, и стала

Тоня там жить». Для Тони «своим углом» оказался камень у дороги, на котором она любила сидеть. Здесь она тосковала по родителям, дому и родной улице Красных Зорь: «Зато к дороге, у которой сидеть любила, пошла Тоня как к знакомому месту, и камень, на котором сидеть любила, тоже родным показался».

Вернемся, однако, к Киеву. Горенштейн не любил этого города, говорил, что у него остались о нем только тяжелые воспоминания обездоленного детства. Говоря о Киеве как о «проклятом месте», Горенштейн ссылался на Гоголя, который употребил такое выражение в «Страшной мести». «Я не вернусь туда никогда», — говорил он мне. В эссе «Как я был шпионом ЦРУ», «призвав на помощь Данте», Горенштейн писал: «Пример нелюбви к своей родине показал равноапостольный Данте Алигьери. У немецкого поэта Эммануэля Гейбеля:

*Видишь – Данте Алигьери, побывал он в безднах ада,  
На челе его высоком – гнев и горькая досада.*

*Столько ужасов он видел, столько скорби душу гложет,  
Что, наверно, улыбаться никогда уже не сможет.*

*Дант, услышав, обернулся: «Разве нужно непременно,  
Чтобы позабыть улыбку, опуститься в мрак геенны?»*

*Все, что пел я, все страданья, боль и ужас нашей жизни,  
Видел я на этом свете, во Флоренции, в отчизне.*

(Перевод Е. Эткинда)

Но если можно не любить блистательную Флоренцию, которая всего-навсего приговорила заочно Данте к сожжению, а потом выпрашивала его кости у Равенны, то что сказать о Киеве с его Тарас-Бульбами и тарас-бульбовскими Янкелями, поволовы убогом Киеве, который годами жег меня на медленном огне! Но сжечь не смог. И костей моих в вязкие кирпичные глины Бабьего Яра не получил»<sup>25</sup>.

Впрочем, так ли безоговорочно отвергал Горенштейн город, в котором родился? В романе «Место» я не раз встречала лирические описания неповторимых киевских уголков. В «низовой» части города, менее разрушенной войной и потому более самобытной, со старинными мостовыми и домами затейливой архитектуры можно ощутить *couleur lokale*. Однако и здесь писатель возвращается к теме Бабьего Яра: «Дома здесь старые, либо одноэтажные, с железным крыльцом, либо в несколько этажей с витыми пузатыми балконами. Улицы не залиты асфальтом, а вымощены стертым булыжником, тротуары вымощены тоже



стертой плиткой. Даже крышки канализационных колодцев здесь со старинными надписями через «ять». Здесь много башенок, портиков, арок, приземистых складских помещений, затянутых тяжелыми гофрированными жалюзи, много вывесок частных портных, зубных техников и сапожников. И все это тонет в зелени: сирень и акации во дворах, каштаны вдоль улиц. Низовая часть, в свою очередь, делится на более аристократическую, бывшую купеческую, расположенную ближе к центру, и менее аристократическую, в прошлом главным образом одноэтажную, вид которой во многом изменен современным строительством. Год назад у меня там был объект на заводе бытовых автоматов по продаже газоды. В путевых листах шоферов в качестве свалки по вывозу грунта указывался всемирно известный овраг, расположенный напротив завода бытовых автоматов, чуть повыше, по шоссе. В овраге этом лежит почти все довоенное еврейское население города. В грунте часто попадаются человеческие кости. Я сам видел, как окрестные подростки, раздобыв из оврага человеческий череп, пугали им девочек, убегающих со смехом и визгом».

Горенштейн топографически точно описал «низовую часть города», находящуюся в непосредственной близости от Бабьего Яра. Спустя тридцать лет, незадолго до смерти, он опишет ее снова в заявке к документальному фильму «Место свалки – Бабий яр» – тема, ставшая сквозной во многих его произведениях.

Что же касается творчества в киевский период, то о нем Горенштейн почти ничего не рассказывал. В памфлете «Товарищу Маца» писатель сообщает, что приходил к Виктору Некрасову в его «чудесную квартиру в центре Киева на Крещатике, в знаменитом высотном доме» со своими сочинениями. Однако Некрасов встретил его «с какой-то нервной недоброжелательностью», а его литературные начинания оценил негативно. Какие произведения показывал Горенштейн Некрасову, мне не известно. Рассказ «Дом с башенкой» написан позднее, уже в Москве, в стенах Некрасовской библиотеки<sup>26</sup>. Однажды я спросила Горенштейна: «Фридрих, а где то, что именуют процессом творческого становления? Ведь были же первые пробы пера, возможно, неудачные, как это бывает у многих начинающих авторов? Что вы писали до мастерски сделанного, зрелого произведения «Дом с башенкой»? Он ответил просто: «У меня не было процесса творческого становления».

Кинокритик Александр Свободин также говорил, что у Горенштейна «стадии становления» не было, и что появление «Дома с башенкой» в «Юности» в 1964 году напоминало «взрыв бомбы в литературе». «Есть писатели, у которых слов-

но бы отсутствует период ученичества, – писал Свободин, – они входят в литературу сразу как мастера. Скажем, нет «периода ученичества» у Толстого. Появилась под инициалами Л.Н.Т. повесть «Детство», потом «Севастопольские рассказы», и все увидели, что родился замечательный писатель. Так было и с автором «Дома с башенкой». Помню, в литературных кругах все спрашивали: «Кто такой Горенштейн, откуда взялся?»<sup>27</sup>.

С этой мыслью Александра Свободина можно, конечно, поспорить. Период ученичества у Толстого все же был, о чем свидетельствуют его студенческие дневники. В свое время профессор Бялый с изумительной четкостью (и образностью) сумел показать студентам Петербургского университета творческие методы, а также основополагающие идеи Толстого именно по текстам этих дневников. Думаю, что Горенштейн просто не хотел говорить о своем ученическом периоде. Многие воспоминания этого отчужденного человека так и остались остались его тайной. Бесспорно, ему импонировало такое вхождение в литературу – вдруг ниоткуда появиться и всех ошеломить. Так и получилось, что рассказом «Дом с башенкой», написанным рукой опытного профессионала, он ошеломил Москву.

## 4. КРЕМЛЕВСКИЕ ЗВЕЗДЫ

---

В 1962 году Горенштейн поступил на Высшие сценарные курсы в Москве. Переезд в Москву был, по признанию писателя, не менее важным этапом, чем эмиграция в Германию. Он так долго добивался права находиться в киевском общежитии, что поначалу показалось дерзостью добровольно отказаться от постоянства и устойчивости борьбы за «койко-место». Обстоятельства складывались так, что судьба, наносившая ему удары, стремительно выносила его теперь к рубежу, за которым начинается дерзость помыслов.

А дерзновенные помыслы, как известно, осуществляются в столице. Москва же, русская и советская, была столицей столиц, средоточием абсолютной власти. Все пути вели в Москву, и отсчеты издавна велись от нее. В советское время московский небосвод вообще заслонил небеса Коперника: «И где бы ты ни был, всегда над тобой московское небо с кремлевской звездой», или же: «кремлевские звезды над нами горят, повсюду доходит их свет...» И даже в «оттепель», когда авторитет власти и советская космология пошатнулись, так что можно было уже опасаться анархии, по инерции лирически пелось: «А если я по дому загрузу, под снегом я фиалку отыщу, и вспомню о Москве»<sup>28</sup>. В романе «Место» проводится «эксперимент» по снижению роли Кремля как символа власти. Гоша Цвибышев, который намеревается возглавить Россию, впервые видит Кремль, но не со стороны Красной площади, не осененный былинным величием, а, наоборот, сниженный до обыкновенности. Он увидел его с набережной, где находились заведения «общепита», со сквериком, где старушки гуляли с малышами. «И вся эта обыденщина подступала к историческому символу – Кремлевской стене»<sup>29</sup>. Они с Колей сели на уютный холм с неухоженной дикой травой, в которой прыгали кузнечики, у той части стены, которая выглядела особенно провинциально. И эти прыгающие стрекочущие, совсем как в деревне, кузнечики, и ржавая лампа, скрипящая на ветру у кремлевских зубчатых бойниц – вся эта обстановка «была направлена против символов и авторитета» и внушала уверенность в себе.

Правомерно ли наложение личности писателя на образы созданных им персонажей? Правомерно ли такое наложение в случае Горенштейна, который из своей горестной жизни, из своей биографии – так же, как и Набоков, Кафка и Музиль – строил большинство своих романов? Именно в романе «Место» писатель решился беспощадно распахнуть душу. «Как удалось Вам так открыто и нелестно рассказать о своем герое, – спросил однажды Александр Мелихов Горенштейна, имея в виду именно эту жестокую откровенность по отношению к самому себе, – Как вы решились на это?» Писатель ответил только: «Нужно было когда-то на это решиться. Я сказал себе: «Надо» – и сделал это». Характерно, что вопрос задал автор романа-откровения, который так и называется «Исповедь еврея».

Горенштейн не скрывал своего характерологического сходства с Гошей Цвибышевым. Иногда, правда, в отличие от Флобера («Мадам Бовари – это я»), он подчеркивал как-бы, на всякий случай, поправлял себя: «Это не совсем я, я – его прототип».

Со временем он стал осторожней обращаться и со словом «прототип», строже фиксировал дистанцию между собой и персонажем и говорил, что вложил частицу самого себя во всех своих литературных героев, в том числе и в тех, которые обладают силой, не ищущей себе оправданий, ставят себя вне нравственных категорий – по ту сторону добра и зла. Вероятно, он подразумевал героя пьесы «Детобийца» Петра I, не нуждавшегося, в отличие даже от злодея Грозного, в самооправдании собственных деяний.

Полагаю, однако, что «замах» Гоши, пожелавшего политической власти, близок был молодому Горенштейну, пожелавшему покорить Москву пером и чернилами, или же, точнее, как он говорил, «самопиской», заправленной синими чернилами.

Перо скрипит, белая упругая бумага, на которой никогда не расплываются чернила, а наоборот, она вместе с чернилами впитывает мысли и чувства писателя, покрывается словами и совершается таинство, ибо между автором и текстом витает «святой дух перевоплощения»<sup>30</sup>.

Я все же не могу так просто оставить стены древнего Кремля и красные ее, нагретые от дневного солнца кирпичи. Ночью Гоша снова, теперь уже один, пришел к стене, к тому травянистому холму, где еще сегодня днем они с Колей говорили о правде Гоши на «царство», на российский престол. В темноте кремлевская стена выглядела как-то по-особенному. «Учитывая мой нервный, впечатлительный склад ума вообще, – сообщает Гоша, – а также тьму, одиночество, звездную теплую ночь... понятно, почему я здесь задержался». Гоша прижался к древ-

ним кирпичам Кремля и так стоял довольно долго. Им вдруг овладело чувство почти религиозное, и он поцеловал кремлевские кирпичи. Он стыдливо оглянулся – кругом ни души. «Тогда я вновь припал губами к кремлевским кирпичам, втягивая их запах ноздрями.

– Господи, – зашептал я, – помоги, Господи...»

Кто только ни молил удачи у столичных звезд! Не только ищущие власти политической, но и духовные властолюбцы – литераторы, деятели искусства. Однако лишь к немногим дерзающим и достойным фортуна была благосклонна. «Утраченные иллюзии», «Красное и черное», «Обыкновенная история»...

Для многих начинающих литераторов и деятелей искусства 1960-х дорогой к успеху, стартовой площадкой в Москве были Высшие режиссерские (сценарные) курсы. Высшие режиссерские курсы были основаны в 1956 году по инициативе кинорежиссера Ивана Пырьева. Спустя четыре года были созданы также Высшие Сценарные курсы, которые в 1963 году объединились с Режиссерскими под общим названием Высших двухгодичных курсов сценаристов и режиссеров. Это учебное заведение открывало путь в кино подающим надежды людям с высшим образованием (причем не важно каким), то есть имеющим уже определенный жизненный опыт. («Жизненному опыту» придавалось, согласно государственной политике в области искусства, решающее значение. Социалистический реализм апеллировал к «опытным», эмпирическим истокам.) Архитектор Георгий Данелия, инженер Глеб Панфилов и врач Илья Авербах получили здесь шанс стать кинематографистами<sup>31</sup>.

Учебные места на курсах распределялись от союзных республик по разнарядке. Для поступления нужно было пройти три экзаменационных тура. Первый тур был заочным: абитуриент присылал на рассмотрение комиссии документы, автобиографию, литературные работы; на втором туре рассматривались работы уже отобранных претендентов; третий тур – беседа.

Комиссия, рассматривавшая документы будущих кинематографистов, была утверждена в 1960 году в следующем составе: А. Я. Каплер (председатель), И. В. Вайсфельд, И. А. Кокорева, Б. А. Метальников, Е. А. Магат, М. Б. Маклярский, В. И. Соловьев, Т. Г. Сытин, Л. З. Трауберг. Позднее, 10 января 1961 года приказом Оргкомитета СРК в состав Совета были введены: Л. О. Арьштам, Е. И. Габрилович, Л. А. Кулиджанов и руководители творческих мастерских.

Директором курсов был известный сценарист Михаил Борисович Маклярский<sup>32</sup>. Он проработал в этой должности вплоть до

1978 года. Маклярский – личность в кинематографе примечательная. Бывший подполковник НКВД, в круг специфических «интересов» которого в довоенные годы включены были деятели советской литературы и культуры<sup>34</sup>, написал сценарии к знаменитым фильмам «Подвиг разведчика» и «Секретная миссия», за которые получил Государственную премию. Остальные сценарии Михаила Борисовича были такого же «разведывательного» характера. Среди них – «Ночной патруль», «Выстрел в тумане», «Заговор послов», «Стреляй вместо меня», «Инспектор уголовного розыска».

Горенштейн любил вспоминать наивный и романтический фильм режиссера Бориса Барнета «Подвиг разведчика» с молодым, красивым и «умным» советским шпионом-разведчиком Кадочниковым-Тихоновым-Штирлицем конца 40-х годов: «Как хазведчик хазведчику скажу вам: вы – болван, Штюбинг!» – несколько картавя, произносил Кадочников<sup>35</sup>.

Горенштейн писал, что бывший подполковник Маклярский в довоенное время числился дегустатором сталинской кухни, а точнее, пробовал на «ядовитость» подаваемые на стол блюда, то есть работал как бы подопытным кроликом, причем гордился этой чрезвычайно опасной для жизни кухонной котр-разведкой. Ему однако не повезло: курировал яд, а попался на соли. «Цоцхали – рыбу в соусе – пересолили, и все чины кухонной прислуги – от младшего сержанта до посудомойки – оказались под арестом»<sup>36</sup>. Таким образом, ни в чем не повинный Маклярский, курирующий, подчеркиваю, не соль, а яд, оказался на скамье подсудимых, обвиненный в диверсионной деятельности. Отсидел свое и после смерти тирана вернулся уважаемым человеком. Опять же, Алексей Каплер. Он тоже отсидел пять лет без права переписки, поскольку «маячил» в непосредственной близости от вождя «в роли жениха единственной дочери»<sup>37</sup>. Тоже вернулся уважаемым человеком.

Председатель приемной комиссии Алексей Каплер с самого начала был категорически против приема на курсы Горенштейна, а директор Маклярский заявил: «Мы обязаны готовить кадры для национального кино, а в лице Горенштейна нам прислали липового украинца». Горенштейн и в самом деле был не «дубовым» и не «сосновым», а именно «липовым» украинцем, поскольку из украинской столицы, согласно установленным правилам разнарядки, следовало прислать настоящего украинца, а не еврея, да еще с такой неудобной трудновыговариваемой фамилией<sup>38</sup>, да еще, как выяснилось, оказавшегося ничьим, то есть без покровителей. Справедливости ради следует сказать, что положение талантливого человека без прав, без угла, без связей в период «оттепели» все же не было безнадеж-

ным. Фридриху удалось поступить на курсы, хотя и без стипендии.

Период учебы оказал большое влияние на творчество Горенштейна: он и в самом деле многому научился у мастеров кино. «Как человек чрезвычайно одаренный, – вспоминал Александр Свободин, – Горенштейн быстро ухватил суть сценарного ремесла, сценарной техники». Писатель вспоминал:

«В начале шестидесятых на Высших курсах я еще успел застать киномамонтов – Михаила Ильича Ромма, Сергея Аполлинарьевича Герасимова, Юлия Райзмана, Григория Козинцева, Бориса Барнета, Евгения Габриловича, Григория Александрова, Ивана Пырьева, Григория Чухрая, Александра Зархи... Мы, «рожденные бурей» (теперь, я думаю, бурей в стакане) хрущевского ренессанса, над ними, старыми мамонтами, исподтишка потешались: «приспособленцы», «сталинисты», «консерваторы», а вымерли, – так же, как и многие на Западе их товарищи по визуальному созерцательному искусству, такие, как Феллини и другие, – и воцарилась та экранная нищета, в которой я убедился лишний раз, будучи членом жюри на Московском международном кинофестивале в 1995 году»<sup>39</sup>.

Будучи «курсантом» советского кинематографа, Горенштейн написал тот самый рассказ, «Дом с башенкой», с которого началось мое повествование, и к которому я неоднократно еще буду возвращаться. Опубликовать его, однако, долго не удавалось. «Новый мир» отказал в публикации, отнекивался вначале и редакторский коллектив «Юности». Далее события разворачивались вот каким образом. Руководитель сценарной мастерской, слушателем которой был Горенштейн, Виктор Сергеевич Розов отдал рассказ напрямую, минуя редакторский коллектив, главному редактору «Юности» Борису Полевому, и рассказ был опубликован. Горенштейн вспоминал, как проснулся однажды знаменитым: рассказ читался «некоторыми именами», его собирались ставить на сцене, экранизировать и многое-многое другое. Однако все начинания с рассказом разваливались.

В 1964 году Горенштейн написал также пьесу «Волемир», по сути дела первую абсурдистскую пьесу того периода, созданную в те самые времена, когда, по выражению Горенштейна, «у творческих вундеркиндов были в моде «Треугольные груши», Бекет, Ионеско, ирония Хэмингуэя». Действие происходило в реальной коммунальной квартире, где герой оказывался запертым то в ванне, то в туалете, причем персонажи жили как будто бы нормальной жизнью, которая постепенно оборачивалась абсурдом. Опять же, Виктор Сергеевич Розов напрямую, минуя литературного редактора театра «Современник»,

вынужден был передать пьесу Олегу Ефремову, главному режиссеру, который пришел от нее в восторг и прочитал ее «на трупе». «Современник», рассказывал Свободин, «заболел» этой пьесой, собирался ее поставить, но цензура и Управление театров запретили ее<sup>40</sup>.

Впоследствии, во времена горбачевской перестройки, «когда раскрылись архивы и заговорили свидетели», Горенштейн узнал, что запрещение пьесы оказалось делом рук Михаила Шатрова (Горенштейн лично читал его доносы), не влюбившего его, Горенштейна, на памятной встрече с американским драматургом Артуром Миллером, приехавшим в Москву в 1964 году (пьеса Миллера «Случай в Виши» репетировалась «Современником»). Олег Ефремов пригласил на встречу Горенштейна, и молодой драматург – окрыленный приглашением на столь важное мероприятие в столь важный кабинет – явился задолго, чуть ли не за час до назначенного времени. Вдруг в кабинет вошел упитанный, невысокого роста человек с густой черной шевелюрой, в дорогом костюме и посмотрел на Фридриха «бдительным сторожевым» взглядом. Внешний вид Фридриха в рваных киевских ботинках как то сразу не понравился ему, и человек в костюме велел ему немедленно уйти. Решив, что перед ним непроинформированный администратор, Горенштейн сказал:

– Если вы администратор, то по поводу моего приглашения обратитесь к главному режиссеру или к директору театра.

– Я не администратор, – сказал человек, – я драматург Шатров.

– Если вы драматург Шатров, то занимайтесь своим делом. Я – драматург Горенштейн.

Олег Ефремов лестно представил Горенштейна Артуру Миллеру и его жене-шведке, и они уделили ему много внимания. Он чувствовал себя таким счастливым, окруженным милейшими людьми, что не замечал бдительного ревнивого взгляда драматурга Шатрова. В заключение жена американского драматурга сфотографировала всех участников замечательно удавшегося вечера. Горенштейн долго потом не мог понять, почему его пьесы, которые, казалось бы, соответствовали духу времени, так упорно отвергаются театральной цензурой. Зато «пьесы Шатрова косяком шли на сцене, по которой вышагивали кремлевские курсанты, держа карабины с примкнутыми ножевыми штыками. Большевики с человеческими лицами актеров театра «Современник» вызывали бурные аплодисменты прогрессивной публики»<sup>41</sup>.



Кипят страсти человеческие в грешном мире, кипят они и на литературном Олимпе. Зависть – одна их сильнейших человеческих страстей. Для того и придуман был остракизм, чтобы, как говорил Плутарх, «утишить и уменьшить зависть, которая радуется унижению выдающихся людей»<sup>42</sup>. Иешуа Га-Ноцри погубила трусость, говорит Булгаков, а согласно евангелическим текстам – зависть погубила Иешуа, впрочем, как и самого Михаила Афанасьевича. Н. Чуковский сказал однажды, что Борис Житков, автор гениального романа «Виктор Вавич», который «не пропустил» С. Маршак, умер «от ненависти к Маршаку». «С. Маршак, – писал Горенштейн в последней своей работе, – отличается от М. Шатрова-Маршака лишь талантом, но не нравственностью. Оба нелитературными методами утверждали себя в литературе: устранением конкурентов».

Горенштейн пришел в восторг от романа «Виктор Вавич» Бориса Житкова, книгу которого «Что я видел?» полюбил еще в детстве. Он был потрясен тем, что роман, написанный почти в то же время, что и повесть «Белеет парус одинокий» и на ту же тему, однако же оказавшийся на несколько «уровней» выше, был «похоронен» для двух поколений читателей. «Б. С. Житкова можно было устранить, – писал он, – если не во всем, так во многом – хорошо знакомой мне информационной блокадой. Такое не прощают – попытку заживо похоронить, как похоронили заживо всей совписовской похоронной командой замечательный роман Бориса Житкова «Виктор Вавич»<sup>43</sup>.

Горенштейн не случайно «обыгрывает» две фамилии: Маршак и Шатров. Шатров – псевдоним знаменитого драматурга-ленинца. Настоящая его фамилия – Маршак. И Самуил Маршак, и Михаил Маршак явились гонителями талантливых писателей. Первый – Бориса Житкова, второй – Фридриха Горенштейна. Факт, что «гонители» оказались под одной фамилией, казался символом Горенштейну, верившему в знаки судьбы и повторение судеб. Драматург не только по профессии, но и по внутренней сути, он казался бы нащупал фабулу собственной «драмы судьбы». Узнав же о частностях истории трагической не встречи романа Житкова с читателем, он утвердился в своем мнении.

В последнем, (еще) неопубликованном своем романе «Веревочная книга», которому я посвящаю одну из глав моих записок, фигурирует драматург-завистник и доносчик болгаринского замеса и масштаба по фамилии Маршаков<sup>44</sup>. Именно эти страницы романа Горенштейн перед смертью продиктовал на магнитофонную ленту, и я познакомлю с ними читателя во второй части книги.

«Нелитературные методы» литературного Олимпа Горенштейн изобразил в одном из своих бурлесков:

*Вцепился в бороду поэт  
Другому лирику поэту,  
А тот в ответ ему газету  
Как кляп воткнул в орущий рот...*

*Ну и народ...*

Для Анны Самойловны, не сумевшей опубликовать «Зиму 53-го года» Горенштейна, опасно привычная «сатанинская» фраза Воланда о несгораемости рукописей, стала «дурным знаком», оправданием замалчивания талантливых авторов.

«Пушкин, который поставил рядом два эти слова – «усердный» и «безымянный», – писала Берзер, – сам не мог стать летописцем Пименом. И ни один писатель не может писать лишь в «пыль веков»<sup>45</sup>.

Период «успеха» Горенштейна в кино-театральных и литературных кругах, то есть период, когда о нем много говорили, и он даже, по собственному его выражению, был «избалован вниманием», отличался характерной особенностью: при всем внимании – не подпускали к «пирог». Подобных примеров в искусстве много: Данте, Сервантес, Моцарт... Вспоминаю лирическую «песнь» Марины Палей Моцарту в ее романе «Ланч», песнь о композиторе, у которого был успех, но не было контракта.

Период бесконтрактного успеха продолжался у Горенштейна около пяти лет. А потом он устал от бесконтрактной славы, и уже следующее свое произведение никому не показывал. Он ушел со сцены, тихо хлопнув дверью, для того, чтобы писать свои выстраданные романы. Заглянем в пьесу «Бердичев», в ту ее сцену, где говорят об успехах Вили в Москве. Выходец из Бердичева, а ныне московский интеллигент, некто Овечкис Авнер Эфраимович мечтает познакомиться с известным литератором Виллей Гербертовичем, приехавшим после догих лет разлуки к тетушкам в Бердичев. В Москве Виля труднодоступен, здесь же, в Бердичеве, Овечкис запросто зашел к теткам и ждет Вилю, который вышел прогуляться. Между тетушками и Овечкисом завязывается разговор, в комическом, почти детском, простодушии своем отражающим реальную ситуацию: у Вили, конечно же, успех, но какой-то неосязаемый, непонятный успех.

«Рахиль. ...А как Вилля живет? Вы в Москве часто видите?»

Овечкис. К сожалению, мы в Москве не были знакомы... Действительно, нелепость: приехать из Москвы в Бердичев, чтоб познакомиться...

Злота. Вам про него Быля рассказывала?

Овечкис. Почему Быля? Я в Москве о нем много слышал.

Рахиль. А что случилось?

Овечкис. Случилось? Именно случилось... Может быть, именно случилось... Поэтому мне и хочется познакомиться с этим человеком.

Рахиль. Что-то я вас не понимаю! Он работает, у него хорошая зарплата? Мы ничего не знаем, он нам ничего не рассказывает.

Овечкис. Вилли Гербертович пользуется авторитетом в нашем кругу...

Рахиль (смотрит, выпучив глаза, подперев щеку ладонью, пожимает плечами). Ну, пусть все будет хорошо.

Злота. Дай вам Бог здоровья за такие хорошие слова. Я всегда говорила, что люди лопнут от зависти, глядя на него (плачет)».

Вторая половина 60-х годов – начало творческого взлета Фридриха Горенштейна. В 1965 он окончил повесть «Зима 53-го года». В 1967 году написан его первый роман «Искушение». В конце шестидесятых создано множество рассказов и сценариев.

Между тем, московской прописки у него все еще не было и своего жилья, соответственно, тоже. Ему удалось прописаться под Москвой. В предисловии к моей книге о М. Цветаевой «Брак мой тайный...» Горенштейн указывает свою загородную прописку: «С дочерью Марины Цветаевой Ариадной Эфрон я был одно время прописан в домовую книгу на Тарусской даче по причине общего беспорядка быть прописанным в Москве и общей бездомности»<sup>46</sup>. В Москве он снимал маленькую комнату (например, в пору написания «Зимы 53-го года» на Суворовском бульваре в коммунальной квартире), в которой стоял шкаф, рваный диван и стул – и это в те годы, когда времена «оттепели» еще не закончились, и Россия переходного периода, когда власть, «завершая какой-либо цикл, перестает казнить без разбора и в массовом порядке», еще не возражала против общественного мнения «вокруг частных столов, уставленных закусками». Впрочем, в самых изысканных компаниях столичного общества, где собиралась «интеллигенция протеста, оспаривающая у правительства право на то, чтобы властво-

вать в общественном мнении государства»<sup>47</sup>, бедность, в отличие от провинциальных общественных собраний, даже демонстративно поощрялась. Тем, правда, кому выпало на долю голодать не согласно моде, а всерьез, от модной нищеты застолий без посуды, с кабачковой икрой, которую прямо из банок набирали ложками и залежалой колбасой на бумажках, становилось тоскливо. В романе «Место» описывается большая комната, в которую вошел «будущий правитель» России Гоша Цвибышев: в ней почти не было мебели, однако же висел «символический уже портрет Хэмингуэя и икона Христа, новшество для меня (Гоши – М. П.), ибо увлечение религией, как противоборство официальности, прошлому и сталинизму еще только зарождалось в среде протеста». Добавлю еще, что в помещении, где собралось общество оппозиции, царил атмосфера неуважения власти и авторитетов.

Я ввожу эти горенштейновские зарисовки с тем, чтобы, по возможности, вместе с читателем уловить атмосферу, в которой расцветал талант писателя-одиночки, не примкнувшего ни к кругам «интеллигенции протеста», ни каким-либо протестующим обществам, возникшим в шестидесятые годы, как оказалось, в больших количествах, ни к легендарным писателям-шестидесятникам. Говорю «как оказалось», поскольку существование множества кружков и даже подпольных организаций антисоветской направленности в годы «оттепели» мало отражено в художественной и исторической литературе.

Однако вернемся к учебе Горенштейна на Высших сценарных курсах. Сценарист Юрий Клепиков, автор сценариев к фильмам «Ася Клячкина», «Мама вышла замуж» и других, к которому Горенштейн относился с большой теплотой, вспоминает:

«Возвращаюсь на сценарные курсы. По прошествии первых недель определились лидеры, авторитеты, любимцы. Вот два молчуна – Иван Драч и Алесь Адамович, уже известные писатели. Красавец и остроумец Толя Найман. Гений обаяния Максуд Ибрагимбеков. Безупречный Илья Авербах. Эрлом Ахвледиани и Амиран Чичинадзе – организаторы быстрых застолий, сценаристы будущих великих фильмов. Со всеми хотелось сыграть в карты, поболтать, выпить, пуститься в какие-нибудь прегрешения.

А что Горенштейн? Да все так же. В сторонке, сбоку, никому не интересный. Но час его близился. Никогда не забуду: на одной из лекций там и тут читают свежий номер «Юности». Наконец он попадает в мои руки. «Дом с башенкой». Проза Горенштейна потрясла. Стало ясно, кто тут самый-самый. Фридрих с достоинством поистине аристократическим принимает

свое новое положение, перестает выступать в роли оратора, а если и возникает, к нему напряженно прислушиваются. Но удивительно – остается в изоляции, на этот раз по своей воле. Куда-то исчезает, никто не видит его праздным, выпивающим, ухаживающим за девушкой, спешащим на футбол.

Фридрих был слушателем сценарной мастерской Виктора Сергеевича Розова. Оказался «неудобным» учеником. Все завершилось скандалом. Дипломный сценарий Горенштейна завалила комиссия, состоявшая из ведущих сценаристов того времени. Мастер не защитил подопечного»<sup>48</sup>.

Текст памфлета Горенштейна «Товарищу Маца – литературоведу и человеку, а также его потомкам», опубликованный в 1997 году, именно сейчас высвечивает, комментирует рассказ Клепикова. Из памфлета узнаем, что студиец Горенштейн, единственный в благополучной гостеприимной компании, любящей застолья, не получал стипендии, которая по тем временам была немалой – 120 рублей. Горенштейн рассказывал, что чувство голода было тогда обычным его состоянием. «В те замечательные для многих годы, о которых ныне мечтают, мне приходилось жить как раз хлебом единым, без холестерина... Я весил 53 килограмма. Вес явно диетический. Замечательный вес, если бы только не землистый цвет лица. Но главное было душу сохранить и скелет... Душа держалась в старом портфеле, потому что стола тогда не было, но потом я стол все-таки приобрел и переложил душу в ящик».<sup>49</sup> «И это была не просто нищета, – вспоминал Марк Розовский, – а какая-то нищета с угрюмством, какая-то достоевщина в быту. Неловко вспоминать, но я ему подсовывал денежку, приносил «продукты» в каморку, которую он снимал в доме рядом с Домом журналистов».<sup>50</sup>

Нетрудно предположить, ибо кто из нас не был студентом, что «организаторы быстрых застолий» устраивали их в складчину, и Горенштейн оказывался в неловком положении, поскольку стипендии он не получал, и денег у него не было, и тогда он вновь и вновь чувствовал себя тем самым отщепенцем, о котором впоследствии напишет: «Бездомность отщепенца, как и голод его, психологически чрезвычайно отличаются от всеобщей бездомности во время великих испытаний народа...»<sup>51</sup>

«Комиссия во главе с А. Каплером также определенным образом оценила «Дом с башенкой», по которому мы вместе с Тарковским, с которым я тогда уже познакомился, хотели писать сценарий. «Непрофессиональная работа, определил Каплер, – так, подражание Пановой».

На основании подобных заключений меня в конце концов с этих курсов и отчислили»<sup>52</sup>. (Сценарий по «Дому с башенкой» – это и есть дипломный сценарий, о котором пишет Клепиков.)

Спустя тридцать три года Горенштейну зачем-то понадобилась справка, о том что он учился на курсах. И, надо же, ему удалось ее получить:

Высшие курсы сценаристов и режиссеров  
Справка №109, 27.05.97  
г. Москва

Дана Горенштейну Фридриху Наумовичу в том, что он учился на Высших сценарных курсах в период с 20 декабря 1962 г. (Приказ по курсам от 20.12.62 г.) по 1 апреля 1964г. (Приказ по Оргкомитету СРК СССР от 17.04.64 г. №62).

Справка дана для предоставления по месту требования.  
Директор курсов Л.В. Голубкина.

Подпись той самой несравненной Ларисы Голубкиной, любимой актрисы нашего детства, юности, молодости, сыгравшей в романтической «Гусарской балладе» и, разумеется, не имеющей отношения к тогдашним московским драмам Горенштейна.

Горенштейн взял из рук секретарши справку, свидетельствующую о том, что курсы – посещал. И одолеваемый тяжелыми воспоминаниями, пошел, слегка сутулясь. Думаю, что он преодолел тяжесть воспоминаний и, подобно Цвибышеву, посетившему к концу романа общежитие, из которого его когда-то ежедневно изгоняли, «пошел довольный собой и тем, как легко ... перешагнул через свое прошлое».

В 1975 году, будучи сотрудником «Госкино» и членом сценарно-редакционной коллегии Центральной сценарной студии, Александр Свободин сделался постоянным читателем кинодраматургии Горенштейна. «Когда я стал читать его сценарии, – вспоминал он, – в том числе и те, где он был соавтором режиссера, меня поражало его монтажное мышление, которое необычайно важно в кино. Драматургия фильма составляется из драматургии эпизодов. Есть некий сюжетный «шампур», но все решает то, как автор строит эпизоды.

Уже много позже я прочитал у Фрэнсиса Копполы (его лекции привез из Америки Андрон Михалков-Кончаловский) некоторые теоретические высказывания на эту тему... Так вот, Фридрих все это умел и знал, так сказать, изначально. Он участвовал во многих фильмах, но, я, думаю, что первым был сценарий фильма «Седьмая пуля» ташкентского режиссера Али Хамраева. Это был напумевший в свое время детектив.

Горенштейн очень ловко и технически здорово писал детективные сюжеты, умел насытить их характерами, диалог его

был необычайно тонок и емок. Он участвовал в фильме Н. Михалкова «Раба любви». Первоначальная идея принадлежала не ему. Создатели фильма долго мучились над сценарием. Наконец, пригласили его, и работа пошла. Когда Андрей Тарковский взялся за «Солярис» по Станиславу Лему, он сразу пригласил Фридриха в качестве соавтора сценария. Таким образом, в кино, хотя начальство, особенно идеологическое, этого «самого важного из искусств» кривилось всякий раз при имени Горенштейн, он стал худо-бедно зарабатывать на жизнь».

Горенштейн рассказывал, что вначале сценарий для «Рабы любви» (реж. Н. Михалков) писал «непризнанный гений» Хамдамов, который провалил всю работу. После чего пригласили его, Фридриха, «спасать» сценарий. «Рабой любви» Фридрих гордился. «Раба любви» – это чистый фильм, – говорил он, – чистая мелодрама, типично голливудская мелодрама. Не случайно Голливуд любит этот фильм».

До 1979 года Горенштейна знали, в основном, в кругу кинематографистов как сценариста. Всего он написал около двух десятков сценариев. Экранизированы были восемь, среди них кроме «Рабы любви» и «Соляриса», «Седьмая пуля» (реж. А. Хамраев), «Комедия ошибок» (реж. В. Гаузнер), «Щелчки» (реж. Р. Эсадзе), «Без страха» (реж. А. Хамраев), «Остров в космосе» (реж. А. Бабаян). Не всегда, впрочем, имя сценариста значилось в титрах. Андрей Кончаловский в своей книге «Возвышающий обман» перечисляет сценарии Горенштейна, которые однако в титрах шли под другими именами. Среди них, например, «Первый учитель». Сценарий к фильму по своей повести Чингиз Айтматов написать не сумел, хоть и пытался – это сделал Горенштейн. «Ему носили сценарии, чтобы он выправлял, – вспоминает Свободин, – за это что-то платили, но он не претендовал на свое имя в титрах. Говорили: «Пойдите к Фридриху, у него рука мастера».

«Детективный» вопрос: кому еще Горенштейн писал сценарии? Не сыграли ли эти подпольные сценарии свою печальную роль в трагическом отторжении и замалчивании писателя московской творческой элитой? В самом, деле, Горенштейн ненужный свидетель, литературный наемник, который слишком много знает. Сколько их, сценариев, проданных и торжествующих на экранах под чужим именем, сколько их, сценаристов, которым впоследствии вовсе не хотелось ловить на себе «понимающий» взгляд подлинного автора?

Горенштейн писал, например, каким образом ему удалось переправить за границу часть своих рукописей, в частности рукопись романа «Место». «Другую, большую часть рукописей, блокноты передали мне через Финляндию. Не бескорыстно, ко-

нечно, денег заплатить не имел, но отработал натурой – пахал и сеял литературную ниву на барина.»<sup>53</sup>.

О том, кто был тем самым «барин», Фридрих в своих воспоминаниях умолчал. Зато он назвал мне однажды имя «барина» устно – Андрей Кончаловский. С ним была совершена «бартерная» сделка. Горенштейн написал для Кончаловского сценарий для французского фильма. При этом Кончаловский заверил писателя, что речь идет только о сценарии, который он, Кончаловский, продаст французам – фильма же не будет. И вот однажды, годы спустя, Горенштейн случайно включил телевизор и увидел фильм по своему сценарию. Это был фильм с Симоной Синьоре в главной роли – очень постаревшей. Фридрих это подчеркнул. Мне показалось, что он был огорчен не столько тем, что его обманули, сколько тем, что грузная, старая, по его выражению, Симона Синьоре – по фильму сестра парализованного, прикованного к инвалидной коляске господина (который был еще и влюблен в свою сестру), сильно портила фильм. Также, как и неинтересно играющий актер, исполняющий роль брата.

Видимо, «барин» неплохо заработал. Известно, батрачество к уважению и благодарности не располагает. В одной недавно опубликованной статье Александр Прошкин сообщает: «О Горенштейне в Берлине хлестко сказал Андрон Кончаловский: «Прозябает в ожидании Нобелевской премии».

Однако, вернусь к сценариям, написанным Горенштейном «официально». Прежде всего, назову сценарий «Возвращение» (продолжение «Дома с башенкой») и, написанный вместе с Андреем Тарковским, «Светлый ветер». Оба эти фильма хотел снимать Тарковский, но ему это не удалось, их запретили. В основу «Светлого ветра» положена повесть Александра Беляева «Ариэль». По сути дела, авторы сценария полностью изменили замысел писателя-фантаста. Горенштейн говорил, что в результате получилась история о человеке, который поверил в себя и научился летать, однако в основе сценарной интриги безусловно лежит религиозное начало. Писатель рассказывал: «Мы с Тарковским давно хотели сделать фильм по Евангелию. Тарковский понимал, что этого ему никогда не позволят». А вот роман Беляева давал возможность под прикрытием фантастики вывести на экран евангельские образы: конец 19-го века, Синайская пустыня, монах, которого посетил Некто, и ощутивший после посещения пророческий импульс. Сценарий «Светлый ветер» под авторством Горенштейна и Тарковского был опубликован в Москве лишь много лет спустя после написания, в 1995 году, в альманахе «Киносценарии».



Горенштейн любил Тарковского, отзывался о нем даже с нежностью, что было для него совершенно нетипично. Он говорил, что им легко работалось вместе, что они мыслили в одном русле, когда снимали фильм «Солярис», чего он не может сказать, например, о Кончаловском, с которым совместная работа над фильмом о Марии Магдалине не сложилась (Горенштейн написал для этого фильма расширенный синопсис). В истории с «Солярисом» Горенштейн, впрочем, опять же, был в роли «спасателя». Этот сценарий Тарковский начал писать совместно со Станиславом Лемом, но из этого ничего не вышло, тогда он решил написать его один – не получилось. Только после этого он обратился к Горенштейну. Тот вначале отказался, сказав, что не любит технократическую литературу и технократическое мышление. Однако на следующий день он позвонил Тарковскому и сказал: «Этот сценарий можно сделать, если ввести в него Землю и проблемы Земли». В эссе «Сто значит?»<sup>54</sup> Горенштейн вспоминал, как осенью 1970 года он встречался в Москве с Тарковским в небольшом рыбном ресторане «Якорь» на улице Горького, чтобы обсудить предварительную работу. «Встретились в «Якоре» втроем: моя бывшая жена – молдаванка, актриса и певица цыганского театра «Ромэн» Марика, и Андрей. Не помню подробностей разговора, да они и не важны, но, мне кажется, этот светлый осенний золотой день, весь этот мир и покой вокруг, и вкусная рыбная еда, и легкое золотисто-соломенного цвета молдавское вино, все это легло в основу если не эпических мыслей, то лирических чувств фильма «Солярис». Впрочем, и мыслей тоже... Марика как раз тогда читала «Дон Кихота» и затеяла, по своему обыкновению, наивно-крестьянский разговор о «Дон Кихоте». И это послужило толчком для использования донкихотовского человеческого беззащитного величия в противостоянии безжалостному космосу Соляриса... «Солярис» начинался в покое и отдыхе. Околокиношная суета, к сожалению, явилась, но потом. «Утонченные умники» внушали Андрею, что «Солярис» – неудачный фильм, чуть ли не коммерческий, а не элитарный, потому что слишком ясен сюжет и ясны идеалы... Что такое «Солярис»? Разве это не летающее в космосе человеческое кладбище, где все мертвы и все живы? Этакий «Бобок» Достоевского. Но воплощение не только психологическое, но и визуальное».

Горенштейн рассказывал, как Тарковский приходил к нему на Эксиспештрассе в Берлине – они вдвоем задумали тогда поставить «Гамлета» и он, Горенштейн, ездил потом в Данию в замок Эльсинор, чтобы наконец посмотреть на подлинный гамлетовский замок, который на самом деле произносится «Хельсигор». Писатель долго бродил у замковых стен по берегу, по-

крытому скользкими камнями, у серого беспокойного моря, и строил «воздушные замки» новой постановки Шекспира. К сожалению, этот замысел не осуществился, как, впрочем, и многие другие (они еще вдвоем собирались ставить фильм по Достоевскому).

Он сокрушался, что его не пригласили на похороны Тарковского в Париже на кладбище Sainte-Genevieve-des-Bois. Кинорежиссер Йоселиани рассказал Горенштейну о траурной церемонии, обернувшейся «безбожным кощунством». Из-за долгих торжеств, отпеваний, длинных речей, игры на виолончели (в исполнении Растроповича), кладбищенские работники разошлись, и могила осталась открытой под начавшимся проливным дождем. Публика разбежалась. Остались только сестра Тарковского Марина и ее муж Александр Гордон. «Сцена из фильма Тарковского, – писал Горенштейн. – Помните, какие чудесные дожди идут в фильмах Тарковского – в «Солярисе», в «Ивановом детстве» и прочих? То светлые, то темные, то грозные, то библейски-христианские, то языческие Перуна. На кладбище Sainte-Genevieve-des-Bois, несмотря на христианское отпевание, дождь был бесовский».<sup>55</sup>

В приведенном выше отрывке из «Сто знацит?» упоминается Марика, первая жена писателя. (Горенштейн был дважды женат.) Мария Балан была актрисой цыганского театра «Ромен». Фридрих дружил с ансамблем театра и часто туда приходил. Услышав там впервые Марику, исполнявшую романс «Калитка», он был покорен ее голосом. У нее был, по его словам, бархатное низкое контральто и замечательный артистический талант. Могу это только подтвердить. Мне довелось слышать ее страстное пение – у Фридриха в Берлине сохранилась пластинка, он любил ее слушать.

Большинство песен она исполняет на молдавском. А одну из них, свою любимую – «Калитку» – еще и по-русски. Горенштейн часто – то сначала, то с середины – напевал этот романс. (Пел он раскатистым тенором хорошо, искренне и самозабвенно<sup>56</sup>):

*Лишь только вечер затемнится синий,  
Лишь только звезды зажгут небеса,  
И черемух серебряный иней  
Жемчугами украсит роса.*

*Отвори поскорее калитку,  
И войди в тихий садик, как тень.  
Не забудь потемнее накидку,  
Кружева на головку надень.*

Каждый раз, когда пел этот романс, с грустью говорил о несостоявшейся судьбе талантливой певицы. К сожалению, Фридриху пришлось развестись с ней из-за того, что она пристрастилась к спиртному. «Этому она научилась у своего бывшего мужа актера Каморного», – рассказывал он. Теперь Мария Балан живет в Кишиневе. Знаю еще, что она несколько раз звонила Фридриху в Берлин.

Не сложилась у Фридриха совместная жизнь и со второй женой, Ириной Прокопец. С ней он развелся уже в Берлине. В последнем своем произведении «Как я был шпионом ЦРУ» Горенштейн писал: «Я вывез на Запад семью, но я не вывез любовь; вместо любви – сын-мальчик. Это, конечно, в некотором смысле, компенсация. Но, все-таки, вспоминаются чудесные строки Гейне:

*Бежим, ты будешь мне женой,  
Мы отдохнем в краю чужом,  
В моей любви ты обретешь  
И родину, и отчий дом.*

*А не пойдешь – я здесь умру,  
И ты останешься одна,  
И будет отчий дом тебе  
Как жужедальная страна.<sup>57</sup>*

В воспоминаниях литераторов, знавших Горенштейна лично, звучит один и тот же мотив: «не знали», «не читали», «знали понаслышке», «мы тогда еще не знали, что он написал «Место», «Псалом», «Искупление», «Зима 53-го года» и так далее. Юрий Клепиков, побывавший однажды в гостях у Горенштейна на Зексипештрассе, был удивлен, увидев его объемные романы. Фридрих завел его в свой кабинет. «И мы оказываемся в «спичечной коробке», где Генрих Белль и Гюнтер Грасс, зайдя они вдвоем, попросту не поместились бы. Несколько книжных полок и письменный стол, почти детский. Здесь Фридрих надписывает мне «Псалом» и «Искупление». Я впервые узнаю о существовании этих сочинений. Страшно подумать, сколько лет Горенштейн ждал их выхода. Как писал классик: «Едиственная награда заключалась в самом трепете творчества»<sup>58</sup>.

Его не читали, потому что не публиковали, это понятно. Прочитали только «Дом с башенкой», но по всей видимости, этого было недостаточно для литературного дебюта, также, как недостаточно было Достоевскому его повести «Бедные люди»

для создания прочного литературного авторитета среди собратьев по перу.

Молодой Достоевский после написания «Бедных людей» стал мгновенно знаменитым благодаря непрерываемому авторитету Белинского, который вынес вердикт, скомандовал: «Новый Гоголь появился». Белинский еще назвал его гением. Казалось бы, чего еще желать? Однако первые триумфы в отечестве оказались и последними. Дебют завершился плачевно, если не сказать трагически. Очень скоро заговорили о том, что Достоевский, якобы, возгордился от высоких похвал, а этого никак нельзя. «Излишнее самомнение» – таким было главное обвинение в начавшейся затем беспрецедентной травле со стороны петербургских литераторов во главе с Белинским. Достоевский, к тому же, написал «слабую», по их мнению, повесть «Хозяйка», что было уже для «гения» совсем непростительно. Рассказывая об издевательствах над Достоевским, Павел Анненков вспоминал: «Тогда было в моде предательство, состоящее в том, что за глаза выставлялись карикатурные изображения привычек людей... что возбуждало смех... Тургенев был большой мастер на такого рода представления». Тургенев с Некрасовым сочинили на «курносого гения» и «чухонскую звезду» Достоевского стишки о том, что турецкий султан, прочитав его повесть («Бедные люди»), пришлет за ним визиря. И дальше:

*Хоть ты новый литератор,  
Но в восторг ты всех поверг:  
Тебя знает император,  
Уважает Лихтенберг.*

«Надулись же мы, друг мой, с Достоевским-гением, – сокрушался Белинский – Я, первый критик, разыграл тут осла в квадрате». Так и умер первый критик, уверенный, что Достоевский, «этот молодец», как он его теперь называл, обманул его ожидания.

Но и для других литераторов – Некрасова, Тургенева, Григоровича, Панаева, Анненкова, Краевского – он также навсегда остался чужим, никто из них не предполагал, что ему суждена всемирная слава. Впрочем, характерно, что по отношению к Достоевскому вся Россия разыграла «осла в квадрате». Слава пришла к Достоевскому с Запада, и только после этого его по-настоящему оценили на родине.

«Должны были исполниться какие-то сроки, – писал К. Чуковский, – чтобы лишь внуки и правнуки тех, кого он взбудоражил своей первой повестью, – поняли, мимо какого высокого трагика их деды прошли, как слепые».<sup>59</sup>

Стэйзи Шифф в книге «Вера» рассказывает о переживаниях Веры Набоковой из-за непризнания мужа, особенно в первоначальный период жизни в Америке («...никто не знает, что на балу присутствует шахматный гений»). «Подобный феномен имеет некоторую литературную параллель в творчестве Набокова: «В провинциальном Комбре все считают Вентейля чудачком, пописывающим музыку, и ни Свану, ни юному Марселю не приходит в голову, что на самом-то деле его музыка оглушительно знаменита в Париже<sup>60</sup>. Как уже отмечалось, Пруста живо занимает, насколько разным один и тот же человек воспринимается другими людьми»<sup>61</sup>. Подобно этому и Ада впоследствии будет сетовать «на неяркость славы своего брата».

## 5. ЦЕНА ДИССИДЕНТСТВА

---

Горенштейн предостерегал от длинных названий. Чем короче название, тем лучше. «Ну, например, «Место», – говорил он, – чем плохо?» Первоначально название этой главы звучало так: «Судьба-злодейка, как говаривали русские мужики, разводя безнадежно руками...»

Я помнила горенштейновский совет, но рука почему-то никак не хотела останавливаться. Я едва сдержала ее, поскольку уже само писалось дальше: «...И покуда я видеть их мог, с непокрытыми шли головами». Что ни говори, а привязчив не красовский стих! И отражает суть проблемы. непокрытые головы деревенских русских людей – тоже символ бессилия перед судьбой, о которой они, насколько помнится, не сказали ни слова. А вот Всевышнего, разумеется, без всякого укора, они помянули: «Повторяя, суди его Бог...», ну, и так далее...

Однажды я уже пыталась найти формулу творческой судьбы Горенштейна, цитируя слова Ефима Эткинда из его статьи «Русская литература и свобода»<sup>62</sup>. Судьба писателя Горенштейна типична для России, думалось мне вначале. Слова Эткинда, казалось бы, подтверждали эту мысль:

«Неизвестно, как писать историю русской литературы, в сущности их должно быть две, совершенно разных: первая – по хронологии написанная, вторая по выходу в свет». В качестве примера Эткинд приводит имена писателей, поэтов и драматургов, чьи книги появились на книжном рынке и в библиотеках с опозданием более чем на четверть века: «Мастер и Маргарита» вышел спустя 25 лет после написания, романы Вс. Иванова через 40-60 лет, «Реквием» Ахматовой через 50 лет, публицистика Горького достигла рекорда «невстречи с читателем» – она была опубликована лишь спустя 70 лет после написания. «Последние примеры: роман «Доктор Живаго» окончен в 56-м, опубликован через 30 с лишним лет; роман Гроссмана «Жизнь и судьба» окончен в 1960-м, появился в России через три десятилетия. Как же быть с историей литературы?» спрашивает Эткинд<sup>63</sup>. От себя добавлю: «Феоптия» Третьяковского вышла с

опозданием почти в 300 лет – причем также по причинам политическим.

Вроде все правильно и справедливо о судьбах книг в стране Советов и, вообще, в России. Однако что-то не стыкуется здесь, чего-то «не хватает» в этой драме. И самого Эткинда впоследствии удивило нечто в творческой биографии Горенштейна, отличавшее его от остальных современников-писателей, когда, уже будучи профессором Сорбонны, он прочитал прозу Горенштейна (он тогда также мог читать ее и во французском переводе, поскольку в 80-х годах восемь книг Горенштейна были переведены на французский язык и опубликованы). А удивило его то, что произведения такого мастера не были известны в мире литературно-художественного андеграунда 70-х годов и не появились при советской власти даже в самиздате<sup>64</sup> – об этом статья Эткинда «Рождение мастера» в журнале «Время и мы». Этот рыцарь литературы неоднократно пытался исправить «ошибку», «недоразумение» с Горенштейном, из-за которого в течение двадцати с лишним лет его не читал не только широкий, но и «узкий» читатель.

В 1989 году Ефим Григорьевич Эткинд, один из моих бывших преподавателей, вернулся в свой город, «знакомый до слез»<sup>65</sup>. Напомню: он был лишен гражданства и выдворен из страны по сфабрикованному КГБ «делу». Дело это было связано в основном с двумя литераторами – Солженицыным и Бродским, которым он помогал. Так, например, он выступал свидетелем защиты на процессе Бродского и прятал у себя рукописи Солженицына. За это и пострадал. И вот сейчас, «на заре туманной перестройки», Эткинд был приглашен в Педагогический институт им. Герцена, где пятнадцать лет назад при тайном единогласном голосовании коллег был лишен всех званий, в том числе и ученого звания профессора. Ему суждено было выступить в том самом четырнадцатом корпусе на Мойке, 48, где он работал в последние годы перед отъездом на Запад. Эткинд согласился на встречу с бывшими коллегами. Самая большая аудитория корпуса не вместила всех желающих. Остальные, как говорили, «весь Ленинград», стояли в коридоре.

На этой встрече Эткинд рассказал о Горенштейне, творчество которого во Франции имело шумный успех, назвав его крупнейшим русским писателем двадцатого века и даже «вторым Достоевским». Произошло это за три года до выхода в Москве в издательстве «Слово» трехтомника писателя. Ленинградские литераторы хорошо помнят эту часть выступления Эткинда и особенно его слова: «Второй Достоевский»<sup>66</sup>.

Возвращаюсь к теме самиздата. О литературном истэблшменте, не пустившем в свое время Горенштейна даже в самиздат, я однажды писала:

«Автор бросил вызов не товарищу Маца, а тому «литературному истэблшменту», который, как писатель сообщает в своем памфлете, препятствовал реализации его книг не только в официальной подцензурной печати, но даже в самиздате, — здесь Горенштейн указывает на обстоятельство в истории советской литературы, изучение которого дело будущего — литература самиздата также была подцензурной. Однако это была иная, неофициальная цензура, опирающаяся на личные связи и круговую поруку в среде полулибералов хрущевской оттепели. Поскольку авторитет «самиздата» был достаточно велик и поддерживался на Западе, «не пропустить» писателя в «самиздат» означало нанести ему порой гораздо больший урон, чем тот, на который способна была тоталитарная система. Что же касается последней, то сотрудники «учреждения» не могли не понимать этой ситуации и, возможно, использовали ее в своих целях»<sup>67</sup>.

Горенштейн вспоминал:

«В конце-концов мне пришлось уехать. Но уезжал я не так, как любимцы либерального истэблшмента, без шума по зарубежному радио, без положительных характеристик для западного славистского истэблшмента...

Зарубежные паспорта тогда получали диссиденты с особыми заслугами или известные, но набедокурившие деятели культуры. Ни то, ни другое ко мне не относилось, поскольку я был неизвестен (меня не критиковали, а замалчивали). Я уверен: власть имевшие обратились к теневой власти, либеральствующему истэблшменту, но в моем случае — к нижним чинам и получили вышеприведенные характеристики. Я знаю отзыв о моей повести «Зима 53-го года» ответственного секретаря «Нового мира» Закса (эмигрировав, Закс занялся разоблачением советской цензуры): «Труд свободных людей показан хуже, чем в концлагере». Подобным отзывом Закс предостерегал Александра Трифоновича (Твардовского) от публикаций Горенштейна. Тот же отзыв, слово в слово, я услышал от чиновника, когда обратился за паспортом. Таким образом, мне пришлось ехать рядовым эмигрантом-евреем, а по тем временам ОВИРовского путеводаителя это означало — через Вену»<sup>68</sup>.

Приведем писательское «досье» Горенштейна, литературно-диссидентский багаж накануне его отъезда на Запад.

Публикация на родине была, как уже говорилось, всего одна — «Дом с башенкой», правда, в журнале «Юность», выхо-



дившем тогда миллионным тиражом, а остальное – в «столе». Горенштейн называл себя «столоначальником» своих рукописей.

В Германии до отъезда из России у Горенштейна на немецком языке был уже опубликован роман «Искушение»<sup>69</sup>, отмеченный стипендией Немецкой академической службы культурного обмена. На Германию, естественно, возлагается надежда. Однако у Горенштейна нет необходимой для успеха за границей диссидентской биографии. Участия же его в скандальном «Метрополе»<sup>70</sup> оказалось недостаточно, хотя известно, что у авторов сборника, начиная с Василия Аксенова и заканчивая Евгением Поповым, были серьезные неприятности.

Горенштейн рассказывал мне, что поначалу предложил для «Метрополя» отклоненную когда-то ответственным секретарем «Нового мира» Заксом «Зиму 53-го года» (труд советского человека представлен у Горенштейна как концлагерный – таков был приговор Закса), однако Аксенов тоже почему-то отклонил повесть, которая по своей страстности, энергии и художественному уровню выше не только «Ступеней» Горенштейна, помещенных в альманахе, но и многих других произведений сборника. К тому же повесть вполне отвечала «диссидентскому» направлению «Метрополя». (Александр Свободин в своей статье о Горенштейне тоже отметил этот факт.)

Стартовым сигналом для «кампании» против «Метрополя» стал секретариат Московской организации Союза писателей, состоявшийся 20 января 1979 года. Первый секретарь Феликс Кузнецов обвинил авторов альманаха в аполитичности, и заявил, что у их произведений низкий художественный уровень. Позже было выдвинуто другое обвинение – что «Метрополь» готовился для публикации на Западе. 12 августа 1979 года «New York Times» опубликовала телеграмму протеста американских писателей Курта Воннегута, Джона Апдайка и других. В ответ «Литературная газета» (Ф. Кузнецов) напечатала полемическую статью «О чем шум?». Скандал достиг апогея, когда было отменено решение о приеме в члены Союза Писателей Евгения Попова и Виктора Ерофеева – участников альманаха. В знак протеста Аксенов отправил членский билет по почте в Секретариат правления СП РСФСР.

Некоторые мемуаристы предполагают, что один из инициаторов альманаха Аксенов «устроил» его создание, да еще с хитроумной передачей экземпляров на Запад, именно для скандала, поскольку уже собирался за рубеж. Горенштейн рассказывал, что даже во время скандалов вокруг элиты «Метрополя», за которую «боролись, как выражались, критикуя ее», его имя

как участника альманаха не называлось. «Меня игнорировали и замалчивали»<sup>71</sup>.

«Возможно, со времен Бунина страну не покидал писатель столь крупного дарования, – Юрий Клепиков, – сомнительное утверждение? Никому не навязываю. Не упущу упомянуть об одном совпадении. Оба стали эмигрантами в сорок восемь лет. Возраст могучей творческой зрелости. Разность в реальном положении чудовищна по своему драматизму. Бунин европейски известен, академик словесности, автор не один раз изданных собраний сочинений. Горенштейн опубликовал за двадцать лет работы один-единственный рассказ. А его романы, повести, пьесы, способные составить большое имя, спрятаны в сундуке. Не знаю, как все это оказалось на Западе<sup>72</sup>. Легко догадаться, скольких седых волос это стоило писателю»<sup>73</sup>.

Перед отъездом из России Горенштейну приснился сон, который он посчитал нужным записать. Ему как будто бы позволила Анна Самойловна Берзер и сказала, что с ним по поводу его участия в «Метрополе» желает беседовать специалист по сельской разведке. Горенштейн обрадовался: наконец-то его заметили, вызвали, предали гласности. Вон ведь многих участников вызывали на допросы в Союз писателей, увольняли с работы, запрещали публиковать, а с ним ничего не происходит – никто не ругает, не вызывает. И он помчался к специалисту по сельской разведке, навстречу долгожданым политическим неприятностям. Однако специалист оказался (обернулся?) черным пуделем, напоминающим фаустовского. Пудель был очень занят: он ругался с кошкой и не замечал Горенштейна. Наконец, писатель сам решил обратить на себя внимание пуделя и сказал ему:

– Я Горенштейн.

– Очень хорошо, подождите.

Горенштейн ждал очень долго. Не дождался. Ушел.

За границей он вспомнил этот сон – теперь уже наверняка его можно было назвать вещим: «Гробовая тишина, живое захоронение, никакой сказки, никакой биографии не дала мне советская власть при расчете, хоть все у меня отняла. «Какую биографию делают парню!» сказала Анна Андреевна Ахматова по поводу судебного процесса над Бродским. Это те сказки, красивые биографии, которые на Западе вознаграждались недвижимым имуществом, богатыми престижными премиями и прочим подобным. А талант? Талант без красивых биографий для западных функционеров неинтересен. Мало ли их, талантов!»

В 1971 американский профессор-славист Карл Проффер (вместе с женой Эллендеей) создал в университетском городке Анн Арбор в штате Мичиган русское издательство «Ардис». Издательство поставляло книги произведений неофициальных и полуофициальных, замалчиваемых и полузабытых советских авторов на русском языке кафедрам славистики, университетским библиотекам и русским книжным магазинам Америки, Европы и Израиля. Всего было издано около 500 книг. «Ардис» впервые издал альманах «Метрополь», после чего Карлу Профферу больше не давали визы в СССР. Горенштейну и с этим издательством не повезло, о чем он писал: «Часть рукописей вывез президент Проффер, но, разочаровавшись в них, по совету консультанта своего Соколова, любимца американского славизма, отослал их моим венским знакомым».

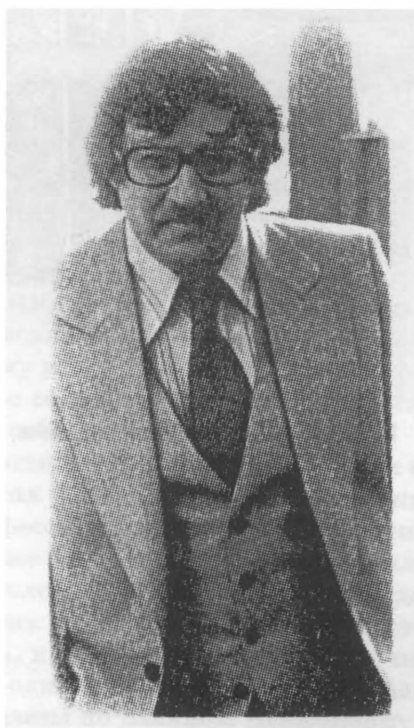
Вспомним «всемирный» политический скандал вокруг «антиреволюционного» поэта Пастернака, издавшего роман «Доктор Живаго» на буржуазном Западе. Это был скандал, который стоил поэту здоровья и сократил ему жизнь. Никогда не забуду огромный плакат во всю стену, висевший в прихожей, в музее-квартире Пастернака в Переделкино (я была там, кажется, в конце 70-х или в начале 80-х годов). На этом плакате Джавахарлал Неру в индийском национальном костюме по телефону уговаривает Хрущева (Хрущев, как и Неру, с телефонной трубкой) быть милостивым к поэту Пастернаку и не наказывать его жестоко. Политические скандалы были в большой моде во времена холодной войны<sup>74</sup>. После публикации в «Новом мире» «Одного дня Ивана Денисовича», дозволенной личным распоряжением Хрущева, советская печать в застойные годы больше не издавала Солженицына. Его произведения публиковали за границей, и это не нравилось советскому руководству. В 1969 году Солженицын был исключен из Союза писателей, а в 1970 году, когда роман «Архипелаг ГУЛАГ» был удостоен Нобелевской премии, писателя вынудили уехать из России.

Политический скандал вынес Иосифа Бродского на суд высших «литературных инстанций». В 1972 году Бродский эмигрировал в США, и Нобелевскую премию в 1978 году он получал уже как гражданин Соединенных Штатов<sup>75</sup>.

Людмила Штерн в своих воспоминаниях сообщает: впоследствии поэту невыносима была мысль, что «травля, суды, психушка, ссылка – именно эти гонения на родине способствовали его взлету на недостижимую вершину славы». Он даже отказался от общения с одним из своих заступников Ефимом Эткиндоном после выхода в 1988 году книги Эткиндо «Процесс Иосифа Бродского».

Случались и другого рода скандалы.

**Эллендея Проффер  
Мичиган, 1979 год**



**Карл Проффер  
Мичиган, 1978 год**



Книги Фридриха Горенштейна, вышедшие в издательстве «Слово / Word»

Владимир Набоков, уехавший из России в годы революции, на политический скандал рассчитывать не мог. Находясь сначала в немецкой, а затем в американской «загранице», писатель публиковал роман за романом, вначале на русском, затем на английском языках, один другого лучше. Однако долгие годы он жил в Итаке (США) в нужде, малопризнанный, пока не возник «семейный проект» (совместно с женой) «Лолита»<sup>76</sup>, рассчитанный на скандал, связанный с оскорблением нравов, подобный скандалу вокруг «Мадам Бовари» – подозреваю, что Набоковы вспоминали эту парижскую напумевшую историю об «оскорблении нравов»<sup>77</sup>. Цель – подобно чаплиновским фильмам, задеть нужный нерв читающего мира, после чего, как в сказке, явятся продюсер Гаррис и режиссер Кубрик.

И сон стал явью. Набоков однажды увидел во сне своего дядю Василия Ивановича Рукавишника, пообещавшего когда-нибудь появиться в образе двух клоунов – Гарри и Кувыркина и вернуть наследство, утраченное племянником в 1917 году. Набоков, доложу я вам, не только гениальный, но еще и очень умный писатель. Впрочем, так же умна была и его жена Вера (у книги Стэйзи Шифф «Вера» примечательный подзаголовок: «Миссис Владимир Набоков»). «Она прекрасно знала, что именно скандал способствует распродаже книги. Десять лет назад Вера стала свидетельницей того, как запрет в Бостоне книг «Странный плод» и «Навеки Эмбер» всколыхнул небывалый интерес к этим романам»<sup>78</sup>. Вера Набокова чуть ли не заставляла мужа писать этот трудно удававшийся ему роман (он даже пытался его сжечь), как будто чувствовала, что именно «Лолита», этот его двенадцатый по счету роман, повернет читающую публику лицом к предыдущим<sup>79</sup>.

Однако вернусь к политически скандальным, вернусь к Эткинду, человеку с внушительным диссидентским досье, «спасшему» двух будущих Нобелевских лауреатов – Бродского и Солженицына, и заслужившему их неблагодарность<sup>80</sup>. Мне об этой неблагодарности (особенно со стороны Солженицына) известно от Эткинда лично, с его собственных слов.

В октябре 1996 года мы вчетвером (Фридрих и я с мужем и сыном) были в Потсдаме в гостях у Эткинда и его жены Эльки Либс-Эткинд (германиста, профессора Потсдамского университета; они были женаты тогда уже три года). Мы сидели на балконе за небольшим круглым столом, и Фридрих впервые тогда признался, что оплакивает своих умерших героев. Впоследствии мне довелось самой видеть, как писатель оплакивал – по лицу его текли слезы – смерть одного из героев только что написанной им пьесы: это были слезы по Василию Блаженному.

Надо сказать, я заметила однажды слезы и по умершему Ивану Грозному, но писатель заверил, что эти слезы мне привиделись. Он мне так и сказал: «Я оплакивал только Василия Блаженного, а Ивана Грозного – нет. Вам показалось!» Речь идет здесь о двухтомных «Хрониках времен Ивана Грозного», изданных в Нью-Йорке в 2002 году. Горенштейн читал в нашем присутствии сцены из книги (мы с Борей их записывали для издательства на магнитофонную ленту в течение целого года по воскресеньям – у писателя был нечитаемый почерк) и по мере ухода навсегда некоторых героев со сцены оплакивал их и при этом оправдывался: «Когда я создаю эти образы, я чувствую себя выше их – я их создатель – и не плачу. Я плачу только после написания, когда уже над ними не возвышаюсь».

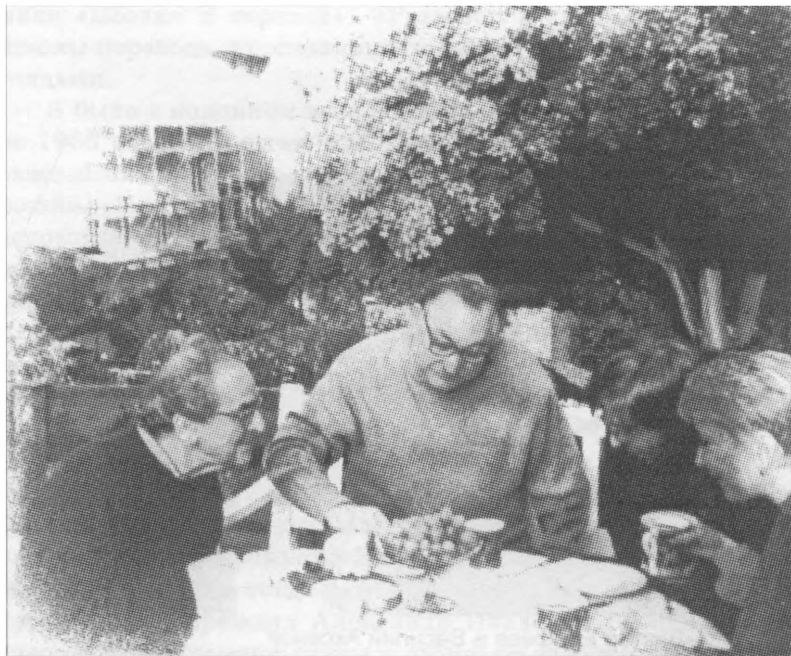
Помню один наш такой спор. Горенштейн стоит в проеме кухонной двери и жалуется на меня моему сыну Игорю, к которому относился с нежностью и называл «чеховским интеллигентом»: «Ваша мама говорит, что я плакал из-за Ивана Грозного, а это неправда!» «Правда, правда, вы оплакивали это чудовище!», – говорю я. «Это неправда! Я плакал только из-за Василия Блаженного!» Он не смог признаться и самому себе, что проливал слезы над своим детищем-монстром. Между тем, для писателя ситуация «убиения» необычайно драматична, он как будто хоронит собственного ребенка. Флобер плакал навзрыд над покончившей собой Эммой Бовари, а Набоков оплакивал последнюю встречу Гумберта с Лолитой.

На балконе у Эткинда, на фоне старой липы с могучим стволом и ветвями, осыпанными золотыми осенними листьями, легко рассказывалось о тайнах творчества. Фридрих говорил, что по мере приближения конца произведения понижается «статус» писателя по отношению к созданным образам, и, наконец, он перестает быть творцом. И тогда появляются слезы. Эткинд переводил рассказ Фридриха о проливаемых слезах Эльке, и я видела, что эта исповедь произвела на нее большое впечатление.

Эткинд тогда с артистизмом прирожденного импровизатора рассказывал сюжетные литературные истории, в частности, захватывающую, «детективную» историю о Татьяне Гнедич, праправнучатой племяннице переводчика «Илиады», переводившей по памяти (без книги) в тюрьме «Дон Жуана» Байрона – семнадцать тысяч строк. Оказалось, что Татьяна Григорьевна в 1957 году по возвращении из лагеря жила в коммунальной квартире у Эткиндов на Кировском проспекте<sup>59</sup>.

В тот вечер Эткинд и рассказал нам о заявлении Солженицына: «И надо же мне было до такой жизни дойти, что я вынужден был принимать помощь у еврея!» То есть у Эткинда.

**В гостях у Эткинда  
Фридрих  
рассказывает о  
«тайнах творчества»**



**В гостях у Ефима Эткинда**





**В гостях у Ефима Эткинда**  
Слева направо: жена Эткинда Элэка-Либе Эткинд, профессор  
Подсдамского университета, Е. Эткинд, Горенштейн,  
М.Полянская (спиной)



**Виктор Ерофеев и Василий Аксенов**

Который из-за Солженицына был выслан из России. Это притом, что Солженицын подтверждает: «Сам Е. Г. Эткинд был в дружбе со мной неотрицаемой, к моменту высылки уже полных 10 лет... и изо всех действующих лиц... только он еще получил открытое сотрясение, публичное бичевание и вытолкнут за границу»<sup>81</sup>. В рассказе «Русский писатель и два еврея» Эткинд писал: «Странно, что Солженицын не увидел солидарности тех, кто причастен к культуре, не оценил независимой от состава крови потребности интеллигенции к взаимоподдержке. А ведь именно такая солидарность увенчала автора «Ивана Денисовича» Нобелевской премией, помогла ему преодолеть изгнание и победителем вернуться в Россию». Заграничные привилегии Эткинда – профессорство в Сорбонне, Золотая пальмовая ветвь, мировое признание и все остальное не вернули ему ни покоя, ни удовлетворения, как, подозреваю, не вернули страдальцу Иову покоя и удовлетворения новое богатство взамен старого, и другое потомство, взамен бывшего. Книга Эткинда «Записки незаговорщика», написанная с пронзительным, невероятным для публицистики лиризмом, свидетельствует о том, что рана его так никогда и не зажила.

Уже в те времена, когда я училась в «Герцена», имя автора книг «Поэзия и перевод», «Разговор в стихах», основателя школы перевода, прославившего институт, было окружено легендами.

Я была в колонном зале на защите его докторской в октябре 1965 года, и считаю эту блистательную защиту одним из важнейших событий моей далеко не бедной впечатлениями жизни. «Несмотря на довольно специальный характер темы, – вспоминал Эткинд, – «Стихотворный перевод как проблема сопоставительной стилистики» – аудитория реагировала с энтузиазмом, и защита прошла, можно сказать, эффектно»<sup>82</sup>.

Еще бы! Участниками научной баталии были прославленные академики В. М. Жирмунский и М. П. Алексеев, также будущий доктор и профессор Е. Г. Эткинд. Не забуду восторга переполненного зала. Как это было красиво! И могу лишь воскликнуть вслед за Салтыковым-Щедриным, вспоминая «оттепель» начала царствования Александра II: «О, какое это было время! О, какое это было прекрасное время!» И не предполагали мы, как и Михаил Евграфович, что все это может так быстро кончиться, тогда как следовало предполагать, поскольку, как предупреждал Александр Иванович Герцен, когда в очередной раз ломают стены и отбивают замки и отпирают ворота, то в первую очередь вбегают не те, кого ждали. «Неотразимая волна грязи залила все», – писал он в «Былое и думах».

Мы – не предполагали. А Горенштейн, мало кому тогда известный, сидел в «чужом углу» и малопонятным почерком писал свой 900-страничный роман «Место» с подзаголовком «Политический роман» о хрущевской «оттепели», оказавшейся очередным камуфляжем и обернувшейся очередным фарсом.

«Легенда враждебна Закону, и именно легендарный сталинизм, а не антисталинские лозунги оппозиции, порождает Народное Недовольство, самого грозного врага Власти, врага, черпающего свои силы не в политической оппозиционной кучке, а в лояльном массовом потребителе.

На этой темной, обледеневшей ленинградской улочке я понял, что идеал покойного Журналиста, идеал покойного умеренного оппозиционного интеллигента – стоять с незатянутой петлей на шее, на прочном табурете – возможен лишь тогда, когда на узкой тропе Истории только Власть. Когда же туда, навстречу власти, словно дикий кабан на водопой, выходит Народное Недовольство, то первым же результатом противостояния является двойной удар сапогами по табурету, и миру после этого остается, в лучшем случае, лишь хриплые, необъективные, как все мертвеющее, запоздалые мемуары «удавленника-интеллигента»<sup>83</sup>.

Я часто думаю: а что было бы, если бы роман «Место» был опубликован тогда, когда был написан, как это и бывает при нормальном кровообращении литературы, и мы, «либеральная интеллигенция», прочитали бы его в году 75-м, или 76-м? Может быть, мы подготовились бы к очередной «оттепели» и уже во всеоружии встретили бы эпоху лихих горбачевских разбойных свобод, с иммунитетом и скепсисом по отношению, например, к «бывшим» коммунистам, которые всегда первыми «вбегали в ворота», чтобы без покаяния в очередной раз даровать нам глоток свободы, дар который мы жадно и благодарно принимаем? И еще я думаю: а что было бы, если бы роман Тургенева «Отцы и дети» с его «героем нашего времени» и его убийственно материалистической тенденцией, оказавшей колоссальное влияние на поколение, застрявшее тогда надолго на стадии нигилизма, увидел свет, допустим, спустя тридцать лет после написания?

Пожалуй, изменился бы ход истории. Александр II, говорю я, прочитал «Записки охотника», плакал над книгой, после чего и совершилась, наконец, столь долго ожидаемая отмена крепостного права – таково мое ощущение этого исторического действия, а об объективности суждений здесь судить и не нужно.

В политике не принято делать подобных заявлений. А в литературе?

– Но что есть истина в политике, – говорил Фильмус, – вернее, что есть политика – литература или наука? Для Маркса и Ленина это наука... А для Сталина и Троцкого – литература... Детектив... Да, пожалуй, и для Хрущева... Для Хрущева политика – фольклор...

– Как! Кричал уже Бительмахер.

– Ужасный путаник, – сказала Ольга Николаевна.

– Я поясню, – ответил Фильмус (пожалуй, спирт действовал на всех в полную силу). – В литературе противоположная истина не ложь, а другая истина... Вот так... Установки вместо принципов...

– Политический фрейдизм! – крикнул Бительмахер.

– Если угодно, – ответил Фильмус<sup>84</sup>

По иронии судьбы в эпоху горбачевской перестройки роман «Место» был опубликован опять же не ко времени, то есть не в 1988 – 89 годах, когда все кинулись читать Набокова, Платонова и остальных возвращенцев (так читали когда-то «Историю...» Карамзина: «опустел Невский проспект, все сидели за книгами»). А в 1991 году, когда все было прочитано и оголодавшая от реформ и бешеных инфляций читающая публика уже ничего не читала, а занялась поисками хлеба насущного... Вот тогда вдруг выплыл неторопливо роман «Место». Выплыл тихо, бесшумно, без прессы. Такова судьба этой великой книги.

## **6. МОСКВА – ОКСФОРД – БЕРДИЧЕВ**

Иль прав был Малларме, сказавший: мир существует, чтобы войти в книгу? Вот и сейчас – жизнь «придумала» для меня по-книжному символический эпизод. Я случайно, а может, и не случайно, вновь открыла выпуск «Октября» за ноябрь 2000 года и обратила внимание на текст Анатолия Наймана под названием «Сэр». Жанр произведения не указан, что вполне оправдано в данном случае. Трудно порой определить формальные границы, когда речь идет о записях-воспоминаниях. Границы очерчены нестрого. Так же, как трудно «закрепить» статус за письмами, дневниками, записками, заметками, одним словом, всем тем, что Тынянов именовал «литературным фактом». Для удобства назову этот текст «записками». Записки Наймана, бывшего соученика Горенштейна на Высших сценарных курсах, свидетельствуют о таланте автора как рассказчика. С наслаждением читала об Оксфорде и его неповторимой атмосфере, в которой только и могла появиться «Алиса в стране чудес». Но вот, Найман переходит к описанию собственной оксфордской истории. Найман пробыл в Оксфорде с осени 91-го года до лета 92-го. Он оказался там по рекомендации Исая Берлина.

В Оксфорде и замелькали символические эпизоды один за другим, согласно цветаевскому: «в жизни символиста – все символ – не-символов – нет»<sup>86</sup>. В Оксфорде 92-го года, на родине «Зазеркалья», Анатолий Найман ровно тридцать лет спустя оказался в зеркально перевернутом положении по отношению к самому себе, студенту Сценарных курсов 1962 года. Найман очутился здесь московским (или, на худой конец, петербургским) провинциалом, о чем он и пишет открыто, я бы сказала, исповедально. Англичане – известные снобы. Для них весь остальной мир – провинция. Что уж тут об Оксфорде говорить, где непровинция, разве что, Кембридж (и то с натяжкой). И что уж тут говорить о России, где, как известно, медведи по улицам бродят. Одним словом, Оксфорд! Сама обстановка располагает к снобизму. «Концентрированное изящество, – пишет

Найман, – клавикорды, золотые рамы, часто рафинированность, почти подталкивающая к снобизму...».

«В некотором смысле, – признается Найман, – моя неадекватность, неидентичность себе там была принципиальная и неисправимая».

Найман оказался недостоин Оксфорда даже в глазах оказавшегося там школьного друга, заслуженного биолога. «И поэтому мое пребывание, не основанное на карьере, на ученой степени или научном достижении, или просто достижении, а только на том, что я, такой как есть, дружу с Исайей, своей «незаслуженностью», «несправедливостью» портило ему настроение». Недовольны были и некоторые профессора. Один из них, специалист по русской литературе, всякий раз, выпив пограничную («рубежную») порцию виски, давал понять Найману, «что не будь Берлина, не попасть бы» Найману «в этот афинский рай». Исая Берлин вынужден был успокаивать Наймана, заверял его, что считает его специалистом высокого уровня: «Поверьте моему опыту, вы в сто раз больший специалист, чем им требуется...».

Впрочем, дело было не только в научных достижениях. Была еще «унижающая языковая неполноценность». «Меня попросили прочесть лекцию в Лондонском университете, и он (Берлин – М. П.) пришел послушать. Народу оказалось больше, чем я ожидал, я чувствовал себя напряженно и по-английски не столько «говорил», сколько «переводил» – фразы приходили в голову по-русски, очень неуютное ощущение. Встретив меня назавтра в Колледже, Исая сказал: «Не выдумывайте, английский как английский. К тому же, ваша лекция имела два достоинства: она была короткой, и она была вразумительной. Обычно я засыпаю».

Берлин похвалил Наймана. Но вот что примечательно в рассказе поэта из России: и сам «сэр» – так называли знаменитого историка и филолога Исая Берлина в ахматовском кругу – казался ему в Оксфорде отчужденным. Берлин, вывезенный ребенком в Англию из Риги еще в 1919 году, не вписывался в оксфордскую действительность. «Разумеется, он был оксфордец, – уверяет Найман, – а из-за своей известности – супероксфордец, городская достопримечательность, но мне никак не удавалось не видеть в нем русского, попавшего туда. Больше того, он казался мне наложенным на эту местность – как в кино, когда кадры с героем, снятым в павильоне, накладывают на пленку с общим видом».

Интересно, что такая павильонная наложенность присутствует и в тексте самого Наймана. Я заинтересованно читала его и ощущала иной текст, тонкий и невидимый, который про-

скальзывал в зазоры между строчками, порой раздвигая их: Найману казалось, что «сэр» был наложенным на местность. Интересно, почему? По другим источникам известно, что Берлин был вполне органичной, может быть, даже типичной оксфордской достопримечательностью в «собрании благодушных или, все равно, язвительных оксфордских донов в мантиях, в кругу интеллектуалов в свитерах, звезд в декольте и смокинг-гах». Что же касается того, что на нем лежала извечная печать гонимого еврея, как подчеркивает Найман... Оно, конечно, так. Как же без этого? Но, с другой стороны, привлекает внимание наймановский биологический фатализм при характеристике «сэра»: еврейство – это «органическая ткань, кровь, врожденная психика», которую не скроешь, «даже если ты рыцарь Короны, пэр Англии»<sup>86</sup>.

Выходит, нет убежища у бедного еврея даже под мантией (под видом) доктора Оксфорда! (Исайя Берлин был, надо сказать, почетным доктором не только Оксфорда, но и многих других университетов). Пушкин сказал однажды сокрушенно, что как ни пытался в «Борисе Годунове» спрятать уши (в данном случае вольнолюбивые идеи) под колпак юродивого, ничего не вышло: торчат! Так и здесь: как ни пытался еврей спрятать уши под колпак доктора Оксфорда, ничего из этого не вышло: торчат!

Я заинтересованно читала текст не столько потому, что меня беспокоило положение Берлина или Наймана в Оксфорде, сколько потому, что он парадоксальным образом подсвечивал ситуацию в другом столичном привилегированном учебном заведении, а именно – на Высших сценарных курсах, где Найман учился вместе с Горенштейном. Тонкий текст, просочившийся сквозь зазоры слов и букв, сообщал мне о делах «давно минувших дней». То, как Найман видит «сэра» – это видение человека, так и не сумевшего освободиться от тяжелого гнета особого, «лестничного» мировосприятия. А что я подразумеваю под «лестничным» мировосприятием, попытаюсь сейчас объяснить. Мне, к сожалению, потребуется провести сугубо негативную работу для моей «ретроспективной» гипотезы.

В коротком эссе-воспоминании Наймана о Горенштейне «Отчужденный»<sup>87</sup>, эссе-некрологе, которое я также восприняла как исповедь, присутствует даже вполне конкретная лестница, по которой бегут вверх, обгоняя друг-друга, студенты курсов, будущие мастера кино. Судя по всему, это лестница общежития литературного института, в котором Высшие сценарные курсы арендовали комнаты для занятий<sup>88</sup>. По этой лестнице поднимаются вверх также Горенштейн и сам Найман. Ав-

тор фиксирует в тексте характерный момент, определенную перспективу: на лестнице он «позволяет» себе небольшое «развлечение» – обогнать Горенштейна, бросив ему сверху вниз: «привет». Остановимся на этом кадре.

Известно, что лестница – традиционный топос неравенства. Вспоминается теория, восходящая еще к Платону и Аристотелю и популяризированная в 18-м веке Шарлем Бонне – теория «лестницы существ». Все формы сущего, утверждает она, – от атома до Архангела – находятся в иерархическом, соподчиненном положении. Все сущее смотрит друг на друга или сверху вниз, или снизу вверх. Равенства нет как нет. Например, одуванчик смотрит на розу снизу вверх, а человек на ангела, само собой, тоже снизу вверх, а ангел на человека сверху вниз. Что же касается человеческих рас, то и они соответственно их «органической ткани» соподчинены. И так далее, до бесконечности. Эта лестничная теория искренне возмущала Гете. Однажды он сказал: «Я вообще не выношу такую лестницу существ, на ступенях которой расставляется духовность. Я склонен верить, что дороги духа проходят не друг над другом – они идут рядом друг с другом. В любом случае я уверен, что тому, кто вносит свой вклад в историю, вовсе не нужно завидовать месту другого»<sup>89</sup>.

Итак, два начинающих сценариста поднимаются по лестнице, и я как будто вижу их обоих: Горенштейна, болезненно худого, с лицом, как он писал о себе, покойницкого зеленовато-землистого оттенка, в рваных киевских ботинках и в пиджаке с чужого плеча, и Наймана – благополучного, нарядного, элегантного, рекомендованного авторитетными людьми, обгоняющего.

«Так или иначе, – пишет Найман, – я позволял себе небольшое развлечение: бросить, обгоняя его утром на лестнице, «привет» и наблюдать, как он преодолевает несколько секунд желание немедленно покончить со всем на свете, со всем человечеством и мирозданием, только чтобы никогда больше ничего подобного, возмутительного, невыносимого не слышать. Потом с отвращением – ко мне, к пустоте моего приветствия, *к скорости моего передвижения по этим ступенькам* (курсив мой – М. П.) и этому утру – он отвечал, картаво, со специальным презрительным агрессивным еврейским акцентом, почти выташнивал, «привет»<sup>90</sup>. Сотрясаемый в негодовании куст, готовый загореться и сгореть, лишь бы сжечь бессмысленно чиркающего колибри. Все говорили, что «у Фридриха ужасный характер» – характер, действительно, был, но до характера я всегда видел страсть, вот эту самую: выжечь из реальности никчемное, неточное, застрявшее по небрежности. Если не из



реальности, то по крайней мере из слов... В моих ларах и списках его имя занимает место среди тех нескольких, про которых, когда кто-то из них умирает, я с тоской думаю: почему я пропустил раз или два поговорить с ним так, чтобы его хорошенько послушать?»<sup>91</sup>. Текст звучит исповедально, как позднее раскаяние, особенно последние строки. «Я с тоской думаю: почему я пропустил раз или два поговорить с ним так, чтобы его хорошенько послушать?».

Текст этот, по моему, тоже очень хорошо написанный, – раскаяние человека, знающего о себе то, чего многие не знают. А знает Анатолий Найман о себе то, что участвовал в общем хоре травли Горенштейна, и, более того, относился к тому меньшинству, которое заявляло, что у автора «Дома с башенкой» таланта нет. Просто у автора хорошая память. Так говорил Найман по воспоминаниям Горенштейна. «Да, у меня хорошая память», – ответил Найману Горенштейн<sup>92</sup>. Оценки, подобные наймановской, быстро подхватывались другими. Наряду с политическим приговором в литературных кругах («рассказ «Дом с башенкой» написал фашист») они способствовали разрастанию того самого снежного кома отторжения, который привел в конечном счете к отчислению Горенштейна с курсов.

Образ лестницы Горенштейн использовал в одном из своих последних публицистических сочинений в описании «транзитного» пребывания в Вене, до переезда в Западный Берлин. Только здесь это была уже эмигрантская лестница. «Одна дама – дамы, дамы, кругом одни дамы – сказала: «Здесь вы не будете писателем» (я уже тогда написал «Место» и «Псалом» и прочие свои сочинения, которые лежали мертвым бумажным пыльным грузом в чемоданах, тогда как «наши писатели» сновали взад и вперед по черной венской лестнице и по всему миру. Уже тогда все было распределено: парочка гениев, с полдюжины больших талантов, ну, а среднего калибра не счесть)».

«Но вернусь к черной лестнице, – заключил он, – по которой эмиграция сновала. Конечно, дарвинизм, рога и копыта, но, скорее, не стадного, а стайного типа, потому что зубы показывают».

Помню, мы ехали в автобусе – (это было после того, как кот Крис, а это был крайне нервный кот, однажды набросился на Фридриха, и решено было, что Фридрих будет ночевать у нас), и говорили о многотрудной жизни в литературе. И вдруг он сказал:

- Я часто вел себя неправильно в жизни.
- Неужели? Как, например?

– А вот так: бывают случаи, когда лучше промолчать, уйти от разговора, не называть некоторых имен. Словом, быть дипломатичным... Вот, например, я плохо отозвался об одном из друзей Эткинда, когда он в последний раз у меня был, и Эткинд на меня обиделся. Надо будет это как-нибудь исправить»<sup>93</sup>.

– С этим трудно поспорить, Фридрих, – ответила я. Однако он тут же спохватился и сказал:

– Впрочем, знаете, я такой же эпатажный, как Пушкин, который тоже не был снобом. Сноб дорожит вкусами и манерами высшего общества. Пушкин эту моду и эти манеры знал и нарушал и в большом, и в малом<sup>94</sup>.

Французский культуролог Пьер Бордье в книге «Что значит говорить» рассматривает язык и речь как главное средство борьбы за «место среди живущих». Язык – символическое проявление власти, общение – борьба за превосходство. Умение говорить адекватно расстановке сил в той или иной речевой ситуации – признак социального здоровья, «знак качества». Собственно, этой теме посвящена пьеса Бернарда Шоу «Пигмалион».

«Вы слышали ужасное произношение этой уличной девочки? – спрашивает Хиггинс. – Из-за этого произношения она до конца своих дней обречена оставаться на дне общества. Так вот, сэр, дайте мне три месяца сроку, и я сделаю так, что эта девушка с успехом сойдет за герцогиню на любом посольском приеме. Мало того, она сможет поступить куда угодно в качестве горничной или продавщицы, а для этого, как известно, требуется еще большее совершенство речи. Именно такого рода услуги я оказываю нашим новоявленным миллионерам. А на заработанные деньги занимаюсь научной работой в области фонетики и немного – поэзией в мильтоновском вкусе».

Элиза Дулитл вошла в светское общество не благодаря образованию, талантам и другим подобным достоинствам, а благодаря приобретенным изящным манерам, одежде и отшлифованному произношению.

Бордье ввел интересное понятие «языкового габитуса», основанного на трех характеристиках – фонологическом, лексикологическом и синтаксическом индексах. Стилистика, а также манеры, жестикауляция определяют социальный статус говорящего. При этом сила индивидуального дискурса, его убедительность на рынке или поле боя языка зависит, по мнению Бордье, в первую очередь от произношения. Произношение – наиболее стойкий индикатор социального происхождения, оно же и есть та самая «одежка», по которой «встречают». Социально-психологические эксперименты Пьера Бордье показали, что наибольшее внимание произношению уделяет обыватель,

провинциал, человек, стремящийся скрыть свою сословную принадлежность.

Прочитав мемуары московских знакомых Горенштейна в журнале «Октябрь» (2002, 9), я была озадачена слаженностью коллектива и стойкостью дискурса о дурных «манерах» Горенштейна, которыми он когда-то поразил, ранил их, столичных, и особенно тех, кто учился с ним на Высших сценарных курсах.

Я подумала: «он умер, и все продолжается!» Говорят о нем больше, чем раньше, говорят сочувственно, с попыткой понять, как могут в одном человеке сочетаться противоположные качества, например «корявость» устной речи и высокая культура речи письменной.

Марк Розовский, который в свое время материально помогал Горенштейну, делился куском хлеба, также уделяет пристальное внимание формальным «странностям» его поведения. Продолжаются толки и пересуды, которые писатель воспринимал при жизни болезненно. Толки такого рода, разумеется, никому не возбраняются. Иной вопрос, из какого контекста они рождаются и какую несут смысловую нагрузку. Ведь суть не в наличии или отсутствии того или иного факта, но в гротескном выделении и типизации факта. Таково, к примеру, «русское пьянство» или, скажем, «еврейский нос». «Еврейский нос» – это явление не анатомическое. Это явление культуры. Часто подобные «типизации» и «стилизации» происходят неосознанно. Тем важнее указать на их источник. В случае с Горенштейном «любование» его «дурными манерами», без сомнения, питалось энергией антисемитской традиции. При этом, хочу подчеркнуть, что соучастниками этого «любования» были и есть не только русские, но и евреи. Почему бы и нет, ведь они тоже часть русско-советской культуры.

Фридрих был уверен, что подобные, не совсем безобидные характеристики, создавали определенное устойчивое мнение, распространявшееся по редакциям, книжным магазинам, а затем каким-то образом оседали и в органах КГБ. Об этом Горенштейн неоднократно писал в своих публицистических работах. Об этом он говорил и мне.

Петр Андреевич Вяземский написал в «Записных книжках»:

«Знаете ли вы Вяземского? – спросил кто-то у графа Головина. – Знаю! Он одевается странно». – Поди после, гонись за славой! Будь питомцем Карамзина, другом Жуковского и других ему подобных, пиши стихи, из которых некоторые, по словам Жуковского, могут называться образцовыми, а тебя будут

знать в обществе по какому-нибудь пестрому жилету или широким панталонам».

В известном романе Василия Аксенова «Скажи изюм» (в подзаголовке: «Роман в московских традициях»), в котором легко угадывается реальная история литературного альманаха «Метрополь», среди участников фотоальбома «Скажи изюм» назван мастер Цукер, прототипом которого является Фридрих Горенштейн. (Характерная реминисценция. Вспомним, как по словам Свободина, в кругу кинематографистов говорили о Горенштейне: «Пойдите к Фридриху, у него рука мастера».) Аксенов живописал мастера Цукера, опять же, фиксируя внимание читателя на его «манерах», одежде и других деталях, выдающих провинциала: «Оживление внес лишь мастер Цукер, пришедший вслед за иностранцами. Он снял богатое тяжелое пальто, построенное еще его отцом в период первых послевоенных пятилеток, и оказался без брюк. Пиджак и галстук присутствовали, левая рука была при часах, правая при массивном перстне с колумбийским рубином, а вот ноги мастера Цукера оказались обтянутыми шерстяными кальсонами. Смутившись поначалу, он затем начал всем объяснять, что в спешке забыл сменить на костюмные брюки вот эти «тренировочные штаны». Чтобы ни у кого сомнений на этот счет не оставалось, мастер Цукер сел в самом центре и небрежно завалил ногу за ногу. Вот видите, говорила его поза, мастер Цукер вовсе не смущен, а раз он не смущен, то, значит, он вовсе и не без брюк пришел на собрание, а просто в «тренировочных штанах».

В дружном хоре голосов из «Октября» текст Бориса Хазанова резко выделяется. Он говорит на страницах литературного журнала не о жилете и панталонах писателя, но, в первую очередь, о его творчестве как значительном явлении в литературе. Я знакома с Хазановым и мне понятна его позиция, позиция, говорящая о личной внутренней свободе.

Для иных, однако, существеннее «поведенческая» характеристика, акцент. На каких только наречиях с какими только акцентами не объяснялась советская многонациональная литература! Многонациональность была даже предметом гордости. Но в случае Горенштейна «акцент» несет негативную идеологическую функцию: «нарочитый акцент дядюшки из Бердичева», «агрессивно-еврейский акцент». Писатель якобы похож на «стареющего бердичевского парикмахера». «Далекая и глухая местечковость его поведения в быту была известна всем», — заявляет тетральный режиссер Леонид Хейфец.

Хейфец делал в свое время все, чтобы представить Горенштейна «плохим человеком». Думается, дело тут не в исключительной строгости личных хейфецовских моральных критериев.

Горенштейн писал: «Плохой человек в советской системе – понятие идеологическое»<sup>95</sup>. В эссе «Сто значит?» Горенштейн не случайно уделил персональное внимание Хейфецу, как бы предчувствуя, что он под видом «друга» посмертно напишет о нем пасквиль (я имею в виду «мемуар» с безобразными пассажами в журнале «Октябрь»). «На дуэль я Л. Хейфеца за распространение порочащих слухов вызывать не собираюсь. У Набокова: «Вы недугеспособны. Вас уже убили»<sup>96</sup>.

«Я не говорил, – «человек плохой». Я говорил, – «человек с плохим характером», – так сказал театральный режиссер Л. Хейфец, числившийся в «друзьях», тех самых, про которых говорят, что при таких друзьях враги излишни... Кстати, Л. Хейфец был «гонимым». Но «официально гонимым». Это значит, что, несмотря на «гонимость», вместе с другими людьми с «хорошими характерами» имел хорошие квартиры и хорошие зарплаты»<sup>97</sup>.

Между тем, столичные представители искусства, прежде всего, советского искусства, в силу сложившейся исторической ситуации, как правило, происходили из провинции. Что же касается евреев, то их это касается в первую очередь. (Черта оседлости существовала вплоть до революции, стало быть до 60-х годов и одного поколения не наберется. Приведу пример из истории великой русской культуры. Художнику Льву Баксту, прославившему Россию на дягилевских салонах в Париже, не разрешили жить в Петербурге.) Языковые манеры доставались нелегко. А некоторым, хорошо отдающим себе отчет в том, что произношение, наиболее стойкий индикатор социального происхождения, и что эта та самая «одежка», по которой встречают, приходилось либо перед зеркалом ставить свое произношение, либо искать помощи у мистера Хиггинса.

Хиггинс (идет за Пикерингом и становится рядом, с левой стороны). Устали слушать звуки?

Пикеринг. Да. Это требует страшного напряжения. До сих пор я гордился, что могу отчетливо воспроизвести двадцать четыре различных гласных; но ваши сто тридцать меня совершенно уничтожили. Я не в состоянии уловить никакой разницы между многими из них.

Хиггинс (со смехом отходит к роялю и набивает рот конфетами). Ну, это дело практики. Сначала разница как будто незаметна; но вслушайтесь хорошенько, и вы убедитесь, что все они так же различны, как А и Б.

Столичность и провинциальность – известное дело, понятия относительные. Вот и Найман отмечает в книге «Сэр», что Исайя Берлин родился в Риге – «провинциальной относительно Петербурга и Москвы». Однажды Анатолий Найман заговорил с Исайей Берлиным об истэблишменте, то есть о той части общества, через которую «основная» часть общества устанавливает «свои критерии и ценности, принимает и отвергает и тем самым диктует поведение». Найман спросил у Берлина: «Вам не кажется, что Бродского, как фигуру, сделавшую независимость главным принципом своей жизни, истэблишмент включил в допускаемое число анфан-терриблей и в таком качестве переварил и усвоил?» Для Исайи это понятие отнюдь не было единым и однородным: «Какой истэблишмент? Не в Англии».

– Ну, американский. Истэблишмент как таковой.

Он не понимал, каков он «как таковой», потому что такого не было. Американский – был.

– Я не знаю, какое там создано положение. Я думаю, да. Вероятно. В Америке нет чудачков, понимаете? Все чудачки. Там нетрудно. Там не нужно быть *conformed*, конформистом, там всякое возможно.

– А в Англии?..

– В Англии он просто не был, не жил, в Англии его мало знали, так что он не был тут персонажем. Только для каких-то других поэтов.

Собеседник не принимал моего тезиса, потому что тезис был схемой, а схема – тоталитарной... При советской власти по причине намеренного смешивания всего со всем, после нее – из-за смешивания, уже привычного и удобного, никто не рискнул бы сказать определенно, что относится к государству, что к обществу: первое распоряжается жизнью общества откровенно, второе норовит распорядиться государством, не объявляя об этом. Этот конгломерат и есть наше представление об истэблишменте...»

Горенштейн отказался овладеть стилем «истэблишмента», отказался поступить «как надо». Его отказ переменить стиль, воспринимаемый обычно как «провинциализм», «неотесанность» – особая позиция, форма социального протеста. «Вообще, большинство моих жизненных проблем, – писал он, – создано было не партийной властью, а интеллигенцией, ее безразличием, пренебрежением, а то и враждой. Что такое партийная власть? Слепой Молох. А интеллигенция<sup>98</sup> – существо сознательное, зрит в оба, занимаясь искусственным отбором... Итак, я приехал из Киева и с верой воспринимал рекомендации и поучения высоколобых московских умников, штудировав даже такие рекомендованные ими книги, как Вайнингера: «Он

антисемит, но надо быть объективным: книга имеет большое культурно-общественное значение. Глубокая эротическая философия...»

Очень скоро я понял тщеславную болезненность высоколобых, требовавших субординации и чиновочитания. Да и поучения начали казаться мне не столь глубоко убеждающими. Поэтому я отошел от них. Не называю никого конкретно, ведь речь идет не о людях, хоть были и люди, а об атмосфере: «наш – не наш».

Более того, отпущен с отрицательной характеристикой: «плохой человек», «тяжелый человек». Эта характеристика сохранилась за мной по сей день....

Эта характеристика либерально-прогрессивного истеблишмента, наряду с цензурой, а, может, еще более цензуры, способствовала семнадцатилетней могильной неподвижности моей прозы и пьес, также сценариев, если только за сценариями не стояли влиятельные кинорежиссеры»<sup>99</sup>. «Есть писатели «в законе». Я же всегда был писатель незаконный, что-то вроде сектанта-архаиста»<sup>100</sup>.

Горенштейн отошел «без почтения», занял независимую позицию. Более того, написал пьесу с вызывающим названием «Бердичев».

А в романе «Попутчики» так и вовсе написал: «Бердичев – это историческая родина российского еврейства и всех нас, даже старых выкрестов-петербуржцев подозревают в связи с ней. Но только ли российское еврейство подозревают? Я слышал, что в напряженном 1967 году советско-сталинский представитель в ООН товарищ господин Малик крикнул представителю Израиля:

– Здесь вам не бердичевский базар!

Понятно, когда они оскорбляют Тель-Авив или Вашингтон, или, в зависимости от политических потребностей, Париж, Стокгольм, Рим, Берлин. Но в данном случае оскорбляют город, находящийся на собственной территории, превращают его в нечто международное и сами не стесняются выступать в качестве некоей международной междидеологической силы.

Бердичев – город призрак, город, рассеянный по стране и по миру, город, жителями которого являются люди, нога которых не касалась бердичевских улиц: московский профессор, нью-йоркский адвокат, парижский художник».

В некрологе Фридриху Горенштейну Игорь Полянский написал о принципиальной невозможности и нежелании Горенштейна лавировать в системе изощренной мимикрии:

«Послесталинская субкультура требовала от работников искусства более изощренной мимикрии, чем сталинский режим.

Лагерный опыт создал новый, в отличие от сталинского, существенно советский тип творческой интеллигенции, умело лавировавшей в узком пространстве неоромантического социализма на грани элитарности и пролетарности, имитируя либеральное общество и свободный художественный процесс. Кино, литература, театр стали наиболее коррумпированными зонами советского общества. Эти иерархические структуры литературно-художественного полусвета не только диктовали особый стиль в искусстве, но предписывали определенный стиль жизни и мышления тем, кто претендовал на привилегированное «место среди живущих» на духовном фронте. Ни в литературе, ни в жизни Горенштейн этим требованиям не отвечал»<sup>101</sup>.



Анатолий Найман и Владимир Гандельсман



## 7. БЕРЛИНСКИЕ РЕАЛИИ

---

Фридрих Горенштейн прибыл в Западный Берлин с женой и пятимесячным сыном 24 декабря 1980 года. В корзинке при нем была любимая кошка Кристина, которая жалобно мяукала в аэропорту Тегель, перепуганная длительным перелетом. Он рассказывал потом, что к ним подошла знаменитая супружеская пара – Галина Вишневская и Ростислав Растропович. Они попросили разрешения погладить кошку, но Горенштейн ответил отказом. «Вас уже ждут», – сказал Растропович несговорчивому соотечественнику и указал на человека высокого роста, державшего в руках плакат, на котором крупными буквами выведено: «Горенштейн». Так встретила Немецкая академическая служба своего стипендиата. Семью отвезли на квартиру, находившуюся в ведомстве Академии искусств по адресу Иоганн-Георгштрассе, 15. Квартира располагалась на последнем этаже и показалась такой огромной, что подумалось по российской привычке, не коммуналка ли это. Но сомнений никаких не могло быть – огромная меблированная трехкомнатная квартира предназначалась исключительно для семьи Горенштейна. В честь приезда купили бутылку настоящего дорогого шампанского и распили ее.

Однако трудности ожидали Горенштейна с самого начала, поскольку Германия еще довольно долго публиковать его не будет, а стипендия Академии искусств была рассчитана всего лишь на год.

Горенштейн рассказывал, как трудно ему было получить вид на жительство. Влиятельная еврейская община Берлина, в которую он обратился, отказалась ему помочь, и в конце концов только хлопотами все той же Академии искусств ему удалось получить бессрочную визу.

Впоследствии, когда немецкие издательства стали публиковать романы Горенштейна один за другим, он так и не вступил в еврейскую общину, хотя к нему оттуда присылали ходок. Он рассказывал, что часто встречал председателя общины Хайнца Галинского в одном продовольственном магазине – по-

видимому он жил неподалеку. Галинский подолгу и грустно смотрел на Горенштейна, так что писателю становилось неловко от этого взгляда, полного запоздалого раскаяния. По-видимому, Галинского, этого яркого, личностного и даже романтического человека, бывшего узника концлагеря и активного участника в немецкой политической жизни, прочитавшего книги Горенштейна в немецком переводе, мучила совесть. Он раскаивался теперь, что «просмотрел» этого пришельца-просителя, искавшего для себя места, не уделил внимания автору романа «Псалом» о библейских пророках, красота которого выстроена по модели Пятикнижия, а также автору многих других книг о трагедии еврейского народа. Даже после смерти Хайнца Галинского Горенштейна преследовал его взгляд. Горенштейн больше не сердился на этого человека с утонченным красивым лицом еврейского мыслителя, резко отличавшегося от последующих двух руководителей общины, чужих и чуждых людей, напоминавших менеджеров или даже мелких лавочников.

Надо отдать, однако, должное последнему руководителю общины, бывшему послу ФРГ, Александру Бреннеру, хорошо знакомому с творчеством Горенштейна. С Бреннером Фридрих был в хороших отношениях, но с остальными руководителями общины, за редкими исключениями, избегал общаться. Особенно он не любил одного члена президиума общины, впрочем, не как функционера, а как своего читателя вслух. Дело в том, что член еврейского президиума был к тому же еще и поэтом, псалмописцем, и проповедовал, что поэт должен быть, прежде всего, актером. На своих поэтических чтениях он появлялся неизменно особо костюмирован: весь в белом или, наоборот, весь в черном, и сообщал публике: «Поскольку важен только мой поэтический голос, — я оделся сегодня во все черное, чтобы как можно меньше было видно меня, а слышен был Голос».

Как-то в одном частном берлинском литературном салоне, где обычно проходили чтения современной прозы и поэзии на немецком языке, состоялось чтение «Бердичева» в лицах. Вообще-то, оно прошло удачно. Фридриху нравилось, что его пьеса и в переводе передавала бердичевский колорит, и что публика весь вечер хохотала и аплодировала. Но вот один из актеров, а именно упомянутый поэт, игравший Сумера, писателя раздражал. Сумер в пьесе — это бердичевский Спиноза, тихий, ироничный, не выносящий шума. Поэт же, напротив, звонко и бодро выкрикивал свою роль, и Горенштейн чувствовал себя уязвленным от такого искажения образа.

В июле 1982 года, когда кончился срок проживания в «академических апартаментах», семья поселилась в небольшой

скромной трехкомнатной квартире в самом центре Западного Берлина на Эксиспештрассе. Здесь Горенштейн прожил 20 лет, сначала с семьей, затем, после развода с женой, один до конца жизни.

Горенштейн не без гордости говорил, что живет в «эпицентре» русского Берлина двадцатых годов. Улица, на которой жил Горенштейн, застраивалась, в основном, в начале века, когда Берлин, как и многие другие европейские города, переживал подъем строительства, что отразилось в напряженной борьбе архитектурных стилей – эклектики, ретроспективизма и модерна. Так же хаотично была тогда застроена и Эксиспештрассе. Выглядела она весьма нарядной и фешенебельной.

К сожалению, многие ее здания были разрушены во время массированных налетов авиации союзников в 1944 году, поскольку неподалеку располагались многочисленные административные учреждения национал-социалистов, в том числе и «SS». В конце 1950-х и в начале 1960-х она была восстановлена, но теперь уже застроена аккуратными крупнопанельными зданиями, комфортабельными, однако лишенными архитектурной индивидуальности. Впрочем, новая застройка не лишила ее колорита – несколько зданий стиля «модерн» на ней сохранилось.

Эксиспештрассе, как, впрочем, и прилегающие к ней улицы, оказалась наполненной литературными ассоциациями. Горенштейн жил в двух шагах от дома, где Э. М. Ремарк в 1929 году, незадолго до эмиграции, написал «На Западном фронте без перемен». И уже совсем рядом, в двух шагах, в 1921 году поселилась семья Набоковых и жила здесь вплоть до рокового дня, когда Владимир Дмитриевич, отец писателя, был убит в зале Берлинской филармонии 28 марта 1922 года. В предисловии к моей книге «Брак мой тайный» Горенштейн писал:

«Рядом с моим домом на Эксиспештрассе стоит современное здание, на месте которого в 20-х годах был другой дом, разрушенный войной, где в 1922 жила семья Набоковых – доски нет.

Доска Набокову установлена на доме, где писатель жил до отъезда во Францию в 1937 году, на Несторштрассе, но и ее установили не городские власти, а хозяин ресторана-галереи, узнав, что выше этажом жил автор «Лолиты», которую он не читал, однако смотрел американский фильм.

Памятную доску Марине Цветаевой также установили не городские власти, а студенты-слависты Берлинского университета, собравшие на эту доску деньги – в складчину. О том, кстати, и облик доски свидетельствует, так же, как и у Набокова.

Это не тяжелая, солидная мемориальная доска, а латунная тонкая дощечка, чуть побольше тех, которые вывешивают на дверях квартир с именами проживающих жильцов: «Профессор такой-то», «Зубной врач такой-то». На такие таблички напращивается надпись не «жил» или «жила», а «живет» или «проживает»<sup>102</sup>.

Об открытии мемориальной доски Цветаевой Горенштейну сообщил ныне уже покойный профессор-славист Свободного университета Берлина Зеeman. Горенштейн тут же позвонил нам. Среди присутствующих кроме нас были только немцы. Да и тех было мало. А русской публики вообще не было. Доска была очень скромная. Районные власти отклонили просьбу о доплате всего лишь 600 марок для установлении бронзовой доски, и Горенштейн воспринял этот жест как оскорбление писательской чести. Судьба Марины Цветаевой, по выражению Горенштейна, «со всех сторон затравленной», всегда волновала его. «Где бы она ни находилась, – говорил он, – за границей ли, в России ли, везде ее топтали «мнимые друзья». Он еще написал в предисловии:

«Как-то случился у меня разговор с дочерью некоего известного советского писателя, художницей, которая еще меня рисовала. Разговор был о том, почему Цветаева во время войны в Елабуге просилась посудомойкой в писательскую столовую. Дочь писателя раздраженно заметила, что со стороны Цветаевой это был скорее всего эпатаж.

Думаю, что, устраиваясь в столовую, Цветаева рассчитывала на остатки продуктов каши и других, которые, по военным меркам, щедро получали известные писатели. Но ситуация действительно эпатажная: писатели разных сортов и калибров ели бы, а Марина Цветаева мыла бы за ними тарелки. Может быть, из тарелок в свой котелок остатки каши и прочие продукты складывала бы для своего сына. Эпатажная и страшная картина. Гордая женщина, королева!

Андрей Платонов, кстати, попал в тяжелую ситуацию: где-то в начале пятидесятых просился дворником в Литинститут. Тоже явный эпатаж. Писатели разных сортов и калибров заседали бы, а Андрей Платонов подметал бы двор, чтобы не запахались писательские ноги. Вот и Мандельштам мог бы работать швейцаром в Доме литераторов, в его знаменитом ресторане: тоже эпатаж – подавать шубы и пальто их величествам, их сиятельствам или просто рядовым, но входящим и признанным сочинителям. Чувство униженной королевской гордости, давно зревшее в Марине Цветаевой, завершилось самоубийством».

Дом, где Цветаева жила два месяца, – пансион Элизабет Шмидт – в воспоминаниях современников часто назывался «Русским домом в Вильмерсдорфе». В основном в нем селились русские эмигранты. Здесь одно время (1922) жил Илья Эренбург. В 1924 году в этом доме жил оставшийся в Берлине один Владимир Набоков<sup>103</sup>.

«Набоковский Берлин давно миновал, – писал Горенштейн в повести «Последнее лето на Волге», – но какая-то устойчивость, какая-то неистребимость духа чувствуется во всем, может быть потому, что здесь дух заменяет душу. Точнее, здесь господствует то самое скрытое единство живой души и тупого вещества, о котором говорили символисты».

В памфлете «Товарищу Маца» Горенштейн говорит о своем собственном отношении к Берлину:

«Причина моего предпочтения Берлину проста и схематична: при всех моих проблемах и трудностях мне здесь лучше. С тех пор, как в 1935 году «учреждение» конфисковало киевский родительский дом, новую квартиру в Берлине я получил сорок шесть лет спустя. Вот почему сознательно и меркантильно я предпочитаю Берлин. Предпочитал, а теперь, после стольких лет жизни, также и полюбил. Но полюбил иной, чем Москву, любовью. Не любовью бродяги-идеалиста, любующегося воробьями на Тверском бульваре, а любовью обывателя-собственника. Собственность моя, правда невелика, но все-таки имею десять пар хорошей обуви и четыре английских пиджака».

Квартира у Горенштейна была трехкомнатная, на четвертом этаже. Дом с лифтом, который постоянно ломался, потому что ниже этажом, как говорил писатель, жили дети из каких-то очень южных стран и постоянно на нем катались. Слева от входной двери в самом начале длинного и узкого коридора располагалась небольшая комната, служившая одновременно и кабинетом, и библиотекой, и спальней; следующая дверь вела в такую же маленькую комнату, которая была когда-то детской сына Дани и, наконец, третья дверь слева была распахнута в такую же маленькую кухню. Там у окна красовались в вазах и корзинках разнообразные натюрморты из овощей и фруктов: выложенные затейливыми орнаментами апельсины, бананы, огурцы и помидоры.

К помидорам он испытывал особое уважение. Помидоры он покупал исключительно одесские в русском магазине на Литценбургерштрассе. И даже способствовал распространению одесского помидора в Германии. Рядом с домом находился небольшой «базарчик», работавший по средам и субботам, кото-

рый Фридрих непременно посещал. Однажды он подошел к одной колоритной продавщице «немецких» овощей и подарил ей одесский помидор «на семена». Зеленщица понравилась Горенштейну: она была настоящая (подлинная), типичная рыночная зеленщица, как будто бы сошедшая с картин «малых голландцев» – довольно еще молодая, лет тридцати пяти, краснощекая, упитанная, она одновременно и вписывалась в рыночную «панораму» и в то же время выделялась своей живописностью и полнотой жизни. На следующий год продавщица появилась уже с целым урожаем и обещала даже вывести в следующем, 2002 году новый сорт под названием «Фридрих». Писатель был от этой идеи в восторге. Была же «бабочка Набокова», говорил он. Однако ему не довелось больше встретиться с приветливой зеленщицей. И я не знаю, назвала ли она помидоры «Фридрих», и догадалась ли, почему не появился больше ни разу ее общительный покупатель, столь хлопочущий из-за больших красных помидоров?

Вернусь все же к описанию обстановки квартиры Горенштейна в надежде, что оно понадобится потомству.

Коридор заканчивался гостиной, где у входа справа стоял стол с четырьмя табуретками. Дальше справа у стены возникал неожиданно помпезный ореховый комод со множеством ящичков, которыми писатель очень гордился, время от времени открывая их поочередно, показывая картотеку своих изданий или же доставая лекарства для кота Криса. Рядом стояли большой темнокрасного бархата диван и журнальный стол со стеклянной крышкой, а на нем – газеты и журналы на русском и немецком. По обеим сторонам громоздились кресла, обитые таким же бархатом. Совершенно неожиданно в этой барочной обстановке смотрелся сервант стиля, который мы, выходцы из России, назвали бы «ждановским». В этом серванте хранились предметы разных «жанров» – от рюмок почему-то с изображением Богдана Хмельницкого – до фрака кинооператора «Броненосца Потемкина». В этом фраке оператор получал «Оскара». Горенштейн время от времени примерял его и сокрушался, что он ему мал. К концу жизни Фридрих настолько похудел, что фрак стал велик.

Горенштейн жил на небольшую пенсию, половина которой уходила на квартплату, но любил дорогие хорошие вещи и особенно гордился новым холодильником черного цвета. Он так красочно расписал его Симону Маркишу, что тот заявил: «Лучшей рекламы черным холодильникам я не слышал». Однажды Горенштейн буквально выпросил у одного радиолобителя – его звали Андрошавили Владимир Георгиевич – радиоприемник в стиле «ретро». После чего приемник был водружен в самый

центр стола, и когда мы приходили к Фридриху и в очередной раз восхищались приемником, он не скрывал удовольствия.

Беспокойство доставляла ему электрическая плита. У Горенштейна безусловно, как и у многих из нас (вспомним мандельштамовское: «я люблю буржуазный европейский комфорт не только физически, но и сентиментально»), была склонность к удобным порождениям цивилизации. И дело даже не в том, что плита была старая и плохо работала. Ему не нравилось, что в Западном Берлине ему установили почему-то югославскую, непрезентабельную, одним словом, «нефирменную» плиту. Он даже написал по этому поводу заявление в домоуправление (на русском языке и попросил Игоря перевести). У меня это письмо в «фервальтунг» сохранилось:

*«Уважаемая фрау Штоф.*

*В свое время, лет 15-16 назад, Hausverwaltung заменил мне порченную кухонную электроплиту на новую. Но и эта новая, югославская плита оказалась неудачной: плохо работала, а со временем все хуже и хуже. В конце концов одна из ее горелок вообще вышла из строя.*

*Я обратился по этому поводу в Uniwersa, и электрик Uniwersa обо всем этом составил акт. Но через некоторое время пришел другой представитель Uniwersa и начал меня выспрашивать, не купил ли я порченную югославскую плиту на свои деньги. Это нелепость, чтобы не сказать больше.*

*Прошло еще два месяца с тех самых пор, как я обратился в Verwaltung, а порченная югославская плита по-прежнему не заменена. Я, как иные граждане, имею право на нормальную плиту и хочу, чтобы это мое право было восстановлено.*

*С уважением Фридрих Горенштейн».*

А еще в квартире Горенштейна слева в углу гостиной стоял жизненно важный «персонаж» – большой солидный телевизор, необходимый для существования писателя. Горенштейн был политиком самого высокого накала и, слушая политические новости, гневно кричал и грозил кому-то в экран, ругался с телевизором, словом, вел себя, как болельщик на футбольном матче. Спустя десять дней после похорон Горенштейна поэтесса Светлана Арро посвятила ему стихотворение<sup>104</sup>, из которого процитирую несколько строк:

*Жесткий скептик и злой ругатель,  
не проситель и не податель,  
гениальный изгой, писатель  
Горенштейн, нечестивец, пророк,*

*Этот мир невзначай покинул.  
Не исчез, не пропал, не сгинул.  
Не надейтесь те, кого кинул,  
прогулявшие этот урок.*

По убеждению Горенштейна мир мельчал, мельчали и политики – времена личностных, ярких, талантливых государственных деятелей, таких, как Рузвельт и Черчилль, давно ушли и, наоборот, пришло время Клинтона – «пантофельного мужчины в белом доме»<sup>105</sup> с опереточными пошлыми сюжетами личной биографии, которыми забавлялся весь мир.

Я знаю только одного русского литератора (не считая, конечно, Герцена, который все же, в первую очередь, публицист), так лично воспринимавшего политические события – это был поэт Федор Тютчев. Непонятно, каким образом Иосиф Бродский определил Тютчева в своих беседах с Соломоном Волковым как верноподданнейшего из поэтов.

Тютчев был страстным политиком. Так, например, семья боялась сообщить Тютчеву о поражении России в Крымской войне, опасаясь наихудших последствий, вплоть до удара. Наконец, они вынуждены были ему сказать, что Россия потерпела поражение и осталась без Черного моря. И тогда Тютчев заплакал.

Затем Федор Тютчев посвятил виновнику военной катастрофы императору Николаю I, бывшему своему кумиру, стихи для русской поэзии беспрецедентные<sup>106</sup>.

*Не Богу ты служил, и не России  
Служил лишь суете своей.  
И все дела твои, и добрые, и злые,  
Все было ложь в тебе, все призраки пустые,  
Ты был не царь, а лицедей.*

Тютчев сожалел, что не может одолжить бездарным политикам своего ума. Он был уверен: когда наступит конец света, то найдутся люди, которого этого не заметят. И готов был биться об заклад. Горенштейну известны были знаменитые тютчевские остроты (он читал «Тютчевяну. Эпиграммы и остроты Тютчева») и особенно любил одну из них: «Русская история до Петра I – сплошная панихида, а после Петра I – сплошное уголовное дело». Эти тютчевские строки Горенштейн сделал одним из эпиграфов к роману «Веровочная книга».



В письмах Ларисе Щиголь Горенштейн постоянно говорит о политике, о терроризме. История их знакомства-незнакомства примечательна. Они так никогда и не познакомились лично, однако же между ними несколько лет продолжалась оживленная переписка. И вот уже совсем романый сюжет. Однажды Горенштейн приезжал с чтениями в Мюнхен. Лариса находилась в зале, но почему-то не подошла к нему, и личное знакомство не состоялось. Незадолго до смерти Фридриха Лариса позвонила мне и спросила не нужна ли ее помощь. Я ответила, что в больнице, слава Богу, налажен хороший уход, и только спустя некоторое время поняла, что Лариса просто хотела с Фридрихом повидаться и проститься. Сожалею, что не пригласила ее тогда в Берлин, и произошло, таким образом, еще одно «никогда». Лариса Щиголь недавно опубликовала в «Знамени» свои стихи, на мой взгляд, очень хорошие. Одно из них, написанное 19 июня 2002 года (после смерти Фридриха) я предлагаю читателям:

*Всё-то тянет нас, беспечных,  
В тёмный лес сюжетов вечных –  
И противиться не мне.  
Из страны оборонённой  
Едет ратник приклонённый  
Этим лесом на коне.*

*Бился он за страх и совесть,  
И его сраженья повесть  
Приумножится в веках.  
Змей сдыхает, побеждённый,  
Ратник едет, измождённый,  
Месяц едет в облаках.*

*Ох и тяжек подвиг ратный,  
Ох и долог путь возвратный –  
Конь впадает в хромоту.  
Кровь течёт на круп и сбрую  
И на землю на сырую,  
На сырую, да не ту.*

*Забывай меня, голубка,  
За соболю, – болью шубку,  
За яичко Фаберже.  
Тихо звякает уздечка.  
Прощевай, моё сердечко –  
Не увидимся уже.*

Но вернусь все же к «политическим» письмам Фридриха Ларисе. 13 августа 1999 года Фридрих писал о своем недовольстве политикой Израиля:

«Вообще Израиль – страна, которую я поддерживаю извне, как еврейское государство, а изнутри она мне чужда. А после того, как они заменили умного Натаньягу на Барака, не хочу о них даже думать. У меня, кстати, там ни строчки не переведено. Это американская колония, и поскольку Натаньягу хоть как-то хотел от этого избавиться, саксофонист Клинтон, который лгал на Библии, его постарался убрать – при поддержке полукommунистической израильской прессы».

В другом письме он сообщает ей: «Написал несколько статей о НАТО и Ельцине (...) Кстати, после публикации моей антинатовской статьи там (в Киеве – М.П.) всполошились. Другую статью на украинский перевели, но в «Днепре» – из-за главного редактора – не взяли. И некто выразился: «Этот Горенштейн – скандальная персона». Думаю, какой-нибудь консультант из тарасбульбовских Янкелей»<sup>107</sup>.

Горенштейн негативно отнесся к киевскому журналу «Егупец», спонсируемого «Джойнтом». Он считал, что журнал лишен принципиальной позиции и заигрывает с украинскими националистами. Он хотел было даже выбросить журналы, привезенные ему режиссером Аркадием Яхнисом, но мы отняли их у него для ознакомления, после чего он потребовал «вынести» их из его квартиры.

В последние годы писатель пережил полное разочарование западной демократией, называя ее лживой, а конец тысячелетия считал «мутным временем». Псевдodemократически настроенную публику он называл «милые друзья», используя мо-пассановский образ «милого друга», символ всечеловеческой пошлости. Фридрих писал однажды Ольге Юргенс: «Хуже, что время мутное. Работу над книгой только начал, и она идет пока не слишком быстро. Отвлёкся и написал несколько публицистических эссе по Косово и НАТО. Одно в отрывке уже опубликовано в «Общей газете» за 29 апреля, в Москве полностью будет в «Октябре» №6 и в «Днепре» по-украински. Тут антинатовские статьи не публикуют. Газеты, которые восхваляли мои книги, мои антинатовские эссе не хотят публиковать. В общем, я попробовал раз-два и понял, какова у них «свобода слова» в политике». Хотя это для меня не открытие. Ну и прочая муть. Прочие проблемы. Но живу и надеюсь на себя и Бога»<sup>108</sup>.

## 8. В ЗЕРКАЛЕ ЗАГАДОК

---

– Годы гаснут, мой друг, и овидиевские «розы Пестума отцвели», – говорил берлинец Сирий, оглядываясь на годы, проведенные в немецкой столице. Как известно, Набоков прожил в Берлине пятнадцать лет<sup>109</sup>. Судьба связала Горенштейна с Берлином на еще более долгий срок – он прожил здесь двадцать два года, здесь же и похоронен. Пора и мне «просмотреть древние снимочки».

На одном из таких «снимочков» мы стоим с Фридрихом напротив его дома на Зексисштрассе у театральной тумбы с афишами. И можно даже разобрать «ключья репертуара на афишном столбе»<sup>110</sup> – имена гастролирующих – Susanne Kirchner, например, или же Jo Fabian, или же Reso Gabriadse. Возле «Резо Габриадзе» можно прочесть «Санкт-Петербург», а дальше непонятно... Время же выступления четко прочитывается: 20 октября в 20 часов. Время, долгий свет которого доходит до меня сейчас, тревожит меня, как будто миг, оставшийся в прошлом, желает продлиться. Я помню, что это было осенью, и день был бессолнечный, неприветливый, каких много бывает в берлинских серых буднях.

Сентябрьским пасмурным днем 1997 года Фридрих Горенштейн кладет мне руку на плечо. «Ангел творчества коснулся меня своим крылом», – говорю я. Так и запечатлел нас фотограф. «Фотография, трогательная до слез, – писала мне Марина Палей, – если не сказать душераздирающая. Старомодность черно-белого изображения, и, главное, редкого человеческого тепла – дарят чувство уюта, какой-то защищенности, как в детстве... Буду зимой греться возле нее, как возле печки».

Будучи литературным редактором «Зеркала Загадок»<sup>111</sup>, берлинского русскоязычного журнала, я пригласила фотографа Иосифа Малкиеля сделать снимки для нашего специального горенштейновского выпуска. Мы напечатали тогда его памфлет «Товарищу Маца – литературоведу и человеку, а также его потомкам» с подзаголовком «Памфлет-диссертация с личными этюдами и мемуарными размышлениями», текст впус-



**Горенштейн и  
Полянская  
на парходной  
прогулке по Шпрее**



**В гостях у Горенштейна - ленинградский писатель  
А.Мелихов и Мина Полянская**



**Главный редактор журнала «Зеркало  
загадок» Игорь Полянский с  
литературным редактором, мамой  
Миной Полянской**



**Около театральной тумбы напротив дома Горенштейна  
на Эксиштрассе**

ледствии на шумевший, поскольку, как многие говорили, писатель в нем «сводил счеты» со своими литературными врагами. Врагами такого сорта, которые, по словам Горенштейна, после его признания на Западе «примазывались» к нему.

Человек со странной фамилией «Маца» – литературовед, реально существовавший в «каменном веке пишущих машин «Ундервуд» и двукрылых аэропланов», подвергшийся в 1931 году «литературно-политическому» разбою со стороны «замечательных литературоведов-извращенцев», «эрудированных доносителей, принципиальных дробителей черепов». В условиях классовой борьбы (!) он был обвинен в великодержавном шовинизме. Когда Горенштейн писал свой памфлет-диссертацию, он полагал, что товарища Маца давно уже нет в живых. Каково же было его удивление, когда Е. Эткинд сообщил, что «глубокий старик» жив и проживает в квартире того самого дома у метро «Аэропортовская» и именно в том самом втором подъезде, несколькими жильцам которого писатель бросает вызов в конце памфлета: «А стреляться хотите – что ж, выходи, «Некто», мосье Дантес второго подъезда, квартиры не помню, писательский дом у метро «Аэропортовская». Будем стреляться. На газовых пистолетах. Пусть вместо крови текут слезы».

С Горенштейном меня познакомила сотрудница клуба «Диалог» Российского дома культуры Лариса Макеева, которая понимала, как важно было для «Зеркала Загадок» получить в качестве автора, по сути дела, живого классика. Это было вскоре после его развода, в 1995 году. Писатель встретил меня с мужем и сыном доброжелательно, и показался нам даже покладистым, хотя нас предупреждали, что он – угрюмый человек, который всегда ругает литературных коллег. Очень похожий писательский образ находим мы в книге «Курсив мой» Нины Берберовой. Иван Бунин также любил поругать современников-литераторов, причем не делая ни для кого исключения. В присутствии Бунина нельзя было даже упоминать имена некоторых писателей и поэтов. А имя Александра Блока произносить было вообще небезопасно – нобелевский лауреат впадал в страшный гнев.

Когда мы позвонили в дверь на Эксисештрассе, нам открыл человек роста выше среднего в тельняшке, коротко остриженный с седоватыми усами. Потом уже я узнала, что он был по-детски влюблен в романтику морских путешествий, в морские атрибуты и символы. Каждый раз, когда мы собирались в Россию, он просил привезти очередную тельняшку, причем неподдельную, настоящую. А однажды нам привезли для него тельняшку из самого морского города – Архангельска – и он счел ее лучшим подарком на день рождения<sup>112</sup>.

Как-то мы катались с ним на парходике по Шпрее, и по этому случаю он надел тельняшку и праздничные белые носки в голубую полоску. Причем, время от времени он садился так, чтобы я эти носки заметила и восхищалась ими, что я и делала. Фридрих и в самом деле был доволен, как ребенок, а я с сожалением сказала: «Ведь есть же и у меня белая кофточка в голубую полоску! Как же это я не догадалась и не надела ее!».

Но Фридрих влюблен был не только в морскую романтику, были и другие, «смежные» пристрастия: например, к оружию. Он часто демонстрировал нам свою коллекцию кортиков, сабель, кинжалов, которые он покупал на блошином рынке. А, наоборот, редко, очень редко, с таинственным видом он вынимал из потайного ящика в коридоре газовый пистолет, но утверждал, что пистолет настоящий, боевой. («Так, на всякий случай»).

Итак, писатель встретил нас в тельняшке, мечте детства, которого у него не было, а был детский дом, где все были одеты одинаково безлико и бесцветно, и провел нас в гостиную.

Как я уже говорила, слева от входной двери в самом начале длинного и узкого коридора располагалась небольшая комната, служившая одновременно и кабинетом, и библиотекой, и спальней. Коридор заканчивался большой комнатой с балконом, в которой он обычно принимал гостей. Горенштейн усадил нас за стол на табуретки (я сразу вспомнила о табуретках Рахели в пьесе «Бердичев» – впрочем, там они были свежеструганные) и без предисловий заявил, что в России его не публикуют. Он сказал это так, как будто продолжил недавно прерванный разговор. (Мы виделись впервые.)

Именно такая манера начинать разговор с середины или с конца и сбивала многих собеседников. «Недавно был в Москве, – продолжал он, – прошелся по книжным магазинам. Там на полках лежат любимцы вашей интеллигенции: Довлатов, Окуджава, Битов. А меня нет! Меня издавать не хотят. Говорят, спрос маленький, тираж не окупится». Он говорил спокойно, привычно. И было очевидно, что возражать не следует. А, собственно, зачем возражать? Его книг действительно не было в продаже. Обескураживала манера с налету говорить это все неподготовленному собеседнику. Мы, однако, отнеслись к «дежурному», необходимому монологу спокойно. Взгляд у писателя при этом был как будто оценивающий – взгляд искоса. Впоследствии мне казалось, что Горенштейну даже нравится вызывать замешательство у московского или петербургского гостя полемическими выпадами типа: «любимец вашей интеллигенции Окуджава...» и так далее о других знаменитых современниках. И достигал цели. Это не случайно: ведь фанатич-

ный культ художника характерен именно для России. Так что бунт писателя против российской интеллигенции и истэблишмента был одновременно бунтом против культа личности, против коллективного преклонения перед признанным авторитетом – не важно, в политике или в искусстве.

Не берусь объяснить, почему Горенштейн отнесся к нам с доверием, однако то, что мы не «нравоучали» его, не «диссидентствовали», видимо, сыграло положительную роль. Возможно, он почувствовал единомышленников. Нам нравились его бесстрашные политические статьи, пронизанные невероятной энергией, статьи писателя, считавшего своей обязанностью вмешиваться в политические дискуссии. Мы никогда не отказывались от самых парадоксальных его статей. («И в новом «Зеркале Загадок», который на выходе, написал довольно остро и бескомпромиссно»<sup>113</sup> – так он сообщал в одном из писем.) Был случай, когда на одной встрече с читателями кто-то из публики даже угрожал нам высылкой из Германии за публикацию статей Горенштейна о немецкой истории.

Любопытно, что некоторым «солидным» людям название «Зеркало Загадок» казалось несерьезным, тогда как Горенштейну оно нравилось.

Название было заимствовано нами у Хорхе Луиса Борхеса. «Зеркало Загадок» – так назвал он одно из своих эссе. Сам же Борхес использовал знаменитое изречение апостола Павла о неоднозначности и загадочности мира, в котором мы живем. Можно только пытаться преодолеть кривизну того зеркала, в котором мы видим отраженный искаженный мир. Чем тревожней времена, тем искаженней зеркальное отражение. Вероятно, Горенштейну импонировал литературный и творческий азарт семьи, издающей журнал при отсутствии денежных средств. Впрочем, говорила я, вот и молодой Борхес издавал журнал «Проа» в Буэнос-Айресе, не имея средств. «И какова была судьба журнала? – спросил Горенштейн. «После полутора лет и пятнадцати выпусков Борхесу пришлось прекратить издание журнала», – ответила я. «На что же вы рассчитываете?» – спросил писатель. «На чудо». Такой ответ его устраивал. Время от времени Горенштейн рассчитывал на чудо.

С начала знакомства каждый номер «Зеркала Загадок» выходил с большой статьей Горенштейна. Журнал поначалу был небольшой по объему, а статьи Фридриха занимали много места. Время от времени раздавался телефонный звонок, и Фридрих просил сделать новую «вставочку». Статья (это могло быть эссе, очерк, памфлет)<sup>114</sup> постепенно от этих «вставочек» увеличивалась вдвое. Вдруг опять раздавался звонок, и кто-нибудь из нас испуганно произносил: «Это, наверное, Фридрих зво-



нит, опять «вставочка!». «Фридрих! Места больше нет, ни строчки!». Но Фридрих «честно» уверял: «Эта «вставочка» совсем маленькая и последняя!». Если бы это было так! Назавтра Фридрих звонил опять и говорил, что вот теперь уж точно последняя, ну, очень маленькая, а главное, очень важная «вставочка». Слово «вставочка» стало «языковой нормой» в обиходе моей семьи. Я пользуюсь им и сейчас в работе над этой книгой.

При первом нашем знакомстве я, коротко рассказав Горенштейну о себе, сообщила, что была ученицей Наума Яковлевича Берковского<sup>115</sup>, не уверенная в том, что он знает, о ком идет речь. Горенштейн направился в кабинет и вынес книгу Берковского «Немецкий романтизм». Он сказал, что купил ее в Вене в 1980 году в русском магазине по совету Ефима Эткинда. Эткинд указал ему на нее со словами: «Фридрих, купите эту книгу, ее написал гений».

Фридрих подарил мне потом свой экземпляр с собственными пометками на полях (моя книга была утеряна). Одно место, отмеченное галочкой, приведу, поскольку оно, как мне кажется, помогает понять мироощущение Горенштейна:

«Нежная душа пытается отделить себя от внешнего мира, боясь обид и поругания. Здесь действуют чуждость, страх и опасения перед чуждым. У души иная природа, она не доверяется внешнему миру. Человек полон доброты, мечтательности, что же он с ними станет делать во внешнем мире, который жесток и агрессивен?»

Стараясь показать свое уважение к писательской чести мастера, я дала понять при встрече, что знакома с его творчеством. Мы поговорили о романе «Псалом», написанном в начале 70-х годов в безотрадной брежневской России, в котором он вплотную подошел к христианской теме, и о герое этого романа Антихристе, родном брате Христа, «посланном Богом», чья земная миссия – антитеза Нагорной проповеди<sup>116</sup>. «Псалом» опеломил меня своим трагическим мироощущением, страстным страданием. Это была та самая некрасовская «кнутотм исеченная муза», со знаменитыми некрасовскими «стонами» по человеку. Сраженная этой всемирной человеческой тоской, отозвавшейся в Горенштейне, я даже сказала ему однажды: «Желаю вам, прежде всего, чтобы душа так сильно не болела». Он ответил неожиданно благостно: «Душа должна болеть. Как же без этого? Душа должна болеть».

Как я уже упомянула, к разговору с Горенштейном в качестве журналиста я была подготовлена – читала его книги. Это ведь необходимое условие для контакта с автором. Не прочитав произведения писателя даже по уважительной причине, не заводи «компетентных» разговоров о его творчестве.

Как говорил профессор Берковский: «Читайте памятники!» Берковский чувствовал себя лично оскорбленным, когда догадывался, что студент рассуждает о «памятнике», не прочитав его. Для него это было равносильно литературному преступлению. Однажды он выгнал «декольтированную» специально для экзамена студентку, весьма бестактно бросив ей вслед зачетку; при этом он стучал тростью и кричал: «Она не читала памятника, она не читала памятника!» Меня же на экзамене он допросил исключительно по текстам двух «памятников» — романов «Красное и черное» и «Пармская обитель». Профессор волновался, когда спросил меня, как звали (именно так!) главных героев «Пармской обители» — я была преданной студенткой и в течение двух лет не пропустила ни одной лекции и семинара, и было бы обидно, если бы вдруг оказалось, что я не прочитала романа. Я и в самом деле чуть было не опозорилась, поскольку забыла, кем был граф Моска. «Какой пост занимал граф Моска?», — спросил меня профессор.

«Граф Моска, — ответила я с пафосом, — занимал очень высокий пост!» И тогда профессор с трудом привстал со стула (он был очень болен), опершись на трость, и сказал: «Министр! Министр!» А потом я со стыдом рассматривала в коридоре свои пять баллов в зачетке — ведь я не высказала любимому преподавателю ни одной умной мысли. Что же касается Горенштейна, то он неоднократно повторял, что говорить о произведении искусства, не прочитав его, безнравственно.

Горенштейн, следуя русской литературной традиции, справедливо полагал, что писатель может и должен «быть гражданином», то есть стремиться влиять на политическое развитие общества. Причем, как при жизни, так и после смерти — через творчество. Он считал, что фактопоклонство губит истину. В «Веревоной книге» он писал: «Фактопоклонство, вера в непогрешимость истории — вот что мешает познанию исторической истины. Отказ от суда над историей есть отказ от истины».

Историческая тяга последних лет приобретает особую интенсивность в многочисленных политических статьях, написанных буквально одна за другой для «Зеркала Загадок». Мы по возможности печатали его острые полемические статьи, по сути дела, у нас для Горенштейна не существовало слова «нет», поскольку с самого начала оценили его политическое чутье по самому высокому счету. Так, например, мы опубликовали статью «Гетто-большевизм и загадка смерти Ицхака Рабина». Можно сказать, Горенштейн предвидел убийство Ицхака Рабина и писал об этом раньше — в статье «Алеаторная сделка Ицхака Рабина», которая была переведена на иврит, но израильские

влиятельные газеты отказались ее публиковать. «Да простится мне авторское тщеславие, – писал Горенштейн, – и наивная мечтательность, но теперь, когда свершилось непоправимое, мнится: если бы опубликовали своевременно, вдруг бы прочитал убийца и вдруг бы решил сменить оружие убийства на ... нелицеприятный, беспощадный избирательный бюллетень»<sup>117</sup>.

Происходящие в мире события – в Боснии ли, России, Израиле, или же в Чечне, становились фактом его личной биографии. И задолго до трагического 11-го сентября Горенштейн предупреждал в своей публицистике: легкомысленное, несерьезное, инфантильное даже отношение мировой общественности к терроризму, и на территории Израиля в частности, приведет в конце концов к тотальному терроризму. Своей жесткой позиции писатель оставался верен до последних дней. Другой важной темой гневной горенштейновской публицистики была Вторая мировая война, нацистское прошлое Германии и неонацизм в наши дни. На страницах «Зеркала Загадок» писатель высказывал смелые, нелицеприятные мысли, выступал с резкой критикой германских властей и понимал, конечно, что никакое другое немецкое и, тем более, эмигрантское издание в Германии такие статьи публиковать не станет.

Впрочем, писателю импонировал не только общий неконформистский настрой редакции, нравилось «приятное общество» на страницах журнала. Например, соседство Ефима Эткинда. Или общество Иосифа Бродского (мы опубликовали его лекцию о русской поэзии в Барселонском университете, записанную моей приятельницей Асей Латышевой), Бориса Хазанова, директора Эрмитажа Пиотровского, Льва Аннинского и многих других.

Я всегда помнила мудрый журналистский опыт редактора «Современника» Николая Алексеевича Некрасова – считаться с пожеланиями «главных» авторов. У Некрасова это были Тургенев и Толстой, которые, к сожалению, между собой еще и не ладили, и нужно было находить особый подход к каждому. Для нас таким «главным» автором был Фридрих Горенштейн, и мы не стали бы публиковать авторов, которые его когда-либо лично обидели, тем более, что мы ему в этих «обидах», о которых многие сейчас пишут с иронией, особенно, когда речь заходит о его памфлете-диссертации, сочувствовали и сопереживали.

Кстати, от публицистики писателя отговаривали многочисленные «доброжелатели», считая, что он таким образом компрометирует себя как художника. История напоминает толстовскую. Льва Толстого в последние его годы жизни постоянно кто-нибудь отговаривал писать публицистические статьи. А он считал это нравственным долгом, такова была его

художественная суть. И что же в результате получилось с творческим наследием слушника-Толстого? А получилось, что «морализаторские», «нравоучительные» статьи Толстого – органическая часть его творчества. О гоголевской «поучающей», проповедной литературе последних лет уже и не говорю. Впрочем, и он натерпелся неприятностей, публичных даже скандалов на страницах прессы, если не сказать больше, особенно со стороны литературного мэтра Белинского. Замечу только, что именно критики «поучающей» публицистики типа Белинского и были, в первую очередь, догматиками, пытаясь запереть музу в золотой клетке художественности и запретить ей заниматься также делами земными, насущными.

Я не стану называть имени писателя и публициста, который поучал Горенштейна, предъявляя даже и претензии морального порядка: «Горенштейн, не пишите статей! Не ваше это дело. Пишите только художественную прозу». Горенштейн по-настоящему был огорчен таким непониманием. Во время последней их встречи он ответил ему: «Что ж, в таком случае я искренне советую вам писать только публицистику. Уверю вас, публицистика вашего уровня, уровня большого мыслителя и блестящего стилиста принесет вам больше успеха, чем художественная проза».

Потом Горенштейн отказался даже принять от этого писателя привет, когда находился в больнице, и выругался по привычке. Я настаивала: «Фридрих, ведь этот человек вас любит. Он передает вам привет и хочет, чтобы вы поправились, искренне желает!» И тогда Фридрих сказал: «Ну, хорошо, ну ладно... а как он себя чувствует?»

## 9. «ВНЕОЧЕРЕДНОЙ РОМАН»

---

Москва отвернулась от молодого Горенштейна именно тогда, когда он находился в расцвете сил и таланта. Бурных дней круговорот завершился, и хотелось печальное прошедшее забыть, забыть изнуряющий трепет души и свою тогдашнюю молитву у стен древнего Кремля. Иногда вспоминались блоковские строки, созвучные его утраченным иллюзиям романтических шестидесятих годов: «В час утра, чистый и хрустальный, у стен Московского Кремля, восторг души первоначальной вернет ли мне моя земля?»<sup>118</sup>

Со временем он стал находить и положительные стороны в разрыве с Москвой и говорил: «Не все прошло бесследно. Если бы суета в «Новом мире» из-за шахтерского романа завершилась в мою пользу, я стал бы благополучным, успешным, хорошо оплачиваемым писателем и вряд ли написал бы романы «Место» и «Псалом». Так что судьба поступила со мной жестоко, но верно. Полное неприятие моего шахтерского романа вашей интеллигенцией, в том числе и лидером демократического движения Твардовским, помогли мне, парню молодому, окончательно уйти в степь донецкую «на работу славную, на дела хорошие». Получалось совсем по Достоевскому: страдания способствовали творчеству.

И когда отступила суета московского «большого» света, наступил безмятежный час труда. Он написал «Псалом», которым спустя десять лет привел в восхищение французскую критику. Показалось, еще немного, еще чуть-чуть – и будет он признан официальными «литературными инстанциями» и осыпан, наконец, почестями суетного мира, достойными наградами, дающими возможность существовать безбедно как профессиональному литератору.

Итак, именно роман «Псалом», написанный в Москве в 1973-74 годах, принес Горенштейну успех. В 1984 году роман был переведен на французский и опубликован в издательстве «Галлимар». Горенштейн рассказывал, каким образом складывалась цепь случайностей, и как «личный» фактор или, как

он подчеркивал, бытовой, сыграл свою особую роль в шумном успехе романа.

Книга попала к авторитетному французскому критику Эгону Райхману, который вначале не спешил с нею, поскольку у него было много других дел, и нужно было прочитать еще множество книг, стоящих на очереди и не терпящих отлагательства. Потому он отложил «Псалом» на время. Роман лежал среди груды отложенных книг и покорно ждал своей очереди, но однажды почему-то привлек внимание жены критика – возможно, ее привлекло название. Она взялась его читать, и, потрясенная, залпом, как она говорила, прочитала до конца. Эгону Райхману она сообщила, что только что прочла роман века!

Так «Псалом» был прочитан Райхманом «вне очереди». Критик читал его с восторгом и даже изумлением. Тогда и была опубликована его статья в газете «Ле Монд» (и, по сути дела, первый серьезный отзыв в печати), где автор романа был назван одним из крупнейших писателей современности. За ней последовали статьи в «Нуовель обсерветер», в «Фигаро» и других изданиях – «Псалом» стал событием года.

Популярность Горенштейна во Франции во второй половине восьмидесятых годов была настолько велика (писатель называл этот период «парижским»), что на ежегодную традиционную встречу в Елисейском дворце с деятелями искусств разных стран Горенштейн как представитель русских писателей дважды приглашался тогдашним президентом Франции Миттераном – в 1987 и в 1989 годах.

Миттеран, который читал «Псалом», во время этих встреч общался с писателем, в том числе и без переводчика – Горенштейн сносно говорил по-французски. Позднее писатель любил повторять: «Вот ведь были правители, которые читали книги. Миттеран, например. Не уверен, что нынешний глава Франции вообще что-нибудь читает».

Недоверие к «перемещенному лицу» – обычное явление, в том числе и в Германии. Касается это и издательств. С одной стороны, поэту, художнику как бы даже положено романтически странствовать, скитаться по свету. Но с другой стороны... С другой стороны, конечно, настораживает, если странствие чересчур затянулось. Тот факт, что в Британскую энциклопедию в свое время не был внесен Нобелевский лауреат парижский эмигрант Иван Бунин, тогда как Константин Федин, писатель, живущий дома, у себя в России, был туда занесен, весьма показателен.

Вспомним двадцатые годы, когда Берлин стал местом пребывания небывалого количества талантливых русских литера-

торов, причем для некоторых из них немецкий был вторым родным языком – для Цветаевой, например. В настоящее время германская литературная наука с благоговением изучает те самые двадцатые годы, мимо которых когда-то прошла, не заметив, например, Набокова, ощущавшего себя в Берлине «бесплотным пленником», притом, что два его произведения – романы «Машенька» и «Король, дама, валет» были переведены на немецкий язык. В Берлине, в сложный и даже трагический период своей жизни<sup>119</sup> Набоков писал много и разнообразно. Вот далеко не полный перечень значительных произведений – романов и повестей, опубликованных писателем в немецкой столице под псевдонимом В. Сириин (был у Набокова еще один псевдоним – Василий Шипков): «Машенька» (1926), «Король, дама, валет» (1928), «Защита Лужина» (1930), «Отчаянье» (1930), «Соглядатай» (1930), «Камера обскура» (1932), «Приглашение на казнь» (1935), «Дар» (1937), а также первые пьесы – «Человек из СССР», «Событие» и «Изобретение вальса». Тем не менее, он вспоминал о Берлине, ставшем его творческой родиной, не без оснований, как о кошмарном сне, а германский период назвал «антитезисом».

Что же касается Цветаевой, с ее особым личностным отношением к Германии, называвшей ее «Vaterland» («Но как же я тебя отрину, Моя германская звезда»), то она и вовсе не была ею замечена. Десять недель, которые Цветаева провела в Берлине летом 1922 года, явились для нее «световым ливнем». Еще до приезда ее, весной 1922-го года берлинским издательством «Геликон» были опубликованы два ее сборника – «Разлука» и «Стихи к Блоку». Находясь в Берлине, Цветаева подготовила к изданию сборники «Психея» и «Ремесло» и второе издание поэмы «Царь-девица», которые были напечатаны в 1922-1923 годах. В Берлине Цветаевой был создан цикл стихотворений «Земные приметы», эссе о Пастернаке «Световой ливень» и эпистолярный рассказ «Флорентийские ночи». Находясь в Париже, Цветаева перевела на французский язык этот рассказ, предлагала его многим французским издательствам, однако издатели не желали даже с ней разговаривать. И лишь в 1981 году итальянская исследовательница и переводчица Серена Витале привезла рассказ из Москвы – он хранился у дочери Цветаевой Ариадны Эфрон – и опубликовала его во Франции и Италии. В 1922 году Мандельштам с грустью писал о «деликатном отношении», о равнодушии «мировых городов» к литературе.

Спустя полвека ситуация писателя-эмигранта мало изменилась. Недоверие к пришельцу осталось незыблемым. За год до приезда, в 1979 году роман Горенштейна «Искушение» был

переведен на немецкий язык и опубликован в Берлине весьма солидным издательством «Люхтенгарт». Однако талантливого романа оказалось недостаточно. Необходимо было авторитетное слово. А где же взять такого безусловно авторитетного человека, который мог бы поручиться за талант, свое веское слово сказать, к которому бы прислушались? Такой человек к счастью нашелся – им оказался все тот же рыцарь литературы, во имя нее неоднократно пострадавший, Ефим Григорьевич Эткин. Горенштейн познакомился с Эткиным еще в Вене осенью 1980 года, когда жил в пансионе на Кохгассе, 120, неподалеку от Собора святого Стефана.

Вена произвела на писателя гнетущее впечатление. Обилие и изобилие магазинов, которое восхитило Бродского (его, как мы помним, встретил американский профессор-славист Карл Проффер и тут же, в аэропорту, предложил престижное место в университете в Анн Арборе штата Мичиган), произвело обратное действие. Горенштейн увидел неприветливый город без зелени, без деревьев, без скамеек на улицах, однако же увешанный колбасами. Витрины, у которых они с женой стояли с одномесечным ребенком на руках и смотрели на красоту пирожных под «злыми взглядами австрийских хозяев», не радовали. Вот Бродского, получившего приглашение Проффера, магазины радовали: «Я очень ясно помню первые дни в Вене. Я бродил по улицам, разглядывал магазины. В России выставленные в витринах вещи разделены зияющими провалами: одна пара туфель отстоит от другой почти на метр, и так далее... Когда идешь по улице здесь, поражает теснота, царящая в витринах, изобилие выставленных в них вещей. И меня поразила вовсе не свобода, которой лишены русские, хотя и это тоже, но реальная материя жизни, ее вещность. Я сразу подумал о наших женщинах, представив, как бы они растерялись при виде всех этих шмоток».

Горенштейн писал: «Вена – полигон, плацдарм эмигрантской интеллектуальной элиты. Тут будущие «голоса» разучивали свои политические и литературно-общественные арии, тут формировались «новые американцы», тут «солисты дуэта», поднаторевшие на газетной комсомолки, начинали свой «Посев», которым впоследствии буйно заросли газетные поля эмиграции и, как ряской, радиопотоки»<sup>121</sup>.

Ефим Григорьевич Эткин случайно оказался почти соседом – он жил в одной из квартир Венского университета, в который был приглашен читать лекции. При первой встрече знаменитый ученый, литератор и поэт-переводчик показался Горенштейну совсем молодым, хотя ему было уже 62 года. «Содержания беседы не помню, – писал Горенштейн, – но если го-



ворить о моей биографической жизни, то это исходная точка нашего с Ефимом Эткиндом сюжета была безусловно важна для моего нового биографического времени»<sup>122</sup>.

Это и в самом деле была исходная точка, поскольку Эткинд по возможности старался помочь Горенштейну пробиться сквозь дебри литературных препон. (Напомню, что Эткинд написал о творчестве Горенштейна статью «Рождение мастера».) Много лет спустя на смерть Эткинда Горенштейн откликнулся эссе «Беседы с Ефимом Эткиндом», которое ни в коем случае не желал называть «некрологом».

«И вспоминаю последнюю встречу у меня на квартире в Берлине осенью 1998 года. Я по просьбе Ефима читал финальную сцену «В книгописной монастырской мастерской» из моего многолетнего труда «Драматические хроники времен Ивана Грозного». Ефим остался очень доволен финальной сценой. Я помню его слова: «Хорошо, очень хорошо». Был доволен и я. Не то, что я был ориентирован на чужое мнение. В целом я хвалю и ругаю себя сам. Но в данном случае был многолетний, давящий на меня труд, и был Ефим Эткинд, вкусы которого я, несмотря на те или иные разногласия, высоко ценил. Потому так обрадовала меня его похвала и даже подумалось: теперь и Ефим взял на себя тяжесть многолетнего моего труда, облегчая мне ношу.

Я пишу «Ефим», ибо сам Ефим Григорьевич попросил так себя называть, хотя нас разделяло солидное временное пространство. А теперь нас разделяет солидное географическое пространство. Где эта земля Элизиум – Елисейское поле Гомера? Если верить Гомеру, то на западном краю Земли, на берегу Океана. И теперь уж придется беседовать с Ефимом Эткиндом только там, на гомеровских Елисейских полях. Эти беседы нужны мне, ибо уход Ефима Эткинда из наших краев – большая для меня личная потеря»<sup>123</sup>.

Рекомендация Эткинда возымела действие. В девяностых годах издательством «Ауфбау» было опубликовано семь книг Горенштейна, издательством «Ровольт» – три. Среди них произведения, написанные уже в Берлине на Зэксихештрассе: повести «Улица Красных Зорь», «Последнее лето на Волге», пьеса «Детоубийца», рассказы, а роман «Летит себе аэроплан» издавался на немецком языке три раза. О Горенштейне тогда много писали во влиятельных немецких газетах и журналах, попеременно называя его то «вторым Достоевским», то «вторым Толстым».

Впрочем, выполнив свой «план» по Горенштейну, немецкие издательства как-то разом, без переходов и постепенностей, как будто бы сговорившись между собой, перестали его



**На похоронах Е. Эткинда**



**На прощании с Е. Эткингом.**

**На переднем плане слева - вдова Эткинда Эльке-Либе.**

**Справа - Б. Антипов**

**Посередине на заднем плане - Ф. Горенштейн с И. Полянским**



**Ф. Горенштейн и владелица русского книжного магазина  
«Радуга» Нина Гебхардт**

публиковать. «Я теперь по-немецки, очевидно, кончил издаваться. Издал десять книг – и хватит. Они теперь некоего Акунина вместо меня издают. «Aufbauverlag» с его владельцем. Он же – торговец недвижимостью. Глянул случайно в какую-то книжечку – «Анекдоты для идиотов» называется. Название точное. Только писано тоже мало того что графоманом, так ещё и идиотом. Больше я им никогда ничего не дам»<sup>124</sup>.

Впоследствии Горенштейном заинтересовался издатель из Бонна Эрнст Мартин. Между ними завязалась даже переписка, но и она заглохла. В одном из последних писем Горенштейн предлагает Эрнсту Мартину издать сборник его рассказов. «Прошло много времени с тех пор, как я получил от Вас последнее письмо, – пишет он шестого июня 1999 года. – По многим причинам работа над моим романом займет много времени<sup>125</sup>. Я спрашиваю себя однако, почему бы не издать некоторые мои рассказы? Почему нет? Между тем, по количеству рассказы мои могут составить двухтомник. Сборники моих рассказов дважды издавались издательством «Ауфбау» – в 1991 году и в 1997 году под названием «Улица Красных Зорь» и «Муха у капли чая». Оба сборника были хорошо восприняты как читателями, так и прессой. Я уверен, что новый сборник будет иметь не меньший успех. Он отличается присутствием гофмановского элемента. Он мог бы быть издан в немецком, австрийском или швейцарском издательстве, или же в Вашем издательстве «Искусство и коммуникация». Томас Решке<sup>126</sup> хотел бы эти рассказы перевести. Если Вы сочтете необходимым, то можете предложить прочитать эти рассказы для оценки их специалисту по русской литературе, для того, чтобы он выразил свое мнение».

Вернусь к временам успеха Горенштейна в Германии, когда о нем много говорили и писали в немецкой прессе, и приведу один характерный текст о нем в моем переводе (он был прочитан по немецкому радио (NDR 1 Radio MV Kulturjournal 12. 9. 95):

«Литературные критики видят в нем последователя Гоголя или Достоевского. Известный еженедельник назвал его даже «Толстым двадцатого века». Большая похвала для живущего здесь почти неизвестного писателя. Его имя – Фридрих Горенштейн. Еврейско-русский писатель родился в 1932 году в Киеве, с 1979 года живет в Западном Берлине. Горенштейна не публиковали в России долгие годы, что заставило его эмигрировать. (...) Однако и в Германии его известность пришла к нему с трудом. Эта ситуация изменилась после падения Берлинской стены и разрушения Восточного блока. В 90-х годах за ко-

роткое время один за другим было опубликовано большинство романов и рассказов Горенштейна. Все его произведения, вместе взятые, составляют единую огромную картину российской и советской действительности. «Место» – так называется один из ранних эпических романов писателя. Бригитта Хюпеден представит его вам».

Диссонанс между художественным масштабом («Толстой двадцатого века») и литературным авторитетом («Большая похвала для живущего здесь») отчетливо просматривается в этом комментарии. Характерно и прототипическое противоречие: «известный еженедельник» – «почти неизвестный писатель». Желание преуменьшить реальный успех, и, одновременно, невозможность его скрыть. Приведенная цитата – своеобразный синтез глубокого неприятия и, одновременно, признания.

Что можно было противопоставить такого рода комментариям, кроме таланта? Связи? Их у писателя практически не было (Эткинд был исключением). Всевозможные стипендии и награды, коих в Германии сотни, были недоступны, прежде всего, потому, что Горенштейн совершенно не способен был к литературному «бизнесу», не умел вести дела, всегда находиться «в курсе» дела и т.д. Он не разбирался в тонкостях издательского менеджмента и весьма смутно представлял себе содержание авторских договоров, которые не глядя подписывал с издательствами.

Возникали совсем даже комические ситуации, когда частные лица решали проявить инициативу для предоставления ему Нобелевской премии, а Горенштейн вполне всерьез отговаривал. Так, например, в письме к Ларисе Щиголь:

*«Благодарю вас за то, что Вы хотели бы представить меня к Нобелевской премии (некоторые мои знакомые тоже хотят это сделать). Но она, ей Богу, мне не нужна. Конечно, я бы деньги не выбросил, но это не моя мечта... К тому же, вряд ли эти премии присваиваются за «лучшее». Эти шведские дамы и господа вряд ли в таких тонкостях разбираются. У них есть общественно-политическая разнарядка – они её выполняют. «Дать представителю освободительного движения Африки». «Дать еврею – представителю советской оппозиционной интеллигенции». Скоро какой-нибудь палестинец получит. Моя цель – не их премия, которая, к тому же, усложняет жизнь, превращая её в «общественную», а сила и здоровье, какой-то достаток и всё прочее в этом плане. Я на Бога не гневаюсь – наоборот, благодарю. При моей судьбе могло бы быть сейчас гораздо хуже.*

28.04.98».

Горенштейн еще говорил: «Для того, чтобы получить Нобелевскую премию, нужно как можно больше убивать, затем разыграть раскаяние, как это сделал Арафат, и бороться за мир»<sup>128</sup>.

*«Когда в 1933 году было принято решение дать Нобелевскую премию какому-нибудь русскому антисоветскому писателю, – писал Горенштейн, – выбор пал на Шмелева, православно-кликующего сочинителя, впоследствии нациста, образовавшего вместе с Зинаидой Гиппиус, ее мужем Мережковским, шахматным чемпионом Алехиным и прочими субъектами русский национал-социалистический союз. Иван Бунин получил Нобелевскую премию не потому, что он классик, а потому, что советские функционеры, по совету Горького, наемкнули: советские возражения против кандидатуры Бунина будут не так остры»<sup>129</sup>.*

Любопытно высказывание Веры Набоковой о Нобелевской премии. На советы сестры Лены, живущей в Швеции, как сделать, чтобы Владимира Набокова включили в список соискателей этой премии, она ответила: «К тому же, Комитет по Нобелевским премиям теперь занимается политическим рэкетом и только и знает, что отвешивает поклоны в сторону Кремля. Ему (Владимиру – М.П.) совершенно ни к чему оказываться в одной компании с Квазимодо (нобелевским лауреатом 1959 года), или Доктором Живаго»<sup>130</sup>.

Остановлюсь еще на одной характеристике из приведенной радиоцитаты – «еврейско-русский писатель». Фридриха часто так называли в Германии и не только в Германии. «В много-томной «Краткой еврейской энциклопедии», выходящей в Израиле с 1976 года, все еще не законченной, имя Горенштейна упомянуто в статье «Русско-еврейская литература». Можно согласиться с автором статьи Шимоном Маркишем, – писал Борис Хазанов, – можно оперировать и другими рубриками. Для меня Горенштейн – представитель русской литературы, той литературы, которая, как и литература Германии, Франции, Англии, Испании, Италии, Америки и многих других стран, немыслима без участия писателей-«инородцев», и для которой уход Горенштейна – одна из самых больших потерь за истекшую четверть века»<sup>131</sup>.

В письме Лауре Спеллани, написавшей дипломную работу по роману «Псалом», писатель сам разъясняет свое отношение к этому вопросу. Кроме того, это письмо само по себе – замечательный документ. Горенштейн, по сути дела, сформулировал в нем свою нравственную, религиозную, этическую и философ-

скую позицию в искусстве – одним словом, авторскую позицию.

Экскурс: Письмо Горенштейна Лауре Спеллани.

*Уважаемая Лаура Спеллани,*

*благодарю Вас за приглашение погостить у Вас в Италии. Жаль, ноябрь не удобен для меня в силу творческих и иных причин. Но если это Ваше приглашение остаётся в силе и после защиты Вашей дипломной работы, то, возможно, я мог бы им воспользоваться весной.*

*Я был в Милане, несколько раз был в Риме, где работал для одной итальянской кинофирмы над сценарием о Тамерлане. К сожалению, фильм не был снят. В своё время я получал приглашения дать опцион издательствам Фальтринелли, Матадори и т.д. Из этого тоже ничего не вышло. Нынешняя культура Италии, по-моему, сильно американизирована, но я люблю Италию и надеюсь на новый Ренессанс. Поэтому Ваше обращение к моей книге «Псалом» меня обрадовало, однако с целым рядом положений Вашего заключения не могу согласиться.*

*Прежде всего, о русско-еврейской литературе. Такой литературы не существовало и существовать не может. Я достаточно подробно писал о том в моём памфлете<sup>132</sup>. Существует или еврейская, или русская литература. Принадлежность к той или иной литературе определяет не происхождение писателя, а язык, на котором он пишет<sup>133</sup>. Иначе Джозеф Конрад был бы не английским, а польско-английским писателем. Таких примеров можно привести множество.*

*Вы пишете: «Еврейские писатели начали использовать русский язык во второй половине XIX века», но как только они использовали русский язык, они становились русскими писателями, независимо от того, каковы темы их книг. И способствовали они не распространению еврейской культуры в русский мир, а знакомили русского читателя с еврейской жизнью. Среди них было немало способных писателей, но больших талантов среди них не было и, надо сказать, они сами путали свою принадлежность. На титульном листе книги писателя Полиновского значилось: «Рассказы из еврейской жизни». Чехов, которому Полиновский послал рассказы, в ответном письме спрашивает: «Почему Вы пишете «из еврейской жизни?» Я ведь не пишу «из русской жизни» я пишу просто – «из жизни».*

*Я тоже стараюсь писать просто из жизни, даже если в моих книгах большое внимание уделяю еврейской теме. Но не*

только ей. Мною написана пьеса о Петре I, написаны драматические хроники об Иване Грозном. Для того, чтобы отнести эти книги к русско-еврейской литературе, надо обладать совсем уж дикой и большой фантазией. Так же, как и Исаак Бабель, писатель, кстати, очень далёкий от меня по темам и по стилю, я принадлежу к русской литературе. Это не хорошо и не плохо. Это не больше чем факт. Что касается культуры, то я принадлежу к иудо-христианской культуре, к библейской культуре, включая евангельскую. Да, такой религии нет, но есть такая культура. Вопрос о взаимоотношении иудаизма и христианства сложен, и я не могу упрощённо изложить его в письме. Но Вы понимаете его неправильно, и неточно прочитали это в моём «Псалме». Дело не в советском человеке, о котором я будто бы, из ваших слов, пишу, что «он не знает Библию, не верует в Бога и в случае если он не атеист, то христианин, а христианство изменило еврейство и разбило чашу между Богом и человеком и подчинилось советской власти».

Во-первых, причём тут советский человек, если корни противостояния христианства еврейству уходят в глубь веков. Но противостояние это носит политизированный, а не духовный характер. Все, что есть в христианстве творческого, тесно связано с библейской праматерью. Христос создал свое учение не для противостояния, а для развития и дополнения, но преждевременная смерть Христа передала христианство в руки великих инквизиторов, которые нуждались в мертвом, а не в живом Христовом слове. Читайте мою повесть «Притча о богатом юноше» (Дружба народов, №7, 1994). Там соотношение между моисеевым и евангельским дано достаточно ясно.

Нельзя согласиться и с Вашим утверждением, что я горжусь своей еврейской идентичностью. Гордиться своей еврейской идентичностью так же нелепо, как гордиться своей итальянской идентичностью. И так же нелепо стыдиться своей идентичности.

Но несчастная еврейская история искалечила многим евреям их самосознание. Неправильно пишете Вы и о моем проклятии «крещеным изменникам». Я не стою на позиции ортодоксального раввина, о чем писал в «Памфлете». Кто хочет, может креститься, менять имя и фамилию. Важно, как это делается и во имя чего. К сожалению, начиная со средневековья, многие выкресты становились врагами еврейского народа, клеветали на него, придумывали подлые мифы о потреблении евреями крови, о «Вечном Жиде» и другие. И уж совсем нелепо звучит Ваше утверждение о том, что я через свое творчество хочу распространить еврейскую религию как единое



*спасение человечества. Никогда я не считал еврейскую религию единственным спасением. Это «хомейнизм». Не дай Бог единую для всех религию, какова бы она ни была. Я вообще с точки зрения обрядовой религии не религиозный человек. Но я верующий человек, я хотел бы сотрудничества религий, а особенно иудейской и христианской, потому что у них единый корень и созданы они в недрах еврейского народа. Это исторический факт.*

*С дружеским приветом Фридрих Горенштейн*

*P.S. Когда письмо уже было написано, узнал об ужасном землетрясении как раз в Ваших краях. Это еще более усложняет мой приезд в ноябре.*

Я процитировала письмо полностью, поскольку «национальный вопрос», разрешение которого писатель считал безнадежным, занимает одно из ведущих мест в его творчестве. Некоторые критики считали, что в романе «Псалом» Горенштейн «столкнул лбами» представителей двух народов, русских и евреев, не пощадив ни тех, ни других. «Гуманисты учили, что нет дурных народов, – писал Горенштейн в романе «Псалом» – Моисеево же библейское учение, если вдуматься, говорило, что хороших народов нет вовсе». В этом коренная разница мировоззрений, нестыковка сознаний. Отсюда и глухота критики, опирающейся на традиционные, по сути своей националистические понятия веры, нации и национального искусства.

## 10. О РУССКОМ БУКЕРЕ И ДРУГИХ ПОЧЕСТЯХ

---

Роман «Место» появился на прилавках русских книжных магазинов в то самое время, когда в России только что была учреждена первая негосударственная и, пожалуй, самая престижная литературная премия – «Букер». Основателем и первым спонсором Русского Букера явилась крупная британская торговая кампания Booker (она учредила премию сначала для английского, а затем для русского романа)<sup>134</sup>. Как и английская премия, русский Букер награждал победителя конкурса денежной суммой. Согласно правилам, выдвинутые на соискание произведения составляли так называемый «длинный список». На первом этапе конкурса жюри должно было определить шесть финалистов («короткий список»), а на заключительном этапе – победителя<sup>135</sup>.

Первое присуждение премии состоялось в 1992 г. В числе претендентов был и роман «Место». Однако вскоре выяснилось, что роман, который ошеломил искушенных литераторов, не был прочитан некоторыми членами жюри (отсюда, вероятно, реплика одного из авторитетных членов жюри, знавшего о «Месте» только понаслышке: «Но ведь «Бесов» мы уже читали»<sup>136</sup>).

«Не могу не вспомнить ... историю с первым Букером, когда на эту тридцатитысячную премию был выдвинут также мой роман «Место». Потом уж Букеры пошли чередой, караваном, потому что началась «раздача верблюдов», точнее, «слонов». Кто хочет получить список шестидесятилетнего истэблшмента, может заглянуть в список лауреатов премии Букера – в первые номера»<sup>137</sup>. Виктор Топоров в некрологе Горенштейну вспомнил это присуждение – еще одну грустную страницу истории русской литературы: «Драматическая история разыгралась в связи с присуждением первой в нашей стране Букеровской премии: явными фаворитами были Людмила Петрушевская и Фридрих Горенштейн, однако премированным оказа-

лось дебютное (любопытное, но не более того) произведение и в дальнейшем себя никак не проявившего литератора. (Победителем конкурса стал Марк Харитонов – М.П.). Для Горенштейна это стало больше чем ударом (к ударам судьбы он привык): это стало знаком того, что удача не замечает его и не заметит никогда»<sup>138</sup>.

Напомню читателям «короткий список» участников:

Марк Харитонов. Линия Судьбы или Сундучок Милошевича

Фридрих Горенштейн. Место

Александр Иванченко. Монограмма

Владимир Маканин. Лаз

Людмила Петрушевская. Время ночь

Владимир Сорокин. Сердца четырех

Горенштейн считал виновником стоящей за решением жюри интриги влиятельного писателя «Б», который, приезжая в Берлин, всегда – до присуждения премии – навещал его. «Вот здесь он всегда у меня сидел, – говорил Горенштейн, указывая на место справа у стола возле двери. – Больше он здесь не сидит и сидеть не будет». Писатель «Б», по случайному совпадению, находился в Берлине в день похорон Горенштейна и поговаривали, что собирался придти на кладбище и проводить в последний путь литературного соратника, талантом которого восхищался («Боже мой! Как он может так писать? Быть может, ему кто-нибудь диктует?»). Но почему-то на кладбище не пришел.

Первая книга писателя на русском языке – роман «Искупление» – была опубликована в США в 1984 году в издательстве «Эрмитаж». Горенштейн публиковался также в эмигрантской русской прессе – чаще всего в журнале «Континент» у Максимова, «Время и мы» у Перельмана, «Грани» у Владимова, «22» у Воронелей, в Нью-Йоркском «Слове», а также в нашем берлинском журнале «Зеркало Загадок». Как я уже говорила, последние десять лет в США книги Горенштейна одна за другой выходили в издательстве «Слово», которым, также как и одноименным журналом, руководит Лариса Шенкер. У нее были изданы романы «Скрябин», «Под знаком тибетской свастики», нескольких его пьес, включая любимый им «Бердичев», а также роман-пьеса «Хроника времен Ивана Грозного». Если говорить об изданиях на русском языке, то Лариса Шенкер в течение последних десяти лет, была, по сути дела, единственным издателем книг Горенштейна. Писатель это ценил и часто, ука-

зывая пальцем на телефонный аппарат (это означало – на Ларису Шенкер в Нью Йорке; он общался с ней часто по телефону, стало быть, ей где-то там в старом бледно-зеленом аппарате и надлежало находится. На Москву, где его не публиковали, он почему-то указывал в окно в сторону Курфюрстердама. Израиль же находился в телевизоре), говорил: «Вот она – меня публикует!»

После того, как в Москве в издательстве «Слово» в 1992 вышел трехтомник Горенштейна, десять лет его книги в России не издавались. Причем – строго противоположно логике рынка, трехтомник разошелся практически сразу. Очень скоро его уже невозможно было купить. Но в России, видимо, даже «книгопродавцы» немного поэты – живут не хлебом единым, но идеей, мнением, слухом, авторитетом. Хотя трехтомник был быстро распродан, у российских издателей вскоре сложилось мнение, что Горенштейн – писатель «некассовый». Это и неудивительно. «Некассовый» – таков был сомнительный комплимент критики.

Борис Хазанов отмечал: «Но и сегодня в отношении к нему на родине есть какая-то двойственность, – писал писатель, наделенный могучим эпическим даром, один из самых значительных современных авторов, остается до сих пор полупризнанной маргинальной фигурой»<sup>139</sup>.

Так, например, «дальновидный» руководитель петербургского издательства «Лимбус-пресс» уверял, что если напечатает роман «Место», то непременно прогорит, и прервал с Горенштейном контракт, пожертвовав даже пятьюстами долларами, которые заплатил в качестве аванса. Можно понять возмущение Горенштейна, который в суд, правда, подавать не стал, но свое отношение к «Лимбус-пресс» выразил достаточно ясно в факсе: *«Уважаемый Господин Тублин! («уважаемый» приписал мой сын, которого Фридрих попросил выслать факс) Прошу вернуть рукописи моего двухтомника, которые Вы, продержав два года, так и не издали, поступив по отношению к моей книге, мягко говоря, неприлично. В тот же период Вы издали тонны Довлатова и прочего. Но, мало того, Вы еще и не вернули тексты! Прошу выслать их по адресу...»*

Фридрих, конечно, пытался объяснить неприятие своих книг в российских издательствах, не пускающих его к читателю, и говорил, что случайности здесь нет – все закономерно. Нынешние писатели, которых он иногда еще называл «наши писатели», и издатели принадлежат к общей субкультуре. Как бы остры ни были у них разногласия, трения, конкурентная борьба – они могут сосуществовать, поскольку книги, мировоззрения их, даже будучи разными, друг другу не мешают. Тогда

как культура, к которой принадлежит он, Горенштейн, прекратила свое существование в тридцатые годы, поэтому книги его мешают «нашим писателям».

Один довольно известный ленинградский прозаик, издающийся в строгих черных переплетах как раз в издательстве «Лимбус-Пресс» в серии «Мастер» (это слово высечено на золотом поле), уверял меня однажды, что беседовал с издателем по поводу Горенштейна, ходатайствовал за него, но тот, якобы, твердил: если издам, то не продам. Я с изумлением слушала писателя, чья проза не то что массовому, но и «узкому» читателю явно не по зубам. И, надо же, издают... Говорю здесь не о качестве произведений, а о широте и, соответственно, покупательной способности целевой группы. Если уж говорить о чисто «конъюнктурной» стороне дела, такой немаловажной стороне в мире жаждущих, то книги Горенштейна продать легче. Подобно севильским рыночным торговцам времен Сервантеса, уверена, что романы Горенштейна – вполне рыночный «товар». Это, кстати, прекрасно понимает живущая в самом что ни на есть «горниле капитализма» и массовой культуры Нью-Йорке издательница Лариса Шенкер.

У меня есть дома роман «Место». Даже два экземпляра. Один подарил сам писатель. А второй не купила в магазине, а достала на рынке. Как и многие мои знакомые, я «доставала» роман «Место» на черном рынке, и когда спрашивала, не найдется ли случайно такая книга, продавцы-знатоки ностальгическим таинственным шепотом времен дефицита говорили мне: «Ишь чего захотели!», однако книгу все же добывали – за большие деньги<sup>140</sup>.

Иногда мне казалось, что Горенштейн сердится на свой роман «Место». Ценил его выше других, но опасался непонимания. Он, как я уже говорила, очень любил на чтениях выступать с отрывками из «Летит себе аэроплан» о Шагале. Публика с восторгом воспринимала юмор, яркие сценические эпизоды. Однажды Фридриха пригласили в Швейцарию на одно влиятельное чтение международного характера – там должно было выступать множество литературных знаменитостей. Он, как всегда, я бы сказала, – по привычке, как-то обреченно, решил:

– Буду читать из «Шагала».

– А почему, например, не из «Места»? – спросила я. Не хотите прочитать что-нибудь из «Места»? Пусть они услышат, что есть такой роман!

– Ну... «Место»... «Место» не так понимают.

– Кому надо поймут, а не поймут, и ладно – зато обязательно почувствуют. Ведь существует же ткань произведения, ко-



**Последнее чтение Горенштейна. Он читает отрывок о голоде на Украине из романа «Полутчик», а Мила Полянская - сцену подъезда к Бердичеву.**



**На вечере, посвященном Пушкину, устроенном М.Полянской в еврейском благотворительном обществе. Ф.Горенштейн беседует с композитором Мариной Кругоярской**

торая действует сама по себе, непостижимым образом. Я даже знаю, какой отрывок надо в Швейцарии читать, чтобы почувствовали.

– Какой отрывок? – Лицо оживилось. Появился интерес.

Я взяла с полки книгу, открыла на самых последних страницах и начала читать вслух со слов: «Я глянул на этого человека и вдруг понял, что шло со мной рядом в ушаночке Ленторга и современном ширпотребовском пальто. Это было Оно, народное Недовольство, то самое, что раньше носило армяки, кафтаны, поддевки и картузы...»

Я читала. Фридрих не останавливался. И так мне пришлось продекламировать две страницы, которые Фридрих прекрасно помнил, но слушал внимательно, как будто бы в первый раз, и даже – не побоюсь преувеличения – с трагическим выражением лица. Наконец, я прочла и заключительные строки: «И когда я заговорил, то почувствовал, что Бог дал мне речь». Наступила пауза. Затем Фридрих тихо сказал: «Положите, пожалуйста, туда закладочку». На швейцарском форуме он читал (разумеется, с переводчиком) именно этот и еще один отрывок из «Места» и стал «гвоздем» программы.

Российские театры относились к Горенштейну с гораздо большим доверием, чем российские издательства, и охотно ставили его пьесы.

Время от времени доходили слухи, что, вот, еще один периферийный театр в России ставит его пьесу (это были, в основном, пьесы на исторические темы), скрывая это от Горенштейна, чтобы не платить гонорара. Он порой делал вид, что сердится. Подобно тому, как Афанасий Иванович пугал Пульхерию Ивановну, что уйдет на войну, так же и Горенштейн вдруг заявлял, что уезжает, скажем, в Ярославль. «Как заявлюсь там в Ярославском театре...» На самом деле ему даже нравилось что Ярославский театр из-за финансовых затруднений вынужден идти на обман, чтобы поставить на своей сцене его пьесу.

А вот в отношениях с Александринским театром в Петербурге – даже и лиризм, и поэзия:

*«Уважаемый господин Горенштейн! Направляем Вам текст договора на постановку Вашей пьесы «Детубийца» в Александринском театре. Для нас большая честь, что столь глубокое и масштабное произведение, созданное в наши дни, появится в афише старейшего Российского театра, где состоялись премьеры почти всех произведений русской классики – от Сумарокова до Чехова. Весь коллектив театра вдохновлен этой принципиальной для нас работой. Участники спектакля кланяются Вам и благодарят за то, что им довелось рабо-*



*тать со столь интересным и волнующих многих материалом. Мы надеемся на наше дальнейшее сотрудничество и хотим, чтобы Вы знали, что двери Александринского театра всегда открыты для Вас и для Ваших новых произведений. Мы постарались максимально (насколько сегодня позволяет финансовое положение нашего театра) учесть Ваши интересы. Очень прошу Вас сообщить Ваш адрес и реквизиты банка, на который будет перечисляться Ваш гонорар...*

*С глубоким уважением, директор театра Г. А. Сащенко, зам. дир. по научно-лит. части Чепуров Александр Анатольевич»<sup>141</sup>*

А вот ответ Фридриха на послание Александринки:

*«Директору театра Георгию Александровичу Сащенко, Заместителю директора по научной и литературной части Александру Анатольевичу Чепурову, режиссеру Александру Владимировичу Галибину и всем Александринцам.*

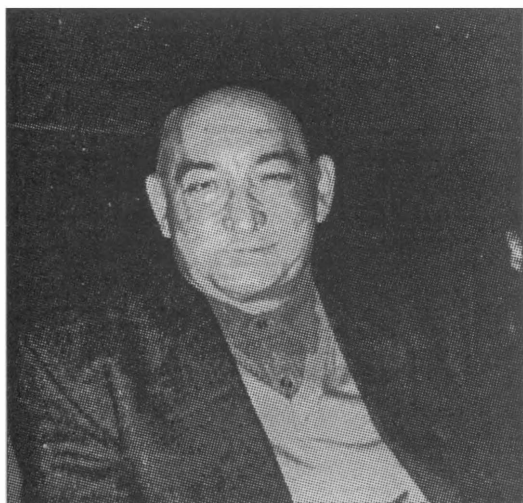
*Уважаемые дамы и господа! С радостью, верой и вдохновением ожидаю премьеры моей пьесы о Петре Первом в вашем чудном городе Петра и в вашем чудном Александринском театре, который издавна был домом для святых имен русской и мировой культуры. Замечательно сказал о Петре Первом Герцен: «Он разорвал покров таинственности, окутывающий царскую особу и с отвращением отбросил от себя византийские обноски. Петр I предстает перед своим народом словно простой смертный! Петр Великий был первой свободной личностью в России».*

*Эти герценовские мысли очень близки пушкинскому взгляду на Петра – государя-революционера. В своей работе я старался следовать именно такому пониманию Петра – детоубийцы. Жестокость сыноубийства – трагический протест мертвому духу и мертвым душам российской истории.*

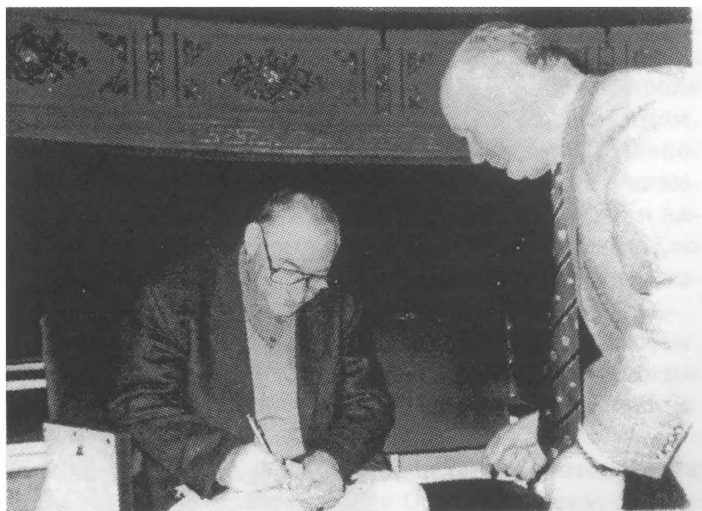
*Такого Петра – медного и телесного – хотел бы я увидеть на сцене и буду молиться за наш общий успех.*

*Фридрих Горенштейн».*

В 20-х числах декабря 2001 года, за два месяца до смерти, Горенштейн был в Малом театре в Москве, на премьере спектакля «Царь Петр и Алексей», также поставленного по его пьесе «Детоубийца». Брат Натальи Дамм (о ней расскажу ниже) Виктор Тягунов, тот самый, который хлопотал потом в Москве об архиве Горенштейна (об этом тоже ниже), сфотографировал тогда в театре Горенштейна. Это последние фотографии писателя.



Последняя фотография Горенштейна, сделанная в Москве на премьере его пьесы «Детубийца»



В Малом театре на премьере спектакля «Царь Петр и Алексей», поставленный по пьесе «Детубийца»



В гостях у Мины  
Полянской  
грузинский актер  
Рамац  
Чхиквадзе и  
Горенштейн



Фридрих произносит над селедкой «Габель-бие»



Справа налево:  
Режиссер Александр  
Яхнис, Горенштейн,  
Мина Полянская и Оля,  
ее невестка

## 11. «ЛУКОВИЦА ГОРЕНШТЕЙНА»

Так случилось, что в 1964 году я не прочитала «Дома с башенкой». Может, была еще очень молода? Хотя нет же. Напичканная всемирной классикой, французскими и английскими романами, влюбленная в Диккенса, Гюго, Скотта и во всех остальных старых романистов, я все же втянулась в водоворот событий и восторгов хрущевской перестройки. Разумеется, и Солженицына, и Бродского читала и, как все, восхищалась. И даже побывала (как все) у гроба Ахматовой 10 марта 1966 года – меня, ошарашенную, потащили туда на похороны однокурсницы. Помню, что в первых рядах была Таня Латаева, очень трогательная «литературная» девочка, она держала меня за руку, объясняя, как это важно и судьбоносно. Она была права – это было поистине судьбоносно.

Когда же Владимир Георгиевич Маранцман повез нас всех в Ясную Поляну к могиле Толстого, то уже я вынуждена была держать Таню Латаеву за руку: с ней случилось что-то вроде шока – могила Толстого без памятника со свежим холмиком, поросшим молодой травой, производила впечатление недавнего захоронения. Вид скромного могильного холмика удивительным образом «придвинул» к нам Толстого. Все эти вехи нашей молодости западали в душу, оставляли след навсегда, но только вряд ли подготавливали нас к полной катаклизмов жизни в будущем.

А «Дома с башенкой» нет в моей литературной молодости. Между тем, «передовая» молодежь, которая была немногим старше нас, прочитала рассказ с большим вниманием. И запомнила его навсегда.

Театральный режиссер, ленинградец Борис Ротенштейн (он сейчас ставит в барселонской Фойе Олби, Ионеску, Гибсона, Пинтера, Мрожека на испанском и каталонском языках) помнит талантливой памятью свое впечатление от рассказа. Когда мы однажды с Ротенштейном зашли к Горенштейну, он рассказал писателю о своем потрясении от рассказа и о том, как всю остальную жизнь он помнил его и недоумевал, как же

автор такого уровня мгновенно исчез из литературной жизни. «Именно в «Юности», – говорил он, – возникали тогда новые имена. Там мы познакомились с молодыми Борисом Балтером, Василием Аксеновым, Анатолием Гладилиным. Остальные – толстые журналы – отставали от «Юности», запаздывали. Помню фотографию достаточно еще молодого человека, и на левой стороне разворота картинку в пол-листа с укутанным в зимнюю одежду мальчиком, и рядом – текст. Рассказ не соответствовал фотографии молодого автора с незнакомой фамилией. Это был по существу рассказ взрослого, зрелого, сформировавшегося писателя, который сразу засел в памяти как тот, от которого надо что-то ожидать. Я хочу читать, что он еще напишет. Шли годы, иногда я вспоминал рассказ и думал: «А вот этот, который написал тот рассказ – где он?» Понятно, Дудинцев – первая ласточка свободы – опубликовавший в 1957 году в «Новом мире» роман «Не хлебом единым», исчез, потому что произошел политический скандал. Этот же автор исчез тихо. Спустя много лет я, наконец, увидел его фамилию в титрах фильма Тарковского «Солярис» и подумал: «Ну, наконец, вот он!»

Сейчас я думаю: как тяжело было слушать это Горенштейну. Ротенштейн (Горенштейна забавляло созвучие фамилий) прочитал одну из сцен из «Хроник времен Ивана Грозного», опубликованную в нашем журнале (она называлась «На крестцах»<sup>142</sup>) и этим окончательно покорила писателя. Помню, как они развеселились и рассказывали анекдоты. И Горенштейн согласился прочесть что-то из своих бурлесков, которые он читал разухабисто, хулиганисто – «Выступление ветерана Октябрьской революции перед комсомольцами»:

*С утра начались беспорядки  
Бегут и кричат «караул!»  
Какой-то на серой лошадке  
По виду казак-есаул  
Скомандовал – «шашки»!  
У Сашки скатилась с плеч голова.  
Его хоронила с почетом  
Рабочая наша братва.*

*«Пугнуть бы надо буржуев  
Да так, чтоб наклали в штаны, –  
Сказал Митрофан Чугуев,  
Калека японской войны.*

*Мы водкой беду заглушали  
С рабочих придя похорон,  
Однако мутил сознание  
Хитрец меньшевик Арон.*

*Но в час роковой невзгоды  
Попал меньшевик в капкан.  
Его заменил на заводе  
Рабочий партиец Иван.*

*Когда пулеметы пропели  
С народной мечтой в унисон,  
Расстрелян был на рассвете  
Хитрец, меньшевик Арон.*

*Младший браток пулемета –  
Семизарядный наган  
В тридцатых годах поработал  
За дело рабоче-крестьян.*

*То было время героев,  
Подвиг и труд везде,  
В стахановских ли забоях,  
В забоях ли НКВД.*

*В бессонных своих подземельях  
Не мы нарушали закон,  
Как пишет там за кордоном  
Международный Арон.*

*Запомнил вражий затылок  
Закона советского сталь,  
Когда календарь революции  
Сменил Октябрь Февраль.*

*Идет юбилейная дата...  
Не помню какого числа...  
Мне воздуха не хватает...  
Октябрь... Пора, брат, пора...*

*Небо такое синее...  
Солнце...Открыть бы окно...  
Когда-то мы брали Зимний...  
Мне что-то в глазах темно...*

*Откройте, откройте пошире...  
Навстречу... Инфаркт... Пулемет...*

.....  
*В среду похоронили.  
Умер товарищ Федот.*

В коридоре прощались долго. Ротенштейн сказал: «Позвольте мне мысленно пожать вам руку!». А потом рассказал один из анекдотических сюжетов Раневской. Раневская идет по Дерибасовской, а навстречу ей – толстая одесская еврейка. Она узнает Раневскую, останавливается, протягивает к ней обе руки и кричит: «Стойте, вы – это она?» Раневская: «Ну, наверное, я – это она». Одесситка: «Позвольте мне мысленно пожать вам руку» – хватает Раневскую за руку и выворачивает ей ключицу». Фридрих в ответ рассказал анекдот об одессите с арбузом.

Ротенштейн сумел «разговорить» Горенштейна. Признаться, я редко видела Фридриха таким ненастороженным в присутствии нового лица.

А вот с моим приятелем, автором известной книги «Поэты пушкинского Петербурга» Владимиром Шубиным беседы не получилось. Однако под впечатлением встречи Шубин сразу же по возвращении в Мюнхен написал колоритный рассказ «Луковица Горенштейна». Привожу его здесь. При этом подчеркиваю: Шубин романа Горенштейна «Попутчики» с его «гоголевскими» сценами, с описанием заветнейших яств старинной фламандской живописью, а также с гимном украинскому салу, не читал.

Экскурс: рассказ Владимира Шубина «Луковица Горенштейна»:

«Вот, эти мудилы опять про меня ничего не сказали». Это была первая фраза после короткого «здравствуйте», брошенной в дверях с неопределенным жестом куда-то в сторону хозяином, похожим на отставного боцмана. «Это он на радио показывает, – предупредительно пояснила приведшая меня сюда приятельница, – он в это время обычно «Свободу» слушает». Хозяин, нужно сказать, имел отношение к литературе, причем к настоящей. Для меня он был живым классиком и, по моим банальным поэзиям, должен был бы блистать интеллигентской внешностью, красивым домашним пуловером в стиле академика Лихачева или халатом – «а`la Державин» и уж, без сомнения, – пронизательным взглядом, убедительными интонация-

ми и прочим, что полагается по чину. Но взору предстали видавшие виды брючки, тельняшка, блуждающая улыбочка... «А недавно заявили, – продолжал он на ходу раскатистым провинциальным говорком, – что в Москву один питерский театр привез три новых спектакля, из которых только один поставлен по пьесе современного автора – к сожалению, моей».

Пытаюсь вставить что-то сочувствующее, но большой человек в тельняшке меня не слышит: «А в Москве я был. Пропшелся по их магазинам книжным – на Арбате там и в других местах. Так ведь все лежат на полках: и Битов этот, и Радзинский, и Довлатов... Все, а меня не хотят издавать! Говорят, спрос маленький, тираж не окупится. А как же он большим будет, если читателю вместо меня других все время подсовывают». Снова пытаюсь что-то вставить: «Вы знаете, в перестройку, когда все крупные журналы уже напечатали Солженицына, вторым писателем, без которого они не могли обойтись, были вы...»

«Да... да... а вы в нашем городе по делам?» – неожиданный интерес к моей персоне. «Нет, я проездом, был в Белоруссии». – «Володя ездил на похороны своей мамы», – сочувственно поясняет Мина (так зовут мою приятельницу). «В Белоруссии? И как там?» – «Трудно, но основные продукты есть: рыба, мясо...» – «Свининка?» – «И свинина есть». – «Ох, на это они мастера! Умеют в Белоруссии со свининой работать: буженинку там, шейку...», – расплывается в мечтательной улыбке. Скопфуженная Мина снова пытается что-то сказать о моем горе, но я предпочитаю сменить тему...

Смотрю на Мину не с сожалением, а с восхищением – вот уже несколько лет она со своей семьей самоотверженно опекает этого совершенно одинокого, капризного человека. Вспоминаю рассказы, как ее муж ездил к классику вечерами после работы – закапывать капли в глаза его больному коту... И еще думаю о его книгах, и о том, что среди пишущих он один из немногих, кто посвящен в тайну искусства.

Мина переводит разговор на Пушкина, она уже давно дружит с классиком, посвящена в его планы и знает, что эта тема его волнует. Он признается, что действительно хотел бы написать о поэте, что все, что он читал – не то или не совсем то. Пытаюсь расспросить подробнее, привожу в пример Тынянова, который – единственный – справился с этой темой в художественном жанре, но спровоцировать полемику ни с Тыняновым, ни с другими не удастся: хозяин, которого, кажется, эта тема задевает глубоко, не спешит откровенничать со случайным гостем – это тебе не про «сук» судачить. И все же что-то прорывается: он говорит, что хочет писать (не о Пушкине, а вообще) без оглядки на любые ограничения – будь то авторитеты или нор-



мы приличия языка, «хочется высказать все, что накипело и так, как я хочу».

«А вы такую Ларису Щ. в Мюнхене знаете?» – снова вопрос ко мне. «Мы с ней даже дружны». – «Что-то давно она не пишет, обиделась, может быть... Надо бы ей что-нибудь послать. А что? У меня же и книг-то нет. Не издают!» Через несколько минут слышу из другой комнаты: «Ну совсем ничего нет, эта у нее есть, эту я ей не пошлю...»

Классик возвращается с пустыми руками, что-то бормочет, перемещается в кухню напротив нас. Он хорошо виден мне в открытую дверь, остановившийся перед подвешенной связкой могучих красных луковиц. «Луковицу же не пошлешь...» – ухмыляется он. «Если бы украинскую, – пытаюсь иронизировать, – то можно бы смело, Лариса ведь киевлянка и была бы просто счастлива. А то разве тут лук?!» – «Да какой тут лук! А эта крымская! Самая что ни на есть крымская! – классик просто в лице изменился. – Правда возьмете? Я тогда записочку быстро напишу». И снова из другой комнаты: «А слово интеллигенция с одним «л»? Что-то я запутался, а словарь не найду...»

Вот, думаю, не зря они так активно переписываются<sup>143</sup>: литература литературой, но непревзойденная украинская снедь тоже не хухры-мухры себе... И понять это могут только истинно вкусившие. И Гоголю, без сомнений, было бы о чем с ними поговорить, кроме литературы. А какой-нибудь заштатный питерский интеллигентик, хоть и восхищаться начнет, а все равно своим не станет – в этом братстве поверхностность не пройдет, это вам не Пенклуб.

В общем, завернул эту луковицу в тряпочку и везу в поезде как чужую доверенную мне святыню. Но Ларису этот внелитературный жест классика насторожил: «И на кой черт она мне сдалась? Ну и что, что крымская? Да я сама скоро в Киев поеду». Потом, немного подумав (разговор был уже в Мюнхене по телефону): «Нет, пожалуй, везите, я на нее хоть посмотрю, когда еще до Киева-то доберусь... да и классика поблагодарить надо, написать, какая она замечательная. А потом, если хотите, можете ее домой забрать. Хоть настоящего луку попробуете».

Мы съели эту луковицу с моим другом Кириллом, поминая мою маму на девятый день ее смерти. С незатейливой закуской из ближайшего Пенни-маркта она хорошо пошла под прихваченную мной белорусскую водку.

P.S. Спустя года два, незадолго перед смертью классика, я перечитал несколько его произведений, в том числе и его гениальный роман<sup>144</sup>, и снова и снова удивился этой вещи, которая

опрокидывает наши краугольные представления о разделении добра и зла, заменяя их каким-то новым замесом, у которого даже не знаю откуда ноги растут, но которому веришь без оглядки. А мимолетное личное знакомство внесло еще и новое удивление – как этому внешне простоватому, затравленному, обиженному на весь мир и капризному человеку удалось внять и «неба содроганье, И горний ангелов полет, И гад морских подводный ход, И дольней лозы прозябанье»...

Рассказ Шубина нуждается в моем комментарии. Дело в том, что Шубин работал когда-то ответственным секретарем журнала «Искусство Ленинграда», в котором однажды был помещен оскорбительно карикатурный портрет Горенштейна. Тогда в номере была опубликована его статья «Розовый дым над «классовым» пейзажем (к истории загрязнения культурной среды России)». К оформлению этого номера Шубин никакого отношения не имел. Виноват был ответственный за дизайн В.Г. Перц, также и мой бывший коллега.

Передо мной лежит восьмой номер журнала «Искусство Ленинграда» за 1991 год, раскрытый на той самой злополучной странице. Слева – явно нарочно искаженный художником-оформителем – в «Искусстве Ленинграда» недостатка в «талантах» не было – портрет. Лицо сатира, в морщинах, с ввалившимся беззубым смеющимся ртом и подпись: «Фридрих Горенштейн». Горенштейн всегда помнил об этом портрете и не раз спрашивал меня: «А зачем они это сделали?». Устроители этого «мероприятия», как водится, не читали его романов. Трехтомник Горенштейна вышел в свет год спустя, после чего, впрочем, русское общество не предложило писателю ни понимания, ни признания. Я это к тому, что существует признание общества и без понимания. Разумеется, во время встречи с Шубиным он тот портрет «держал в уме», и никакое мое заступничество – рассказ о «Поэтах пушкинского Петербурга», книге, которую Бродский всегда носил с собой в кармане, поскольку «без нее никак нельзя, она необходима» – не смогло снять напряжения. Шубин подарил тогда Горенштейну эту книгу с дарственной.

Роман Горенштейна «Попутчики» (1995) был издан на русском языке в Лозанне крошечным тиражом, мало кто его читал. Пользуюсь случаем, чтобы процитировать «гимн» украинскому салу, который непостижимым образом соответствует рассказу Шубина с его крымским, украинским и прочим луком:

«Я убежден в том, что украинское сало – лучшее в мире. Это одна из тех немногих истин, в которых я твердо убежден. Сама Гуменючка, насколько я помню, родом из Винницы и потому она владеет высшим секретом салосоления. Ибо, если украинское сало лучшее в мире, то винницкое – лучшее среди украинского, а Тульчинский район, откуда Гуменючка, лучший по салосолению на Винничине. Если когда-нибудь состоится международный конгресс по солению сала, а такой конгресс был бы гораздо полезней глупой и подлой болтовни нынешних многочисленных международных конгрессов, если б такой конгресс в поумневшем мире состоялся, то его следовало бы проводить не в Париже, а в Тульчине, Винницкой области. И конечно же делегатом от демократической Украины на этом конгрессе должна была быть Гуменючка. Я ее помню, лицо с красными щечками, доброе и туповатое, а руки умные. Попробуйте сала, созданного этими руками, и вам в хмельном приступе благодарности захочется эти сухие руки старой украинки поцеловать, как хочется иногда поцеловать руки Толстого или Гоголя, читая наиболее удачные страницы, ими созданные. Писатель ведь пишет двумя руками, гусиное перо или самописка конечно в одной, но обе одинаково напряжены, как у старой Гуменючки при ее великом салосолении».

## 12. ГОРОД МЕЧТЫ И ОБМАНА

---

Горенштейн с интересом относился к моим творческим изысканиям в области «гения места» – *Genius loci*<sup>145</sup>. Любой ландшафт обладает особой стихией, собственной духовностью. Что же касается города, в котором жили и творили поэты, то даже если он исчезнет, останется духовная субстанция, и теплый светлый ветер будет шелестеть стихами. Трудно увидеть в современности былое, понять язык города и вступить с ним в беседу. Провидение хранит приметы духовной культуры – архитектурные сооружения, памятники, и они, эти городские знаки давно ушедших времен, словно сотканые стихийным воспоминанием, связывают нас с нашим бытием.

Мы часто беседовали с писателем о топографии романа «Преступление и наказание», об образе Петербурга в творчестве Пушкина, Достоевского, Блока, Ахматовой и других. Наконец, о роли топографии Киева и Москвы в романе «Место». Например, я заметила, что герой романа Гоша Цвибышев накануне своих «наполеоновских» грандиозных начинаний рассматривает южный город с высокой точки, чувствуя себя как бы вознесшимся над суетой городской жизни точно так же, как в романе «Война и мир» Наполеон пытался охватить взглядом панораму Москвы, стоя на Поклонной горе.

Опять же, вспоминала я пьесу «Бердичев» – неповторимый гимн городу юности писателя. В одной из наших бесед я вспомнила и последние страницы романа «Место», посвященные Петербургу: «XX веку так и не удалось покорить этот город, и когда посмотришь из окна на его вид, на его знаменитые и не знаменитые, но столь строгие строения, то создается впечатление, что нынешнее поколение здесь не господствует, как в Москве и иных городах, а лишь присутствует, проходя мимо, чтоб лет через пятьдесят исчезнуть в небытие». Фридрих, незаметно для себя, вскоре тоже увлекся берлинским «гением места» и настолько «включился» в работу, что стал охотно ездить с нами по городу, разыскивая те или иные памятные адреса. Любо-

пытна была его реакция на надпись на надгробии Генриха фон Клейста.

Гибель Клейста можно было бы назвать «берлинской трагедией», так как вряд ли в истории литературы найдется сюжетная аналогия этой драмы. Кажется, что Клейст стал жертвой собственного романтического идеала, что он случайно оступился и перешагнул невидимую грань, отделяющую реальность от литературной фантазии. Романтик избрал место для своей гибели, следуя своему художественному принципу – это был один из самых живописных уголков в окрестности Берлина, казалось бы, повторяющий знаменитые пейзажи Клода Лорена. В уединении меланхолического парка с видом на озеро Ванзее поэт, по соглашению с любимой женщиной Генриеттой Фогель, застрелил ее, а затем себя. На месте самоубийства оба были похоронены поздно вечером, в темноте, 22 ноября 1811 года. Однако на памятнике было высечено только имя поэта. Горенштейн возмутился: «Почему немцы не написали, что Генриетта Фогель здесь с Клейстом похоронена. Какое безобразие! Она ведь человек!» Кажется, что эти его слова на могиле Клейста были услышаны: в ноябре 2002 года берлинским Сенатом было принято решение высечь рядом с именем великого поэта имя Генриетты Фогель, возлюбленной Генриха фон Клейста в последний год его жизни.

Как оказалось, Горенштейн очень хорошо знал город, хотя вряд ли проникся к нему настоящей любовью, и кажется, что Берлин так и остался городом, который приснился герою рассказа «Последнее лето на Волге», городом со странным названием Чимололе, городом мечты и обмана. Да, полно! Существует ли этот город на самом деле?

Наступает вечер, и Фридрих выходит на балкон. Улица как всегда немногочлюдна и кажется, что она превращает в тени редких прохожих, а тени превращаются в людей. Вот и хорошо, вот и прекрасно: беспокойный ночной город «падает на душу», как сказал бы Андрей Белый, и мучает ее «жестокосердной праздной мозговой игрой». Пожалуй, и одинокому русскому писателю здесь достаточно места для творчества, поскольку город сей – «заколдованное место» не только для походов героев Гофмана.

Позади Киев, Москва, о которых он писал когда-то много. Судьба занесла его в Берлин. Что ж, Берлин, так Берлин.

В двадцатые годы «русский Берлин» располагался в основном в районе между Прагерплатц и Ноллендорфплатц, то есть практически там, где жил Горенштейн. На этом сравнительно небольшом пространстве находились многочисленные русские издательства, парикмахерские, книжные, галантерейные и

продовольственные магазины. Тогда повсюду в Европе, где собиралось сколько-нибудь значительное число русских эмигрантов и, прежде всего в Берлине, возникали русские газеты и журналы, печатались альманахи и книги (количество русских издательств в Берлине достигло немислимой цифры – 87), которые тут же, на прилавках магазинов (не только книжных) и продавались. Едва ли можно назвать какого-либо известного русского, который не появился бы в то время хотя бы раз в Берлине<sup>146</sup>.

Здесь можно было купить эмигрантские газеты различных политических оттенков – кадетскую ежедневную газету „Руль“ или же эсеровские „Дни“, монархическую газету „Грядущая Россия“, просоветскую „Новый мир“, а также ориентированную на советскую Россию „Накануне“. В Берлине издавалось большое количество русских журналов, свидетельствующих об интенсивной идейной и духовной жизни эмигрантов. Это были: „Эпопея“ Андрея Белого, „Новая русская книга“ под редакцией А. С. Яценко, „Беседа“, основанная по инициативе М. Горького<sup>147</sup>.

Обилие всевозможных русских заведений, как будто бы обособленных, отгороженных от остального мира в самом центре Берлина, создавало особый городской колорит и должно было, по всей вероятности, производить на коренных берлинцев впечатление гофмановской фантазмагории. Причем, как отмечал В. Набоков, эмигранты, находясь в этом вольном зарубежье «в вещественной нищете и духовной неге», как будто бы и не замечали проходящих мимо берлинцев. В романе «Другие берега» Набоков называл коренных жителей Берлина туземцами и «призрачными иностранцами», в чьих городах русским изгнанникам «доводилось физически существовать».

«Все это было пока еще далеко от «государства в государстве», – вспоминал редактор газеты «Руль» И. В. Гессен, – но навязывалось сравнение с опытом, который был показан в гимназии преподавателем физики и произвел впечатление замечательного фокуса: опущенное в чуждую ему жидкость масло собиралось в шарик и в таком виде независимо держалось».

Какова же была ситуация с «русским Берлином» в начале 80-х годов, когда в том же районе – между Прагерплатц и Ноллендорфплатц – поселился Горенштейн? Он писал:

«Я тогда, в первые свои эмигрантские годы, много публиковался в «Континенте» у В. Максимова, так же, как и в журнале «Время и мы» у В.Перельмана...

Ныне, когда эмиграция по сути перешла в эвакуацию, даже самые мелкие общины ведущей русскоязычной нации имеют свои газеты, где-то тиражом в 150 -200 экземпляров, не говоря

уже об органах общеберлинской, общенемецкой русскоязычной печати, таких, как «Европацентр» (о качестве газет ничего сказать не могу – я их не читаю. В данном случае речь идет о количестве). А тогда количество было равно нулю»<sup>148</sup>.

В самом деле, только к середине 90-х годов русская эмиграция в Германии достигла «критической массы», что ознаменовалось появлением множества газет, журналов, литературных альманахов на русском языке. Горенштейн никогда в русскоязычных немецких газетах не публиковался и вообще мало обращал на них внимания. Некоторым газетам с большими амбициями это не нравилось. Так, газета «Русский Берлин», вероятно, для привлечения к себе внимания, затеяла в 1998 году скандал на своих страницах, оскорбляя писателя. Он, якобы, в одном своем интервью газете „Berliner Zeitung“ очернил еврейскую эмиграцию, заявив, что многие приехали в Германию с фальшивыми документами. И вот, «Русский Берлин» обвинил Горенштейна, который «неизвестно по какой линии» приехал в Германию, в антисемитизме, «защищая» честь еврейских эмигрантов. Ответ «защитникам» состоялся в «Зеркале Загадок». Горенштейн писал: *«При Холокосте отдельные праведники, такие, как Корчак и иные, шли вместе с евреями в газовые камеры. Подобных праведников было очень мало. Во много раз больше тех, кто вместе с евреями идет сейчас к немецким кассам, гораздо, кстати, более скупно отпускаящим евреям немецкие деньги, чем раньше отпускали евреям немецкий газ в газовых камерах. Вот к этим-то скупым компенсациям за прежние массовые удушения и убийства пристраиваются мошенники»*<sup>149</sup>.

О редакторе «Русского Берлина» Горенштейн написал:

*«Итак, господин редактор обвинил меня в том, что я получаю социальную помощь и к тому же еще и подрабатываю с помощью интервью, то есть обманываю немецкого благодетеля. Я к социалу никакого отношения не имею, живу на свои литературные гонорары и на литстипендии, которые время от времени получаю. Однако, если бы имел, какое «господину редактору» до этого дело? Я ведь не спрашиваю, какие отношения у «господина редактора», его родственников и его читательско-писательского коллектива с социалом. Тем более, деньги не мои. Очевидно, «господин редактор» вообразил себя членом Юденрата или евреем при губернаторе. Была такая должность в царской России – информировала хозяев, кто есть кто»*<sup>150</sup>.

Горенштейн рассказывал любопытные берлинские сюжеты. Заметив мой интерес к берлинскому колориту двадцатых годов, он заверил меня, что в его будущей пьесе о Гитлере берлинских реалий намечается много. Пьесу о Гитлере, о которой я расскажу в предпоследней главе книги, он не успел написать. Я же предлагаю здесь читателю свои заметки о берлинских страницах романа Горенштейна о Марке Шагале.

«Экскурс: По берлинским страницам романа Фридриха Горенштейна «Летит себе аэроплан».

Роман с подзаголовком – «Свободная фантазия по мотивам и жизни и творчества Марка Шагала» написан в Берлине на Эксиспештрассе. Этот роман, как я уже упоминала, трижды издавался на немецком языке, а на русском вышел в издательстве «Слово» в Нью-Йорке.

Главный герой, Шагал, дважды побывал в Берлине. Впервые он приехал сюда с выставкой своих картин накануне первой мировой войны. Это была первая его выставка. В книге «Моя жизнь» художник не останавливается подробно на этом немаловажном эпизоде своей творческой биографии. Горенштейн же, напротив, рассказывает подробно об этом факте – с момента прибытия на берлинский вокзал, где уже нагнетена атмосфера надвигающейся катастрофы: «Серый берлинский вокзал содрогался от многолюдного топота. Сплошным потоком шли мобилизованные солдаты». Организатор выставки, известный поэт-экспрессионист Рубинер, встречающий его на перроне, не советует художнику возвращаться в Россию, куда он собирался на три месяца. «Три месяца, – усмехнулся Рубинер. – Кто знает, что будет через три месяца. Похоже, Европа вступает в войну, безумие возобладало. Значит, безумие возобладало внутри нас. У Рихарда Демеля в поэме «Два человека» сказано: «Я так един со своим миром, что без моей воли ни один воробей не упадет с крыши».

Выставка Шагала проходила в редакции газеты «Штурм», и на открытии ее вечером собралось много народа. «Пили, курили, читали стихи. Но в передней было тихо, и какой-то молодой человек говорил другому: «Всюду еврейское влияние. Все галереи в Берлине заняты евреями». Рубинер в это время читал стихи о том, как «огненный зонтик неба раскрылся над головой», и в это время за окном раздался грохот. «По Потсдамерштрассе двигалась артиллерия. Сытые огромные лошади тащили орудия, на солдатах были тяжелые каски.



«Цивилизация кончается, – сказал Вальден, держа в руке стакан коньяка, – разум больше не пригоден для жизни, надо жить интуицией».

В то самое время, когда состоялось открытие выставки Шагала в редакции «Штурма», в другой галерее на Байеришер-платц, принадлежащей члену «Антисемитской партии» Беклю, открывалось партийное собрание. Было много речей, торжественных и официальных, во славу чистоты немецкой нации. Некий профессор Венской академии сказал:

«Посмотрите на эти картины, господа. В них духи, близкие к природе, к земле. В них хранится старая вещность немецкого истинного натурализма...». Среди висевших картин была и акварель молодого мюнхенского художника Адольфа Гитлера.

Так накануне первой мировой войны в галерее на Байеришер-платц внезапно возникла тень, брошенная в будущее – предзнаменование другой мировой войны – второй по счету у «века-убийцы», как говорил Горенштейн, или, как еще раньше сказал Мандельштам, «века-волкодава».

Шовинистская экзальтация, захлестывающая Германию, охватила и общественный транспорт. Так, за недостаточно проявленный словесный патриотизм Рубинер и Шагал были выдворены пассажирами из трамвая. Пассажиры, кондуктор, а также вагонновожатый, вставшие в состояние коллективного экстаза, хором запели: «Ин дер хаймат, ин дер хаймат, да гибтс айн видерзейн...». «Поющий трамвай унесся», – пишет Горенштейн, и эта авторская ремарка также становится тенью, брошенной в будущее. «Поющий трамвай» превращается в символ, неотвратимое знамение монолитного коллектива, фундамента, на котором будет стоять грядущая диктатура.

Во второй раз Шагал со своей семьей уезжал в Берлин из России уже в качестве эмигранта, разделив участь сотен тысяч людей, изгнанных революцией на «смену вех». В поезде Шагал вновь стал жертвой коллективного пения. Он робко пытался утихомирить громогласный хор, сказав, что у него маленький ребенок. «У нас в Германии свои порядки, – сказал кондуктор, – мы не можем приспособливаться к иностранцам. – И, проходя мимо веселой компании, подхватил припев:

– Хеу-о, Реу-о, Реуо-Реуо-Реуо.

– За дух военного товарищества, – сказал толстый мужчина и поднял откупоренную банку с пивом. – Скоро все станет иначе. Возродить Германию могут только рабочие. Немецкий социализм ...».

Затем последовали события, напоминающие сцену с коллективным пением в рассказе Набокова «Облако, озеро, баш-

ня». У Набокова русский эмигрант Василий Иванович выиграл в Берлине увеселительную поездку. Однако уже в поезде выяснилось, что любоваться красотами природы ему не придется, поскольку участникам мероприятия были выданы нотные листки со стихами и было необходимо петь хором:

*Распротись с пустой тревогой,  
Палку толстую возьми  
И шагай большой дорогой  
Вместе с добрыми людьми.*

*По холмам страны родимой  
Вместе с добрыми людьми,  
Без тревоги нелюдимой,  
Без сомнений, черт возьми.*

*Километр за километром  
Ми-ре-до и до-ре-ми  
Вместе с солнцем, вместе с ветром,  
Вместе с добрыми людьми.*

История путешествия Василия Ивановича завершилась печально. За недостаточно проявленную активность в коллективном отдыхе он был жестоко избит. «Как только сели в вагон и поезд двинулся, его начали избивать, – били долго и изощренно».

В случае с Шагалом обошлось без рукоприкладства – шел ещё только 1922 год. Один из пассажиров, некто с большими кайзеровскими усами, всего лишь отнял у Шагала книгу (это был томик стихов Тютчева) и выбросил в окно.

« – Зинген, -сказал он пьяно, – ин Дойчланд але зинген дойче лидер.

– Я не умею петь немецкие песни, – сказал Шагал, стараясь глядеть мимо угрожающих пьяных глаз.

– Но так ты можешь, юде. – И он пропел бессмысленный припев.

– Його, Цо-го, – запинаясь, повторил Шагал.

– Гут, хорошо ты это делаешь! – засмеялся усатый. (...)

– Скоро мы всем покажем нашу силу, – говорил толстый, – и французам, и евреям, и капиталистам, и шиберам. В Мюнхене в «Альтен Розенбаум» на Хорренштрассе я слышал оратора Адольфа Гитлера. Он сказал: – «Долой засилье процентного рабства и еврейского капитала».

Между тем, в Берлине Шагала ожидали полотна, оставленные еще после выставки 1914 года, и, кроме того, он надеялся на поддержку берлинского друга Рубинера. Однако на вокзале «Ам Цоо», куда поезд прибыл рано утром, среди встречающих Рубинера не оказалось. Он умер незадолго до приезда Шагала. Вместо Рубинера на вокзал пришел Вальден и заявил, что не может понять, как можно променять революционную Россию на «мещанскую Европу». Этим же вечером Шагал с Вальденом оказываются в популярном в среде художественно-артистической берлинской богемы «Романише кафе», которое находилось на центральной улице Берлина Курфюрстердаме, недалеко от Виттенбергплатц. Атмосфера кафе была типична для артистической среды того времени: «В «Романише кафе» певец и певица, оба в черных фраках и цилиндрах, пели модный шлягер «Шварце Сония». За столиками сидели мужчины и женщины богемного вида. Трудно было понять, кто из них писатель или художник, а кто просто спекулянт или проститутка».

Вальден сообщает, что несколько дней назад он сидел в этом кафе с Маяковским, который, в отличие от Шагала, не собирается покидать Россию. «Именно Москва указывает нам, берлинцам, истинный путь. Маяковский ощутил это...

Маяковский написал: «Сквозь вильгельмов пролет Бранденбургских ворот пройдут берлинские рабочие, выигравшие битву. Рабочий Берлин протягивает Москве руки».

Шагал пытается возражать, он говорит, что не любит шума и криков, митингов и людей, управляющих искусством. «Они требуют себе в распоряжение весь мир, я же мечтаю о какой-нибудь комнатухе в Париже, где можно было бы поставить стол, кровать, мольберт». Шагал мечтает об устойчивости, однако ему предстоит еще долгий путь скитаний и лишений в Европе апокалептического века.

В 1993 году Горенштейн в уютной своей квартире на Экспештрассе написал повесть «Последнее лето на Волге», которая опрокинула разом концепцию о долгожданном покое собственника, владеющего десятью парами хорошей обуви и четырьмя английскими пиджаками.

Одной «черной волжской ночью» во время путешествия на катере герою повести приснился сон о «манящей за границе». Он оказался в неведомом городе со странным названием Чимололе. «Несуществующий заграничный город» был полон сытого довольства и благополучия. И несмотря на то, что Чимололе, вследствие сна, был невесомым, лишенным конкретности, захотелось уйти в это небытие, настолько мучительно было суще-

ствовать в реальном мире. «Где ты, Чимололе», – воскликнул герой.

Сон перешел вскоре в явь: после путешествия по Волге герой поселился в заграничной реальности-мечте – в Берлине, полном такого же изобилия, сытости и довольства, и, как ему показалось вначале, без мучительных русских вопросов и проблем. «Я иду в равнодушно-вежливой толпе, мимо до жути ярких витрин, мимо сидящей за столиками избалованной публики... Сытость и покой даже в ухоженных уличных деревьях». В Берлине жарко, герой выходит погулять и встречает немца-соседа. Всякий раз, завидев автора, сосед, по-видимому упражняясь в русском языке, заговаривает с ним, преподнося весьма любопытный набор слов, составляющий целый ряд «персонажей» русской драмы, а заодно и немецкое «клише» на тему «русский вопрос». «Водка... Тайга... Волга... Господин, прости... Братя Карамазов...»

Немец-сосед напоминает герою о том, что от русских проблем ему не удастся скрыться и в «манящей загранице». «А наши проблемы вросли нам в тело, наши проблемы вросли нам в мясо, и отодрать их можно только с мясом», – заключает он.

Герой повести сознает, что и здесь, в Берлине у него за спиной все та же всепоглощающая тайга, бесконечная Волга – «географический», как говорил Чаадаев, фактор России – и роман «Братя Карамазовы» с его софистическими кульбитами вокруг «последней истины», не достигающей, однако, и «краешка истины». Автор (герой) идет по вечернему Берлину, сворачивает с нарядной улицы, улицы мечты и обмана, к темной и безлюдной набережной канала, где древний хаос притаился на время, а само время отступило.

На берегу прохладней, и «прогуливается влажный, речной, совсем волжский ветер».

Здесь, у тихого берлинского канала с его осязаемыми волжскими ассоциациями, столь неожиданно примиряющими Запад и Восток, вдруг наступает долгожданный покой. «В такие благие минуты хочется верить в чудотворные силы, хочется верить, что рано или поздно тайны нашего спасения будут нам возвещены»<sup>151</sup>.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1 В свое время Лев Аннинский опубликовал статью о творчестве Горенштейна в журнале «Вопросы литературы» (1, 1992). Эта была, по сути дела, первая попытка серьезного анализа творчества писателя в русской критике. Аннинский опубликовал и в «Зеркале Загадок» критическую статью «Русско-немецкий счет» о творчестве Горенштейна (Зеркало Загадок, 7, Берлин, 1998).

2 Роману «Веревочная книга», еще не опубликованному, я посвятила отдельную главу во второй части книги. Горенштейн говорил, что уделил в романе своему отцу достаточное количество страниц.

3 Горенштейн не только вернул «неблагозвучную» фамилию отца (а также еще и имя Фридрих – мать назвала его для «конспирации» Феликсом) но позднее категорически отказался от литературного псевдонима. «В 1964 году при первой моей публикации рассказа «Дом с башенкой» в журнале «Юность» мне дали заполнить анкету автора, – вспоминал он. – Там был, естественно, пункт «фамилия, имя, отчество» и другой пункт – «псевдоним». Я знал, где нахожусь. Энтузиазм Маяковского «в мире жить без России, без Латвий единым человечьем общежитьем» давно разбился о быт. Я посидел минут пять и сделал в пункте «псевдоним» прочерк». Ф. Горенштейн, «Товарищу Маца – литературоведу и человеку, а также его потомкам», Зеркало Загадок, Литературное приложение, Берлин, 1997.

4 Ф. Горенштейн, Как я был шпионом ЦРУ, Зеркало Загадок, Берлин, 2000, 9.

5 Горенштейн был тогда членом жюри Московского кинофестиваля.

6 Горенштейн получал эту пенсию до самой смерти, и она была основным средством существования последних лет.

7 Пьеса «Бердичев» была впервые опубликована в 1980 году в Тель-Авиве в журнале «Время и мы».

8 Пьеса «Бердичев», написанная в 1975 году, имела тогда в театральных кругах Москвы не меньший успех, чем пьеса «Волемир» (1964), о которой скажу еще ниже. Марк Розовский во время чтения не смог ее дочитать – заплакал, и пьесу дочитывал сам автор. Виктор Топоров в некрологе Горенштейну – «Великий писатель, которого мы не заметили» («Известия», 12 марта 2002 года) назвал «Бердичев» одной из вершин творчества писателя. В свое время кинокритик Александр Свободин отмечал, что пьеса недостаточно оценена – она «превосходит то, что сделал Бабель в описании своих классических персонажей

еврейского быта». Сам же Горенштейн категорически отказывался от сравнений «Бердичева» с произведениями Бабеля, считая, что его «еврейская идея» находится «в другом измерении». Впрочем, приведу случай с Горенштейном во Франкфурте-на-Майне. Когда в одной галерее его спросили, «откуда у него такое имя – Фридрих», он ответил: «В России у меня было имя Исаак. Фамилия – Бабель. «Фридриха» купил за десять тысяч марок».

9 Впервые отрывок из романа «Попутчики» («Попутчик до Здолбунова») был опубликован в Нью-Йорке в журнале «Слово», полностью роман вышел небольшим тиражом в 1989 году в Лозанне.

10 Сохранился видеофильм, где я на последнем чтении Горенштейна осенью 2001 года в книжном магазине Нины Герхардт «Радуга» в Берлине читаю эту сцену, и писатель слушает и плачет буквально навзрыд.

11 Ф. Горенштейн, «Зима 53-го года».

12 Там же.

13 А. Берзер, «Сталин и лите­ратура», Звезда, №11, 1995. Вступительная статья редактора «Нового мира» тех лет Инны Борисовой. Анна Борисова была другом Фридриха Горенштейна.

14 Нахожу расхождения в воспоминаниях Инны Борисовой с рассказом самого Горенштейна об этих событиях в его эссе «Сто знацит?»: «Анна Самойловна Берзер, редактор отдела прозы «Нового мира», через головы членов редколлегии дала прямо Твардовскому рукопись неизвестного рязанского учителя Сол-женицына. «Я была уверена – Твардовскому понравится, – сказала она мне, – а вашу рукопись «Зима 53-го года» я дать не могла, не была уверена, понравится ли». (Твардовскому она не понравилась.) Самой Анне Самойловне рукопись нравилась, но некоторое время спустя она сказала, что разочаровалась во мне. Я критически отозвался о художественности сочинений Андрея Синявского, а Андрей Синявский был тогда для интеллигенции святым: жертва нашумевшего процесса. Прошло еще некоторое время, и при случайной встрече (я не встречаюсь с теми, кто во мне разочаровался) Анна Самойловна Берзер заявила, что должна извиниться передо мной: относительно Синявского я был прав – «отвратительная личность». (Я не о личности говорил.) Андрей Синявский в то время уже был в Париже, где купил дом, преподавал в Сорбонне и писал критические статьи в издаваемом им журнале «Синтаксис» об идеях Солженицына. Лет пятнадцать спустя, вновь приехав в Москву после долгого перерыва, я из-за занятости не позвонил Анне Самойловне, и потом мне сказали, что она обижается, почему

не позвонил, не встретился. Да, это моя вина, которой не куплю, поскольку вскоре Анна Самойловна умерла».

15 Из письма Ларисе Шиголь, 31 января 2001 года.

16 Дело в том, что Ольга Юргенс сделала несколько иллюстраций к роману «Место», и Горенштейн нашел в портрете Гоши сходство с собой, что считал неверным и в этом же письме писал ей: «Гошу Вам нужно еще искать. Вы слишком объединили его со мной. Но это не так. Ни внешне, ни внутренне, хоть какие-то сходства есть. Тем не менее, нельзя, объединять, например, Достоевского с Раскольниковым. Чисто визуально Гоша менее определен, чем я. Так же и внутренне. Недаром к нему тянется и черная сотня».

17 В настоящее время альбом находится у Дана, сына Горенштейна.

18 В начале 2000 года Савва Кулиш ставил документальный фильм о жертвах Холокоста и заехал к Фридриху для интервью и съемок. Горенштейн тогда рассказал ему о себе и показал альбом. Режиссер заснял каждую страницу.

19 Ф. Горенштейн, Как я был шпионом ЦРУ, Зеркало Загадок, 2000, 9.

20 Заявка на документальный фильм о Бабьем Яре (2001).

21 Герой Кафки по имени К. прибывает в качестве землемера в «Деревню», которая находится в ведомстве Замка, где располагается таинственный аппарат управления. Похоже, что произошла ошибка с назначением. А может быть, К. заблудился и пришел не в ту Деревню. По причинам юридическим ему не разрешено поселиться в Деревне, и в то же время у него нет пути обратно. Кафка не дописал роман, однако по свидетельству ближайшего его друга М. Брода, которому писатель рассказал конец произведения, К. так и не сумел добиться права жительства в Деревне. Однако же, когда он умирал, из Замка было спущено сообщение, согласно которому ему все же разрепалось остаться.

22 Необходимость сохранения за собой жизненно важного пространства – койко-места в общежитии Цвибышев разъясняет так: «Мое место в углу за платяным шкафом, моя железная койка с панцирной сеткой в этой шестикоечной комнате, среди грубых сожителей, означает для меня слишком много... Койко-место – это то, что закрепляет мою жизнь в общем определенном порядке жизни страны. Потеряв койко-место, я потеряю все». Таким образом жизненное пространство сужается до размера койки, на которой можно физически разместить свое тело.

23 «Я говорю так много о кошке, потому, что и она, бессловесная тварь, оказалась втянутой в события и сыграла роль в

моей судьбе. Однажды, когда я по обыкновению подошел и принялся ласкать ее, она вдруг подпрыгнула, вонзила мне зубы в пальцы, а когтями задних ног распоролла мне ладонь... Помимо боли меня терзала обида. Конечно, глупо обижаться на животных,.. но это была опытная старая кошка, и она знала, я верю в это, как надо вести себя, если без права хочешь прожить среди людей. За три года я не помню, чтобы она кого-нибудь укусила, хоть ее били, пинали, отнимали котят, таскали за хвост. «Значит и она ощутила мое бесправие», – думал я, лежа на койке» («Место»).

24 Роман «Летит себе аэроплан» по-русски опубликован в Нью-Йорке в издательстве «Слово/Word» в 2000 году.

25 Ф. Горенштейн, Как я был шпионом ЦРУ, Зеркало Загадок, 2000, 9.

26 Горенштейн говорил, что вряд ли в таких условиях мог бы писать дальше. Как знать? Набоковский роман «Дар» также был написан автором-скитальцем в библиотеке (Берлинской городской библиотеке).

27 Театральная жизнь, №1, 1997.

28 Помню, я шла, «шагала» по Иерусалиму под неподвижным, одинаковым уже в течение полугода белым солнцем, и напевала эти строки.

29 Ф. Горенштейн, «Место».

30 Вот почему, наверное, Горенштейн панически боялся компьютера. Он свято верил в особый контакт между автором и бумагой, на которой он пишет почему-то непременно синими чернилами (о чем он высказался вполне определенно в конце романа «Попутчики»). Образ компьютера и идея «благой вести» несовместны. К этой теме я вернусь еще в конце книги.

31 В обстановке «оттепели», роста кинопроизводства и развития телевидения, ВГИК с его ориентацией на выпускников средних школ и длительным пятилетним процессом обучения не мог уже справиться с подготовкой профессиональных кадров.

32 Директор курсов и Совет Высших сценарных курсов были утверждены 25 сентября 1960 г. Министерством культуры СССР.

33 До 1979 г. Курсы располагались в двух небольших комнатах в помещении Театра киноактера на ул.Воровского. В 1979 году ВКСР получили собственное помещение по Большому Тишинскому переулку, 12. Собственное общежитие (16-й этаж здания общежития ВГИКа) у Курсов тоже появилось в 1979 году. Первым директором Курсов был Михаил Борисович Маклярский, с 1972 года директор – Ирина Александровна Кокорева, с 1990 г. по 2001 г. – Людмила Владимировна Голуб-



кина. В июне 2001 г. директором Курсов назначен кинорежиссер Андрей Николаевич Герасимов.

34 Известный цветаевед Ирма Кудрова свидетельствует, что он был причастен и к трагическим довоенным «делам» Марины Цветаевой.

35 Ф. Горенштейн. Товарищу Маца.

36 Там же.

37 Там же.

38 Горенштейн, вспоминая «неудобную» фамилию Мандельштама и его стихи по этому поводу, писал: «Это какая улица? Улица Мандельштама? Что за фамилия чертова! Как ее не вывертывай – Криво звучит, а не прямо». Моя фамилия тоже звучала криво в стране майора Пронина... Произносили то Боринштейн, то Коринштейн. На слух путали, а в письменном изложении косились. Паспорт брали, «как ежа». (Товарищу Маца.)

39 Ф. Горенштейн, Товарищу Маца.

40 В 1966 году при содействии Александра Свободина пьесе «Волемир» удалось опубликовать в Праге на чешском языке в журнале «Дивadlo» (театр). Собственно, это была первая публикация драматургического произведения Горенштейна.

41 Ф. Горенштейн, «Сто значит?» Зеркало Загадок, 7, Берлин 1998.

42 Плутарх, «Биография Фемистокла».

43 Ф. Горенштейн, Как я был шпионом ЦРУ. Зеркало Загадок, 9, Берлин, 2000.

44 Виктор Топоров в некрологе Горенштейну «Великий писатель, которого мы не заметили» («Известия», 12 марта 2002 года) писал: «И в ход была пущена самая эффективная из групповых практик – практика замалчивания, если не остракизма. Индекс цитируемости Горенштейна в отечественной прессе непростительно ничтожен.... Получается, что ушел великий писатель, которого мы не заметили? Получается так. Получается, что ушел великий писатель, которого одни заметили, а другие замолчали. Сам Горенштейн сказал бы, что оба этих греха равновелики».

45 Из той же вступительной статьи Инны Борисовой.

46 Ф. Горенштейн. «Читая книгу Мины Полянской «Брак мой тайный...» в книге: Мина Полянская. Брак мой тайный... Марина Цветаева в Берлине», Москва, 2001.

47 Ф. Горенштейн. Место.

48 Октябрь, 2002, 9.

49 Ф. Горенштейн, Товарищу Маца, Зеркало Загадок, 1997, 5.

50 М. Розовский, «Ступени», Октябрь №9, 2002.

51 Ф. Горенштейн, Место.

52 Ф. Горенштейн, Товарищу Маца, Зеркало Загадок, 1997, 5.

53 Ф. Горенштейн, Как я был шпионом ЦРУ.

54 Зеркало Загадок, 1998, 7.

55 «Сто значит?», Зеркало Загадок, 1998, 7.

56 Писатель любил русские романсы, постоянно их напевал, особенно любил Петра Лещенко, часто сокрушался о его горестной судьбе, а Вертинского не только хорошо знал, но умел петь, изумительно ему подражая.

57 Как я был шпионом ЦРУ, Зеркало Загадок, 10, 2002.

58 Октябрь, 2000, 9.

59 К. Чуковский, «Критические рассказы».

60 Здесь напрашивается даже и прямое сравнение. Во время шумного успеха Горенштейна в Париже в 80х годах в России о нем практически не знали.

61 В. Набоков, Лекции по зарубежной литературе.

62 Зеркало Загадок, 1996, 4.

63 См. также: М. Полянская, Музы города.

64 Роман Владимира Кормера «Наследство», посвященный так же тайным организациям хрущевской оттепели (как и роман «Место»), все же появился в «самиздате» в 1979 году.

65 Эткинд приехал в Петербург в 1989 г. на Международную Ахматовскую конференцию.

66 Летом 2002 года я посетила мою бывшую преподавательницу литературоведения девяностолетнюю Дину Клеметьевну Мотольскую, впервые приобщившую меня когда-то на профессиональном уровне к литературе – я уже не говорю о ямбе и хорее, которые научила друг от друга отличать. Сидели мы, единомышленники, за столом – Дина Клеметьевна, слепая и почти глухая, моя бывшая однокурсница Рита Заборщикова и я, держась за руки, и говорили только о возвышенном и прекрасном, – о литературе, о высоком ее предназначении, и Дина Клеметьевна просила меня рассказать о Горенштейне, которого – она это сама слышала десять лет назад – Эткинд назвал «вторым Достоевским». Эта оценка Эткинда запомнилась и другому моему бывшему преподавателю – профессору Владимиру Георгиевичу Маранцману, ныне члену-корреспонденту АН России. (Маранцман совсем недавно опубликовал совершенно замечательный свой перевод «Божественной комедии» Данте. Эткинд незадолго до смерти прочитал его «Ад» и остался доволен как переводом, так и уникальным комментарием.)

67 М. Полянская, Музы города.

68 Товарищу Маца.

69 Роман «Искушение» впервые на русском языке был опубликован в 1979 году в Тель-Авиве в журнале «Время и мы». Отдельной книгой вышел 1984 году в Нью-Йорке в издательстве «Эрмитаж». Критика иногда называет этот роман повестью, но Горенштейн считал, что это ошибка.

70 Из статьи о «Метрополе» Вольфганга Казака в книге «Лексикон русской литературы XX века»: «МЕТРОПОЛЬ, лит. альм., Москва, 1979. Составители В. Аксенов, А. Битов, Виктор Ерофеев, Ф. Искандер и Е. Попов – предложили СП СССР напечатать этот альманах без вмешательства цензуры. Когда предложение было отклонено и намеченная 23.1.1979 в одном из моск. кафе презентация не состоялась под давлением властей, изготовленный в 8-ми экз. альм. передали в САМИЗДАТ. Фотомеханическое репринтное издание было выпущено издательством «Ардис», г. Анн Арбор, США (763 стр.). Анатолий Гладилин сообщил тогда на радиостанции «Свобода»: «Итак, в Москве появился новый литературный альманах под названием «Метрополь». Увы, спешу огорчить наших слушателей. Ни в каком советском киоске, ни в каком книжном магазине вы его не купите. Альманах этот рукописный. Ну что ж, в общем-то, в Москве привыкли, что ходят по рукам самиздатские издания, то есть переплетенные под обложку машинописные листы. Они, как правило, посвящены острым политическим вопросам или насущным проблемам правозащитного движения. Однако в альманахе «Метрополь» никакой политики нет. Есть только стихи, проза, пьеса и несколько общих статей по искусству. На первый взгляд и в этом нет ничего странного. В рукописях часто ходят неизданные произведения отдельных писателей. Но «Метрополь» – это не отдельное произведение, это целый сборник. И довольно внушительный по объему. И уж совсем необычен состав авторов этого сборника. Перечислю некоторых из них. Белла Ахмадулина, Аркадий Арканов, Василий Аксенов, Андрей Битов, Андрей Вознесенский, Борис Вахтин, Владимир Высоцкий, Фридрих Горенштейн, Виктор Ерофеев, Фазиль Искандер, Инна Лиснянская, Семен Липкин, Евгений Попов, Марк Розовский, Евгений Рейн, Генрих Сапгир и другие. Как видим, большинство авторов сборника – известные советские писатели, поэты, произведения которых обычно издаются огромными тиражами в официальных советских издательствах. В их числе даже лауреат государственной премии Андрей Вознесенский. И не мудрено, что попасть в такую компанию счел за честь выдающийся американский писатель Джон Апдайк».

71 «Сто значит?», Зеркало Загадок, 7, 1998.

72 Там же

73 Октябрь, 2002, 9.

74 Горенштейн писал: «Борис Леонидович Пастернак получил Нобелевскую премию не за свою великую поэзию, а за свою посредственную прозу, скандально опубликованную в Италии издателем Фельтринелли» («Сто значит?»).

75 О первых днях эмиграции Бродский вспоминал: «Я приземлился 4 июня 72-го года в Вене, меня встретил Карл Проффер, который преподавал в Мичиганском Университете. Он спросил: «Что ты собираешься делать?» Я говорю: «Понятия не имею». — «Как ты относишься к тому, чтобы стать poet in residence в Мичиганском Университете?» — «С удовольствием». Это избавило меня от массы размышлений. Там были другие предложения — из Англии, из Франции, но Мичиган был первым». Poet in residence дословно означает «поэт по месту пребывания» — почетная должность с жалованьем, существующая в некоторых американских учебных заведениях.

76 Впрочем, это не я утверждаю, что «Лолита» — плод «семейного проекта». До войны Набоков написал рассказ «Волшебник», в котором трое сорокалетних мужчин охотятся за девочками. Рассказ этот лег в основу будущего прославленного романа.

77 Флобер был одним из самых любимых писателей Набокова.

78 Стэйзи Шифф, Вера. Москва, 2002.

79 Горенштейна восхищала литературная «предприимчивость» Набокова. В одном письме, адресованном мне, он излагает придуманную им теорию эволюции, и просит держать идею в секрете. «Впрочем, добавляет он, — может, я преувеличиваю опасность. Набоков умер, а кому еще придет в голову воспользоваться подобным сюжетом и заработать 10 миллионов». Горенштейн ошибся в количестве миллионов, их столько было у Набокова, но стало гораздо больше. Однажды Горенштейн признался мне, что «Чок-чок» он задумал, следуя примеру Набокова, то есть рассчитывая на коммерческий успех, но идея его оказалась не столь оглушительной. Здесь следует еще учесть, что Набоков использовал тему, которую до него в такой форме еще никто не использовал. Хотя можно вспомнить «Бесов» и ее последнюю, кстати, запрещенную до революции и в советское время также, главу «У Тихона», где Ставрогин соблазняет девочку. Недаром Грэм Грин сравнил роман Набокова «Лолита» с «Бесами».

80 Издевательства над собой в книге «Записки незаговорщика» Эткинд справедливо назвал «Гражданской казнью».

81 Цитирую Солженицына: «Даже в Таврический дворец — посмотреть зал заседаний Думы и места февральского бурле-

ния – категорически отказано было мне пройти. И если попал я туда весной 1972 года – русский писатель в русское памятное место при «русских вождях»! – то риском и находчивостью двух евреев – Ефима Эткинда и Давида Петровича Прицкера...», Новый мир, 1991, 12.

82 Е. Эткинд, «Записки незаговорщика».

83 Ф. Горенштейн, Место.

84 Ф. Горенштейн, Место.

85 М. Цветаева, Пленный дух.

86 Справедливости ради, скажу, что этот вердикт имел отношение и к сугубо русскому человеку.

87 Октябрь, 2002, 9.

88 Курсы располагались в двух небольших комнатах в помещении Театра киноактера на улице Воровского, занятия проводились еще и в Доме Кино.

89 Goethe, Gespraech, Gespraech mit H. Luden am 19. August 1806, in: Werke, Weimarer Ausgabe, v, 2, S. 98, Привожу цитату в собственном переводе.

90 Поскольку Горенштейн не картавил, то, стало быть, специально дразнил Наймана.

91 Октябрь, 2002, 11.

92 Товарищу Маца.

93 Этого, увы, не произошло: им потом не довелось уже встретиться.

94 В статье «Тайна, покрытая лаком» Горенштейн почти дословно повторил эту мысль.

95 «Сто значит?»

96 Там же.

97 Там же.

98 Интересно, что такой же критический взгляд на интеллигенцию был у Льва Толстого. Интеллигенты, его определению, с их «лживым бытом» – это «блудливые витии», «нигилисты в косоворотках».

99 Товарищу Маца.

100 Как я был шпионом ЦРУ.

101 И. Полянский, Место Фридриха Горенштейна, Зеркало Загадок, 10, Берлин 2002.

102 Ф. Горенштейн, «Читая книгу Мины Полянской «Брак мой тайный», в книге М. Полянской «Брак мой тайный. Марина Цветаева в Берлине».

103 Мать с сестрами и братьями Набокова уехала в Прагу.

104 Стихотворение «Памяти Фридриха Горенштейна» опубликовано в стихотворном сборнике С. Арро «Вечер на Рейне», который вышел в Петербурге в 2002 году в издательстве «Геликон Плюс».

105 Так Горенштейн назвал статью о Клинтоне, тогда еще президенте, муже своей жены, борце за мир, друге арабских террористов.

106 Насколько мне известно, в русской поэзии царю, помазаннику Божьему, таких откровенно гневных стихов никто не посвящал. Стихи эти, пожалуй, звучат в этом смысле даже «хуже» пушкинских «плешивый щеголь, враг труда...», посвященных Александру I.

107 9 июня 1999 года.

108 Из письма Ольге Юргенс 21 мая 1999 года.

109 В довоенном Париже Набокова называли «берлинец Сирия».

110 Б. Пастернак, «Вакханалия».

111 «Зеркало Загадок» – берлинский культурно-политический журнал на русском языке. Выходит с 1995 года и является почти «семейным» предприятием. Главный редактор – мой сын Игорь. За техническую редакцию отвечает мой муж Борис. Позднее к редакции присоединился славист Маттиас Шварцц.

112 Из Архангельска, по нашей просьбе, один наш берлинский приятель, Андрей Зайдельсон, привез три тельняшки – для Фридриха, Бориса и Игоря. Борис и сейчас то и дело мелькает по квартире в тельняшке. В пятилетнем возрасте, когда жил на улице Марата в Ленинграде, он, всем на зависть, щеголял в бескозырке с надписью «Аврора», за что его и прозвали надолго «Авророй».

113 Из письма Ларисе Щиголь 20 марта 2000 года.

114 Мы по возможности публиковали и художественные произведения Горенштейна. Так, например, рассказы «Контр-эволюционер» и «На вокзале» были опубликованы у нас.

115 Наум Яковлевич Берковский (1901-1971) – литературовед, литературный и театральный критик. Автор книг «Немецкий романтизм», «О мировом значении русской литературы», «О русской литературе», «Литература и театр» и многих других трудов. Профессор ЛГПИ им. Герцена. Этот выдающийся мыслитель отличался особым индивидуальным стилем устной и письменной речи: создавал такие пластические образы, что говорили (а сейчас говорят еще больше): уж не сам ли он «продуцент?» «Продуцентами» Берковский иногда, при случае, называл писателей.

116 Главы из романа «Псалом» впервые на русском языке были опубликованы в 1985 году в Тель-Авиве в журнале «Двадцать два», в 1986 году несколько глав были напечатаны в Мюнхене в журнале «Страна и мир». Полностью роман вышел в журнале «Октябрь» в 1991 году, и, наконец, в 1993 году в Москве в издательстве Слово/Slovo – отдельной книгой.

117 Зеркало Загадок, 3, 1996.

118 А. Блок, Все это было, было, было...

119 28 марта 1922 года в здании берлинской филармонии во время кадетского собрания отца Набокова Владимира Дмитриевича Набокова застрелили два монархиста. «... Мой отец заслонил Милюкова от пули двух темных негодяев, и пока боксовым ударом сбивал с ног одного из них, был другим смертельно ранен в спину («Другие берега»). Выпущенный тогда впервые сборник стихотворений «Горний путь» он посвятил памяти отца, предварив его эпитафией – строкой из стихотворения Пушкина «Арион»: «Погиб и кормщик и пловец».

120 Горенштейн жил в Вене по адресу Кохгассе, 36, апартамент 23, второй этаж.

121 Как я был шпионом ЦРУ, 2000, 9.

122 Ф. Горенштейн, Беседы с Ефимом Эткиндоном, Зеркало Загадок, 2000, 9.

123 Там же.

124 Из письма Ларисе Щиголь 26 июня 2001 года.

125 Горенштейн говорит о своем последнем романе «Веревочная книга».

126 Томас Решке, один из лучших немецких переводчиков, перевел роман Горенштейна «Место» и считал его вторыми «Бесами».

127 Ошибка: Горенштейн поселился в Германии в 1980 году.

128 Виктор Топоров в некрологе Горенштейну писал («Известия», 12 марта 2002 года): «Горенштейн долгие годы казался мне единственным русскоязычным кандидатом на Нобелевскую премию. И вместе с тем я прекрасно понимал, что он ее никогда не получит. Насколько мне известно, его имя даже не всплывало в списке кандидатов».

129 Ф. Горенштейн, «Сто значит?», Зеркало Загадок, 1998, 7.

130 Это письмо я обнаружила в книге Стэйзи Шифф «Вера». Во второй половине 60-х годов Набоков несколько раз пытался Нобелевскую премию получить, но не удостоился ее. Он говорил, что готов разделить эту премию пополам с Борхесом. Судьбы этих двух выдающихся писателей во многом соприкасаются. Писатели-эмигранты родились в одном году – в 1899. Последние годы жизни оба провели в Швейцарии, где и похоронены.

131 Б. Хазанов, Фридрих Горенштейн и русская литература, Октябрь, 9, 2002.

132 Имеется в виду памфлет «Товарищу Маца...».

133 «Нация поэта – это его язык, – писал Артур Коген, – у поэта нет выбора: он должен стать языком, на котором говорит;

и если по несчастью он велик в употреблении языка, он его изменяет, насколько это возможно».

134 С 1997 года премия изменила свое название на Smirnoff-Букер, а ее спонсором стала международная компания UDV (United Distillers and Vintners), частью которой является фонд имени Петра Смирнова. Структура Русского Букера во многом повторяет структуру британской премии. Законодательным органом премии выступает Букеровский Комитет.

135 Вознаграждение финалиста в настоящее время – 1000, а победителя – 12500 долларов США.

136 Горенштейн рассказывал, что слова о «Бесах» принадлежали Эллендее Проффер. В радиопередаче, посвященной смерти Горенштейна (Би Би Си) Симон Маркиш подтвердил это «авторство».

137 Ф. Горенштейн, Как я был шпионом ЦРУ, Зеркало Загадок, 2002, 10.

138 Известия, 12 марта 2002 г.

139 Б. Хазанов, Фридрих Горенштейн и русская литература, Октябрь №9, 2002.

140 Мой совет, как добыть роман «Место»: можно поискать в Петербурге на книжном рынке в бывшем Доме культуры им. Крупской.

141 Письмо от 22 сентября 1997.

142 Зеркало Загадок, 1997, 6.

143 И в самом деле, узнав, что Лариса Щиголь (Лариса Щ.) отправляется в Киев, Горенштейн в одном и писем желает ей всего самого вкусного: «...Кушайте пироги с маком. Или вареники. На то и Киев, чтобы кушать вареники. Или сало с Бессарабки».

144 Шубин здесь имеет в виду роман «Псалом».

145 Речь идет о моей книге «Музы города».

146 Среди них – В. Набоков, В. Шкловский, В. Ходасевич, Н. Берберова, Н. Тэффи, А. Ремизов, М. Алданов, Г. Ландау, С. Маковский, Н. Минский, П. Муратов, И. Соколов-Микитов, Саша Черный, С. Волконский, Н. Оцуп, И. Шмелев и многие другие. Сюда на „гастроли“ приезжали и посланцы Советской республики В. Маяковский и С. Есенин. Русская интеллигенция проявила в этот трагический период своей жизни замечательную жизнеспособность. Берлин стал не только центром русской культуры, но и местом переосмысления переломных событий 1917 года. Берлинская русскоязычная пресса тех лет полна сообщениями о литературных новостях, об открывающихся курсах по изучению языков и освоению новых профессий и о постоянно прибывающих знаменитостях. Так например, газета „Накануне“ 7 мая 1922 года в разделе „Литератур-



ная хроника“ сообщает: «В середине мая в Берлин приезжает Валерий Брюсов», „В двадцатых числах мая из Флоренции в Берлин прибывает П. Е. Щеголев, отвозивший на Флорентийскую книжную выставку образцы изданий Госиздата“, „Борис Зайцев приезжает в Берлин 15 мая“, „От петербургского ордена „Серрапионовых братьев“ получен в Берлин целый ряд рукописей (стихи и беллетристика)“.

**147** Журнал „Беседа“, издателем которого был С. Г. Каплун, просуществовал недолго – с 1923 по 1925 год и выпустил всего семь номеров, однако сумел опубликовать таких крупных зарубежных писателей, как Дж. Голсуорси, Ж. Ренан, Р. Роллан, С. Цвейг, М. Синклер, Л. Пиранделло, М. Ганди. Среди русских авторов были опубликованы А. Блок, Ф. Сологуб, А. Белый, В. Ходасевич, А. Ремизов, Л. Лунц, Б. Шкловский, Н. Берберова, Вл. Лидин, Н. Оцуп, Н. Чуковский, С. Черниковский, переведенный с идиша Ходасевичем. Журнал предназначался для России, но не был туда допущен.

**148** Ф. Горенштейн, Товарищу Маца.

**149** Ф. Горенштейн, Реплика с места. Зеркало Загадок, 7, 1998.

**150** Там же.

**151** Ф. Горенштейн, Последнее лето на Волге.

Часть II

**Восемьдесят тысяч  
верст вокруг  
Горенштейна**

## 13. ПОСТОЯННОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА

---

Название этой части книги – отклик не столько на Жюль Верна, сколько Глеба Успенского. «Восемьдесят тысяч верст вокруг самого себя» – такую меткую характеристику, перефразировав французского писателя, дал Глеб Успенский творческой личности Льва Толстого. Так что мое название – уже третий аккорд в мандельштамовской «упоминательной клавиатуре». Оно кажется мне подходящим для записок, в которых не хотелось ограничивать себя документальным жанром мемуаров. В цикле рассказов о Горенштейне я задумала проследить за кружением событий вокруг писателя, суетных, которые он называл мелкобесьем, или несуетных, а также за круговоротом литературных «толков», слухов и споров, так или иначе с ним связанных. И в то же время, мне хотелось подчеркнуть, что абсолютной документальности, в принципе, быть не может, и что мои записки о писателе – во многом также кружение вокруг себя самой.

В первой главе я рассказала о детстве Горенштейна и его сиротстве. Писатель являл собой бездомность не только биографией, ставшей импульсом творчества, но и внутренним мироощущением. Право же, здесь у него – длинный ряд литературных предшественников, начиная с Овидия, у которого, в свою очередь, предшественников было достаточно. Я же назову несколько близких нам имен.

Стихи о роковой неотвратимой бездомности Александр Блок слагал задолго до того, как реальный дом был у него отнят, и имение Шахматово с уникальной библиотекой сожжено. Еще до всего этого его поэзия была пронизана предчувствием невозвратной утери дома:

*Как ни бросить все на свете,  
Не отчаяться во всем,  
Если в гости ходит ветер,  
Только дикий, черный ветер,  
Сотрясающий мой дом.*

*Что ж ты, ветер,  
Стекла гнешь?  
Ставни с петель  
Дико рвешь?*

Для Владимира Набокова реальная бездомность, благодаря дару Мнемозины, также стала его вдохновенной тоской, так что изгнание обернулось литературной удачей. Писатель довел «концепцию» «чужого угла» до логического конца даже примером личной жизни, которую самофизировал. Не пожелав обменять утерянный в России дом на какой-либо другой, он предпочитал жить в гостиницах. «Отчего вы не обзаведетесь «своим углом?» – с тревогой спрашивал его М. Алданов. Впрочем, Набоков даже и побаивался оседлой жизни. «Как явствуется из его сценария к Лолите, – замечает Стэйзи Шифф в книге «Вера», – Набоков считал, что дома имеют обыкновение поражаться молнией и сгорать дотла, – убеждение, возможно, не лишено оснований, если вспомнить о прошлом Набокова».

Переехав из Америки в Швейцарию, Набоков все надеялся, что когда-нибудь «на заграничных подошвах и давно сбитых каблуках, чувствуя себя привидением», по знакомой дороге подойдет к своему дому в Рождествено. «Часто думаю, вот съезжу с подложным паспортом под фамильей Никербокер». Дидерих Никербокер – так звали героя романа Вашингтона Ирвинга «История Нью-Йорка». Этот Никербокер поселился в одной из гостиниц Нью-Йорка, затем ушел из нее, исчез бесследно, оставив хозяину вместо оплаты свой труд «История Нью-Йорка».

Последним прибежищем тогда уже всемирно известного Набокова была гостиница в Швейцарии в Монтре, которую он назвал «Лебединой». Его же самого называли «Черным лебедем Монтре».

*...во сне  
я со станции в именье  
еду, не могу сидеть, стою  
в тарантасе тряском, узнаю  
все толчки весенних рытвин,  
еду, с непокрытой головой,  
белый, что платок твой, и с душой  
слишком полной для молитвы.  
Господи, я требую примет:  
Кто увидит родину, кто нет,  
Кто уснет в земле нерусской.  
Если б знать.*

Несколько лет назад я написала книгу о литераторах, жизнь и творчество которых объединила культурным пространством Берлина, достаточно мощным, обладающим, такой силой, что даже для «транзитного» Достоевского оно стало символом противостояния Востока и Запада, так же, как для Толстого в свое время Люцерн явился таким символом<sup>1</sup>. Шесть моих писателей – это Клейст, Гофман, Тургенев, Достоевский, Набоков и Горенштейн. Необычное и, на первый взгляд, случайное собрание имен.

Впрочем, если говорить о бездомности и отщепенстве, то Гофман и Клейст – бесспорные предшественники Горенштейна. Оба они – сама неоседлость, оба они блуждают, словно души во сне, по чужим пространствам и по чужим временам, в том числе и фантастическим. Клейст и Гофман также жертвы их жестокого времени. Нашествие Наполеона привело к разорению родных гнезд. Клейст нигде не находил себе места. Забившийся в угол-тряской почтовой кареты, укутавшийся в черное поношенное пальто, этот бедный, бездомный барон постоянно в пути.

Уже не говорю о Гофмане, который за свои сорок шесть лет жизни сменил в поисках работы (он был юристом) множество городов, среди них – Кенигсберг, Варшава, Берлин, Бамберг, снова Берлин... При жизни один из самых читаемых и популярных немецких писателей-романтиков умер в Берлине в нищете и был похоронен в 1822 году без церемоний и торжеств на средства нескольких друзей, шедших в ненастный дождливый день за его гробом.

Что же касается еще одного героя книги, «благополучного» русского писателя Ивана Сегеевича Тургенева, то добровольный этот изгнанник, будучи очень богатым человеком, умирал от саркомы под Парижем, в Буживале, в «чужом углу», под аккомпанимент и пение музыкальных классов Полины Виардо. По свидетельству Альфонса Доде, внизу неумолимо гремела музыка, а наверху, в полутемном кабинете, лежал, свернувшись в комок, исхудавший старик.

Тело Тургенева без сопровождения и без каких-либо документов, свидетельствующих его личность, около месяца везли по Европе в различных товарных вагонах по бумажной накладной, где было написано: «1 – покойник». Гроб лежал на полу багажного вагона, упакованный в обыкновенный дорожный ящик для кладки. Об этом свидетельствует Михаил Стасюлевич, находившийся на пограничной станции Вержблowo. «Пока мы выносили ящик с гробом, – писал Стасюлевич в «Вестнике Европы», – настоятель приготовил в церкви катафалк и паникадила... раздался протяжный звон – *Vivos voco! Motios plango!* –

Это был первый призыв и привет покойнику на родине – и неминуемо тяжело потрясли заунывные звуки колокола слух каждого из нас, кто понимал, что мы в эту минуту делали».

Представители двух стран – Германии и России – различных эпох, литературных и философских направлений объединяет «локализация» в общей «математической точке», как сказал бы Андрей Белый. Впрочем, связь здесь не только формальная – город, находящийся на перекрестке путей из Западной Европы в Россию и из России на Запад, сыграл для этих авторов большую роль. И Горенштейн также находился в поле «напряжения культурологического пространства», где одним полюсом была Россия, а другим – Германия. Для Горенштейна, однако, в отличие от Набокова, покинутая Россия не была потерянным раем (и, тем более, страной счастливого детства; в его творчестве, скорее, присутствует тема недетства – раннего сиротства)<sup>3</sup>, и, в отличие от Достоевского, у Горенштейна Москве не уготована судьба Нового Иерусалима. Утраченному Эдему, по Горенштейну, нет на земле места, и поэтому поиск «места» в его книгах превращается в поиск временного пристанища как наименьшего из зол.

Тем не менее, я отважилась в книге «Музы города» назвать очерк о Горенштейне «Постоянное место жительства», чтобы, как мне теперь кажется, сказать: «да будет так, да будет дом, наконец!». Горенштейн против этого постоянства места в моей книге не возражал<sup>3</sup>.

Любопытна была реакция Сергея Юрского на такое мое название (19 ноября 2000 года)<sup>4</sup>:

Юрский: Вот ведь, вот ведь, Фридрих, теперь у вас, наконец, есть свой дом.

Горенштейн: Да какой там дом! Разве это дом?

Юрский: Ну, как же, как же, Фридрих, вот очерк (взгляд на мою сторону) – он называется «Постоянное место жительства», и я уже успел его просмотреть. Я знаю теперь, что вы полюбили Берлин, и у вас есть дом.

Горенштейн: Ну, да, ну, да.

Горенштейн находился в сентиментально-благозном настроении. Только что на сцене<sup>5</sup> Юрский (он читал стихи Бродского) приветствовал Фридриха, сидевшего в конце огромного, переполненного зала «русских берлинцев», и благодарил его за то, что он пришел на его выступление. И было это трогательно и красиво: один маэстро со сцены приветствовал другого – сидящего в зале.

И Горенштейн не желал сейчас вдаваться в глубины своей мощной концепции сиротской бездомности, которая на самом деле была одной из главных составляющих его творческого импульса, где нет места спорам, поскольку в мире сиротства нет ни учеников, ни учителей, и не изменить здесь ничего, как не изменить звездной орбиты.

Признаюсь, я, накануне, подобно восторженной курсистке, написала письмо Юрскому, и вручила его еще во время первого антракта. Он сказал нам с Фридрихом, что успел прочесть его в антракте и повторял озадаченно: «Над же, надо же – «Горе от ума!» Как давно это было! Надо же – «Горе от ума!» Фридрих! Мы с вами еще встретимся, я уверен в этом. А ваш телефон я записываю на этом письме (высоко поднимает письмо. К слову сказать, встреча оказалась последней – Горенштейну оставалось тогда жить год и три с половиной месяца). Решаюсь все же мое письмо, адресованное Юрскому, здесь процитировать:

«Многоуважаемый Сергей Юрьевич!

Впервые я увидела Вас на сцене БДТ в роли Чацкого, кажется, в году 64-м. Я тогда была студенткой филологического факультета института им. Герцена и являлась типом провинциальной барышни, о которых писал Пушкин в «Романе в письмах»: «Теперь я понимаю, за что Вяземский и Пушкин так любят уездных барышень. Они их истинная публика».

Мое поколение, насколько я помню, знало демонстративного, громкого Чацкого в исполнении Царева. Ваш Чацкий, как Вы догадываетесь, меня оглушил и ошеломил. Пролитая свои первые слезы в театре после Ваших тихих слов «карету мне, карету!», я обернулась к незнакомой соседке (я помню ее, она была худенькая, высокая, светлая, одухотворенная) и сказала: «Никогда не думала, что буду плакать из-за Чацкого». И она, вся в слезах, ответила мне с тем же пафосом: «Я тоже!»

Именно тогда впервые и появился вкус к театру.

Ныне я в Берлине (с сыном и мужем). Выпускаю журнал «Зеркало Загадок», еще написала книжку о литературном Берлине, которую Вам дарю от всего сердца. Наша семья дружит с Фридрихом Горенштейном – Вы это почувствуете по публикациям в журнале.

Желаю Вам прежде всего здоровья и, разумеется, творческих успехов.

18.11.2000

М. Полянская.

P. S.

Книжка посвящена Н. Я. Берковскому, которого Вы, конечно, знаете. Он, кроме всего прочего, был страстным театралом и является автором известной книги «Литература и театр».

P. P. S. Русскую литературу преподавал нам тогда Н. Н. Скатов, ныне директор института Русской литературы (Пушкинский дом). О Вашей игре он сказал нам на лекции: «Надо же! Не поменяв ни одного слова в тексте Грибоедова, полностью все изменил!».

Горенштейн после этой воистину трогательной встречи сказал мне на улице очень грустно: «Знаете, не нужно было дарить Юрскому памфлет «Товарищу Маца». Он на меня теперь обидится – я там про него написал кое-что негативное». «Не помню в памфлете ничего такого плохого», – ответила я. «Нет! – сокрушенно возразил Фридрих – Там есть, есть про него кое-что... И он обидится». Горенштейн потом неоднократно сокрушался по этому поводу. Недавно я, как мне кажется, тщательно заново «просмотрела» памфлет, но о Юрском ничего нешла.

Читателю, наверное, желательно представлять себе человека, пишущего книгу, тем более книгу воспоминаний. В культуроведении в таких случаях говорят о «протоколах чтения», программирующих определенную перспективу, модус восприятия. Поэтому открою некоторые из тайников моей души, причем такие, которые имеют прямое отношение к нашей центральной теме, теме отщепенства.

Я – тоже бездомный человеческий «продукт» эпохи. Пишу слово эпоха с большой осторожностью, потому что не исключено, что, на самом деле, являюсь очередным персонажем некоей трансэпохальной «драмы судьбы». Я ощущаю свою бездомность с того самого момента детства, когда в 1952 году моего отца арестовали. Впрочем, арест был не сталинско-классический, московско-ленинградский с неизбежным ГУЛАГОМ или расстрелом, о каких много теперь пишут, а местечковый. Отца через некоторое время выпустили, согласно устномуговору: мы тебе – свободу, а ты нам – квартиру<sup>6</sup>. Теперь понимаю, что тогда впервые соприкоснулась с историей. Сосед, который выдал отца, подтвердил, что, мой отец, Иосиф Полянский, слушает иностранные «голоса». Когда он пришел домой и осознал, что совершил, то повесился на чердаке (а у него было двое ма-



леньких детей). Как сейчас помню, соседка рассказывала толпе: вхожу на чердак, а он там стоит и показывает мне язык.

Поначалу мне даже понравилось, что соседа больше нет: он не разрешал нам, детям, рвать зеленые яблоки в саду, и бегал за нами с лопатой. Видно он хотел, чтобы яблоки поспели, но так до этого и не дожил.

Дело было в городе Черновцы, принадлежавшем некогда Австро-Венгрии, городе в котором я не родилась. А родилась я в одной сожженной молдавской деревне, где родители оказались после эвакуации. И задумана я была в честь наступающей победы.

Было это в далеком Самарканде. Осенью сорок четвертого года моей матери под утро приснился вещий сон. Огромное зарево пылало на всем видимом небе. И высвечивались в этом пламени два профиля, обращенные друг к другу, нос к носу – Гитлера и Сталина. Вдруг Сталин поднял руку и ударил ею по профилю Гитлера. И Гитлера не стало. Выслушав утром мамин сон, папа сказал: «Болд ист ды фрай! Цу либ дарф мир убн а кинд» («Скоро победа! И в честь этого нам нужно родить ребенка»). Согласно такому вердикту, я появилась на Божий свет. У моих родителей было тогда уже двое детей: мой старший брат Ушер (его называли Саша, а о его скитаниях по свету, в том числе и шахтерских, я часто вспоминала, думая о скитаниях Горенштейна) и сестра Рая. Их нет в живых: сестра похоронена в Назарете, а брат – в Архангельске. Кроме того, до войны от воспаления легких умер еще один мой брат Карпалы, пяти лет, очень красивый, кудрявый мальчик.

Странно, но брат Саша и сестра Рая не присутствуют в моей драме утраты отца – как и мама. Они выпали из моей памяти. В драме только два персонажа – я и мой папа. Причем, здесь вполне уместно, как это «проделала» Цветаева, написав слова «Памятник Пушкину» одним словом, ибо эти два магических слова слились для нее в нечто неразделенное, написать мой папа одним словом, ибо ощущаю его абсолютно только своим и по сегодняшний день.

Вернемся к папе. Его выпустили в 1952 году, потому что он согласился отдать квартиру. Не ахти, какая квартира! Родители приехали в Черновцы в 1945 году, когда по Бессарабии разнесся слух, что в Черновцах пустуют роскошные квартиры. Но приехали как всегда к шапочному разбору. Нам уже досталась квартира не в центре у ратушной площади (Красная площадь), а ближе к окраине. В бельэтаже была очень большая комната с паркетным полом и кухня, где я спала на большом шнайдерском дубовом столе. На кухне была подовая печь, где мама пекла роскошные круглые белые хлебы. Серого хлеба мы никогда

не ели. Но главное на кухне – это был кран с чугунной округлой раковиной, под которой я долго просиживала, изучая ее затейливые узоры (как я теперь понимаю, узоры «модерна»).

«Мне всего 43 года, – думал тогда, наверное, мой папа, – я еще молод, и все еще можно наладить, и денег заработать, и другой угол для семьи приобрести». С тремя детьми, согласно «джентльменскому» договору с местным НКВД, Иосиф Полянский, единственный «просвещенный» человек в своем кругу<sup>7</sup> (закончил гимназию в боярской Румынии), оставил квартиру и уехал в грязный и некрасивый молдавский город Бельцы, город тихого убожества, который я не полюбила с первого взгляда и навсегда.

В Бельцах мы сняли комнату напротив еврейского кладбища. Мой отец умер через полгода, думаю, что в первую очередь от горя, поскольку ценой своей свободы оставил детей без крова, в чужом углу.

И поскольку детская психика не желала принять катастрофы, ужаса смерти любимого, всегда веселого отца, я сочинила себе бытие с папой, который и не умер вовсе. «Его с кем-то перепутали», – сказала я себе. Эти слова я помню и сейчас дословно. «Это кого-то другого увезли в повозке, увязавшей в черной грязи».

И с этого времени – период общения с папой продолжался долго, и это была моя тайна, которую я раскрываю только сейчас<sup>8</sup>: мой папа стал ко мне приходить в гости, и мы беседовали, и по-прежнему ему было радостно оттого, что я ему рассказывала о своих делах. Разумеется, он приходил ко мне и тогда, когда я ложилась спать, чтобы мне было не так одиноко.

Однажды мой папа подошел ко мне на улице, махая мне рукой и улыбаясь (я помнила, что за день до смерти он из больничного окошка тоже улыбался мне и махал мне рукой). Почему-то в моем сознании этого периода жизни осталась непролазная черная уличная грязь моего детства.

На самом деле эта грязь не была моей фантазией и наваждением. Вернее, не совсем фантазией и наваждением. Название молдавского города Бельцы (Бэлц, Балти) означает в переводе на русский язык болото<sup>9</sup>. (В тридцатых годах мой дед по материнской линии Ихил Лернер («Ихил дер Робер» – так его называли из-за двухцветных усов – левый ус был светлым) приехал со своей многочисленной семьей из Бухареста в Бельцы (вероятно, из-за финансовых трудностей) и построил себе там почтенный дом, куда приходил его друг, местная знаменитость Штефенештер Ребе.)

Мне было семь лет – я была очень маленькая, худенькая и бледная (так говорили взрослые), в темно-бордовых фланеле-

вых шароварах, которые месили бесконечную бельдскую грязь и оставляли ее на себе. Так я, «дитя победы», бродила по улицам. Итак, мой папа подошел ко мне, и мы, как всегда, затеяли оживленный разговор, и я очнулась оттого, что со мной разговаривал не папа, а чужая женщина. «Девочка, почему ты одна, где твоя мама? У тебя вся грязь на шароварах, и почему ты все время улыбаешься?».

Каково же было мое потрясение, когда я спустя много лет увидела отрывок из своего тайного сокровенного мира в рассказе Горенштейна «Дом с башенкой». Мне тогда показалось, что даже ритм и стиль этого рассказа соответствовал разрыву ткани моей безотрадной детской судьбы.

В рассказе Горенштейна мальчик едет с мамой в поезде в Сибирь в эвакуацию. Она заболевает и умирает. Мальчик остается на станции и в поезде один, без мамы.

«Он сидел и думал, как приедет в свой город и встретит мать, которая, оказывается, осталась в городе, в партизанах. А в эвакуации он был с другой женщиной, и эта другая женщина умерла в больнице. Ему было приятно так думать, и он думал все время об одном и том же, но каждый раз все с большими подробностями. «Ты чего улыбаешься? – сказала кудрявая женщина. Мать умерла, а ты улыбаешься... Стыдно...»

Привожу последние строки рассказа о мальчике, неумолимая судьба которого predetermined, ибо он один на всем белом свете – у него нет родителей и не будет никогда. Одна отрада – его детские мечтания и сны:

«Уже перед самым рассветом, когда выгоревшая свеча потухла и старик прикрыл ноги мальчика теплой кофтой, мальчик увидел мать, вздохнул облегченно и улыбнулся.

Ранним утром кто-то открыл дверь в тамбур, холодный воздух разбудил мальчика, и он еще некоторое время лежал и улыбался...».

С одной стороны, несоизмерима трагедия девочки, потерявшей отца с трагедией мальчика, отправленного в сиротский дом прямо из вагона поезда, мчавшегося в бесконечную оренбургскую глушь. А с другой стороны, та маленькая семилетняя девочка в бордовых фланелевых шароварах, бродившая по мрачным улицам, в одночасье лишившаяся своего дома, двора, улицы, города и отца, не понимала и не могла понять, что можно еще большего лишиться. И, кроме того, маленьких трагедий, как известно, не бывает.

Итак, я родилась на пепелище – не на улице, какое-то помещение все же было. Когда мне исполнился один месяц, увезли в город со сверкающими, красивыми и разнообразно выложенными тротуарами, на которых можно было затевать раз-

ные игры, семилетней – отправили в другой, где тротуаров не было, а была только непролазная грязь, одиннадцатилетней вернули в первый, с тротуарами, где мы жили в проходной комнате под непрерывные крики хозяйки квартиры, скандалившей со своим сыном, затем меня вернули опять в бестротуарный город, в котором сразу же, мгновенно погасли солнечные образы.

Да простят меня жители молдавского городка, который, рассказывают, до войны даже обладал индивидуальностью, структурой, «своим лицом» и даже своей песней<sup>10</sup>, и да простят меня бывшие мои соученики, оставшиеся в нем, но именно такое тягостное впечатление произвел он на меня, после тихой улицы Предкарпатъя, поднимающейся в гору, по которой из-за крутизны не ездили машины, с нарядными особняками, напоминающими помещичьи усадьбы, и прилегающими к ним садами, что придавало улице патриархальный вид. Эти дома с резными тяжелыми дверями с затейливыми ручками были украшены цветочками, ангелочками, а у некоторых сверкали крыши, выложенные мозаикой, и, чем выше в гору, тем они были красивей и загадочнее, словно затаили в себе воспоминание, видение для моей души. Впечатления от этих домов с орнаментами, изображающими растения и зверей, которых касались мои пальцы, оставили след во мне. Я помню еще, что по моей улице, по которой, повторяю, никогда не ездили машины из-за сильного ее наклона, я убегала на противоположную сторону во двор к своей двоюродной сестричке Броне, тогда тоже Полянской, и, замирая от страха перед огромной злобной соседской овчаркой по имени Рекс, которая на огромной толстой цепи рвалась ко мне, в то время, как я упорно пробиралась, прижавшись к стене, к квартире папиного брата Йойны, папы Брони, чтобы только взглянуть на новогоднюю елку ослепительной красоты с настоящими яркими мандаринами. В Черновцах, утопающих в садах, мандарины не росли. Я еще убегала на другую тихую улицу, упирающуюся в нашу, где жил отличник-десятиклассник Хуна (влюбленный в мою сестру Раю) и не получивший золотую медаль по причине антисемитизма, о чем говорил «весь город». Родители Хуны, уже знали, зачем я пришла, и подводили меня к заветному окну, открытому в замкнутый квадратный дворик. И там – там они, эти красавцы, павлины, важно расхаживали, распутив немислимой красоты хвосты, и я любовалась ими, стоя часами у подоконника молча и серьезно. И никто меня не тревожил в этом моем созерцании.

Мама вышла замуж за пожилого человека из Бельц – ради пристанища<sup>11</sup>. Одноэтажный дом был выложен из какой-то осо-

бой смеси глины и еще чего-то, и, чем больше он оседал в землю, тем крепче становился, — он и сейчас стоит незыблемо, но уже за железной оградой с калиткой, запертой на большой замок, и принадлежит теперь почему-то, как и все остальные дома во дворе, тете Тасе, соседке-украинке с неувядающим, как у куклы, лицом. От нее я, когда мне было уже двадцать лет, впервые услышала, о том что мы, евреи, совершаем ритуальные убийства. Я недавно ездила на кладбище в Бельцы и подошла к этому дому и видела это восьмидесятилетнее гладкое лицо, с маленькими сверлящими глазками, и почему-то мне стало страшно от такого неожиданного для меня бабьего варианта Дориана Грея. После моего почти тридцатилетнего отсутствия, тетя Тася, на всякий случай, не пустила меня во двор.

Итак, мы приобрели жилье, и я опять спала на кухне, дверь которой выходила прямо в открытый, без единого дерева двор, распахнутый на улицу, по которой ездили грузовые машины. (Это был выезд из города.) Но все же это был угол, подобие постоянного места жительства.

В Ленинград я отправилась по своему личному решению. Не было ни одного человека, который бы меня в этом решении поддержал. Я прочитала «Мартина Идена», и мне понравилось его упорство в борьбе с неотвратимостью. Я ехала в общем вагоне на деньги, которые заработала в швейной мастерской, где мы, «экспериментальные» дети хрущевской оттепели учились подшивать подолы — мы учились в одиннадцатилетке из-за этих подолов. До сих пор с отвращением беру иголку в руки. *И с отвращением читаю жизнь мою, и слез печальных не смываю*<sup>12</sup>.

В общежитии института, куда я мечтала поступить, у меня сразу же украли заработанные в мастерской сто рублей, и вступительные экзамены я сдавала, страдая от голода. Иногда мне давали что-нибудь поесть другие абитуриентки, соседки по той самой комнате, в которой у меня пропали деньги из чемодана.

Я набрала на один бал больше положенного при конкурсе целых тринадцать человек на место. Тогда закончили школу не только одиннадцатые, но и десятые классы, вовремя остановленные, в отличие от нас. Очередная хрущевская причуда была отменена, и миллионы абитуриентов толпились у стен, ворот и дверей высших учебных заведений.

Двадцать шесть лет я прожила в Ленинграде, где, как мне тогда казалось, приобрела семью. Я хорошо знала город благодаря своей работе<sup>13</sup> и как будто бы даже любила его, но всегда смотрела на него «гоголевским» взглядом постороннего («Италия она моя!... Россия, Петербург, снега, подлецы, департа-

мент, кафедра, театр – все это мне снилось»). Как будто бы я, как и он, знала, что когда-нибудь покину его.

А что же Берлин, о котором я написала уже две книги? Если бы меня спросили, стал ли Берлин моим домом, я бы ответила так же уклончиво, как Горенштейн: «Ну, да, ну, да».

Вначале моего откровения я предупредила, что не решаюсь винить войну, сталинский режим, время, эпоху, жестокий век в моем личном отщепенстве, поскольку подозреваю здесь некую предопределенность.

Александр Блок винил не личную судьбу, но время, наступающий 20-й век. Во вступительных строках «Возмездия» он буквально проклинает страшную грозную эпоху:

*Двацатый век...Еще бездомней,  
Еще страшнее жизни мгла  
(Еще чернее и огромней  
Тень люциферова крыла ).  
Пожары дымные заката  
(Пророчества о нашем дне),  
Кометы грозной и хвостатой  
Ужасный призрак в вышине.  
Безжалостный конец Мессины  
(Стихийных сил не превозмочь)  
И неустанный рев машины,  
Кующей гибель день и ночь.*

Двадцатый век... еще бездомней..., говорит Блок – и это его правда. Не смею думать, что жизнью правит слепой случай, поскольку она тогда теряет нравственную ценность. *Детство предлагает немало загадок, загадок, которых не разрешит ни теодицея, ни психоанализ, ни литература.*

## 14. AEMULATIO

---

«Мой давний оппонент» – так называл Горенштейн Достоевского. Он преднамеренно вводил в свои произведения эпизоды из романов «оппонента», пародировал его и относился к пародированию так же серьезно, как к собственно (любимым) романам-пародиям «Дон Кихот», «Бравый солдат Швейк» и последнему своему роману-пародии «Веревоочная книга». «Не советую брать в руки «Дон Кихота» и «Швейка» тем, кто хочет только посмеяться», – говорил он. Словно эхо, откликается Горенштейн на Достоевского параллелями и антитезами, рассматривает те же проблемы – террора, самосуда, агрессии, бунта, грехопадения, спасения души. Во вступлении к роману «Веревоочная книга», разъясняя, как и почему он позаимствовал название для этого своего произведения (и между делом, рассказывая, как Лев Толстой позаимствовал «Войну и мир» у Прудона, а Достоевский «Преступление и наказание» у Чезаре) писатель замечает: «Как известно, удачно заимствовать чужое гораздо бывает труднее, чем свое выдумать, и требует, если хотите, большего таланта».

Осмелюсь, однако, применить к диалогу Горенштейна с Достоевским (наряду с такими научными терминами, как «реминисценция» и «пародирование») ненаучное понятие «передразнивание». Когда я впервые *догадалась* о передразнивании, то огляделась с опаской, не слышит ли кто мои «неправильные» мысли. Тогда как, если уж пишешь книгу о Горенштейне, то оглядываться с опаской не следует. Наоборот, следует обладать известной долей его бесстрашия. Я, собственно, и вооружилась напутствием Фридриха: «Архаично думаю, считаю, сравниваю себя, сравниваю с Пушкиным, Достоевским. На то и мера, чтобы себя сравнивать. Сравнивайте себя тоже, леди и джентльмены милостивые!»<sup>14</sup>

В восьмидесятых годах я видела в Петербурге один итальянский фильм. Не запомнила, к сожалению, ни его названия, ни его великих создателей. Жители итальянского городка, спа-

саясь от немецких нацистов, покидают его. А враги приближаются неумолимо. Содержание фильма – непрерывный уход, как в романе «Железный поток», где предводитель «ухода» повторяет: «иттить надо». Одна находчивая богатая дама надевает на десятилетнюю девочку из бедной семьи серьги с огромными рубинами – миллионное состояние. Идея дамы надежно спрятать серьги гениальна. Веселое личико девочки-непоседы (она не знает, что на ней целое состояние) в серьгах с большими сверкающими во весь экран красными камнями то и дело появляется. И зрителям, посвященным в тайну, весело. Наконец, девочка нос к носу сталкивается с немцем.

Камни испуганно засверкали кровавыми бликами. А девочка не испугалась, потому что немецкий солдат перед ней был почти мальчик, совсем юнец. И тогда она соорудила ему смешную гримасу: растянула рот до ушей, высунула язык. Солдат тоже оказался мастером передразнивания и соорудил «рожу» пострашнее. Девочка и солдат передразнивали друг друга, как мне казалось, долго, причем под громкий хохот зала. В результате они даже подружились.

Догадка о передразнивании одного автора другим преследует меня уже давно. Как только я «догадалась», то сразу же вспомнила те кадры из итальянского фильма, о котором до сих пор тоскую. В самом деле, «набоковской» неприязни к Достоевскому у Горенштейна нет (хотя некоторые его оценки совпадают с высказываниями Набокова. Например, о двух типах женщин – либо чистых барышнях, либо «святых» проститутках, которым Достоевский, в конце концов, отдает предпочтение. Набоков приходил в ужас от сцены с Соней и Раскольниковым, склоненными над Библией)<sup>15</sup>. У Горенштейна же, скорее, присутствует «литературная злость» преподавателя Мандельштама поэта Владимира Васильевича Гиппиуса к коллегам-литераторам, «родственная злость». Этот тип предвзятого, равнодушного, ревнивого, влюбленного русского литератора сложился задолго до Гиппиуса, еще в 19-м веке.

Под влиянием наших бесед и споров с Горенштейном о Достоевском я почти сразу же после смерти писателя написала «готическую» повесть под названием «Провинившийся апостол», главным героем которой стал Великий Инквизитор из «Братьев Карамазовых».

Во вступительной части повести я сообщала: «Что касается Великого Инквизитора, которого я решила «ввести» в повесть как одного из главных персонажей (у меня он – провинившийся апостол), то именно к этому персонажу у Горенштейна было отношение определенное, лишенное всяких сомнений. Именно Горенштейн говорил мне, причем, неодно-



кратно, что Великий Инквизитор – это и есть сам Достоевский со всем его богоборчеством, верой-неверием, и весьма своеобразной любовью к человеку и ко всему человечеству в целом. Привожу высказывание одного из персонажей пьесы Горенштейна «Споры о Достоевском»: «Достоевским соблазнялись не только начинавшие жить духовной жизнью, им соблазнялись и личности, стоявшие в центре духовного творчества, ибо соблазн Достоевским есть одна из духовных болезней двадцатого века».

Не принимая в расчет отсутствия Достоевского в мире живых, писатель и обращался с ним соответственно. Однажды, после очередного недовольства (перечитывал какой-то эпизод в «Братьях Карамазовых») он сказал, угрожая тыча большим пальцем куда-то себе за спину (вероятно, там надлежало находиться Достоевскому): «Ишь ты! Взял избитый пошлый сюжет, нашпиговал его эстетикой, религией, доморощенной философией, и думает, что самый умный! Я ему покажу!»<sup>16</sup>

Полагаю, в литературном Элизиуме передразнивание продолжается. Или место встречи – другое? «Где эта земля Элизиум – Елисейское поле Гомера? – писал Горенштейн, – Если верить Гомеру, то на западном краю Земли, на берегу Океан»<sup>17</sup>. Освободившись от посюсторонних эмпирических пут, диалог оппонентов, воспарив в элизиум интертекстуального диалогизма, может продолжиться.

Достоевский: Я щедро напитал вас, милостивый государь, своими фантазиями, загипнотизировал философско-религиозной мистикой!

Горенштейн: Отнюдь. Не загипнотизировали – раззадорили!

Достоевский: Однако, вы подражаете мне!

Горенштейн: Или вы – мне. Но что есть искусство, если не подражание?

Достоевский: Наш спор напоминает спор двойников, каждый из которых претендует на оригинальность. И можно усмотреть в этом некую насмешку...

Горенштейн: Всякий предпочитает быть оригиналом. Пример тому – перипетия «Двойника». Однако же у литератора, нет основания для тревоги, поскольку, художественный мимесис есть не столько подражание творению, сколько подражанию самому Божественному творчеству. И здесь всякий – одновременно первый и последний.

Еще Аристотель говорил о двух формах подражания. Одна из них к решению литературных задач непригодна, поскольку речь идет о простом, нетворческом копировании «imitatio». Тогда как вторая форма – «aemulatio» – путь истинной художе-

ственности. «Aemulatio» означает творческое соревнование. И как тут не вспомнить еще и Эмерсона, сказавшего: «Все книги на свете написаны, я бы сказал, одной рукой: по сути они так едины, словно составляют собрание сочинений одного странствующего и вездесущего автора».

Ниже использую, пожалуй, привычные термины: «пародирование» и «шаржирование», «реминисценции» (хотя это совсем не одно и то же). Возможен и другой понятийный ряд: зеркальные образы, искаженные зеркальные отражения, отражение в оконном стекле...

Назвав эту часть книги «Восемьдесят тысяч верст вокруг Горенштейна», я завоевала себе свободу создания «пестрых глав», могущих быть и очерками, и эссе, и рассказами, и хрониками, или же сделать небольшой «филологический экзерсис» (о Горенштейне и его оппоненте Достоевском на примере двух романов: «Бесы» и «Место») – «термин», придуманный мною вместе с моим сыном. «Филологические экзерсисы» – таков подзаголовок написанной нами вдвоем книжке «Классическое вино», опубликованной в Петербурге в 1996 году.

Кстати, о названиях. Горенштейн приписывал решающее значение названию книги и величал его «титолом». Титул, говорил он, решает все. «Титул должен быть подобен притче», – писал он в «Веревочной книге» – В титуле сосредоточено направление романа. Так, например, первоначальное название романа о Раскольникове было «Пьяненькие». Ну, пьяненькие, и пьяненькие. А затем, позаимствовав у Цезаре название «Переступление и наказание», Достоевский резко изменил направление и замысел романа. Переменив название – заложил «камень» к созданию великого романа об убийце-террористе». Горенштейн и здесь «откорректировал» оппонента – он называл этот роман «Преступление без наказания»<sup>18</sup>.

В центре романа «Место» – оппозиционное тайное общество хрущевской «оттепели». Гоша Цвибышев становится членом организации, построенной автором по типу подрывной террористической группировки в «Бесах». В романе Достоевского Петр Степанович Верховенский, приехавший из-за границы – его принимают в губернском городе за заграничного эмиссара, имеющего «полномочия» – организовал оппозиционную ячейку из пяти человек – «пятерку», в которой все друг за другом «шпионят» и ему «переносят» – «народ благонадежный». Верховенский уверяет, что по всей России сотни таких «пятерок», а где-то там, наверху управляют этим движением.

В «Месте» руководитель организации Платон Щусев также построил ее поэтажно. «Сверху» была обычная легальная

крикливая группа людей, рассказывающая политические анекдоты, под ней – организация, напоминающая, на первый взгляд, группу сумасшедших. «Но еще глубже существовала небольшая боевая организация, о которой знало лишь несколько человек». Организациям такого рода свойственна таинственная ритуальность. Вступающего в общество приобщают к чему-то значительному и непонятному. Верховенский говорит: «Я нарочно выдумываю чины, должности: у меня секретари, тайные соглядатаи, казначеи, председатели, регистраторы...»

При вступлении в группу Щусева произносилась клятва, скрепляемая кровью. Гоше, после произнесения клятвы, подали на блюде стакан чистой воды и маленький, остро отточенный ножик. Этот острый ножик становится зловецким символом: Гоша не сумел этим ножиком слегка надрезать палец, как полагалось, а, наоборот, от волнения и нервного напряжения сделал слишком глубокий надрез, и от этого маленького ножика, приподнесенного на блюде, полилась кровь рекою. Автор замечает: «В организации Щусева, конечно же, был силен элемент бескорыстной детской игры. Чрезвычайно развит был ритуал и некие даже обряды».

В «Бесах», согласно меткому определению Бердяева, герои ничего не делают, постоянно сталкиваются друг с другом в одних и тех же местах, однако «заняты одним Великим Делом». Герои Горенштейна, которые, кстати, более деятельные, тоже постоянно сталкиваются друг с другом, на первый взгляд, совершенно случайно, причем даже и за пределами Москвы, и писатель объясняет, почему так происходит:

«Подобные, казалось бы, опереточные случайности среди так называемых заговорщиков закономерны».

Даже и в период между серьезными революциями все же основная масса народа не вовлечена в политические схватки, а занята созидательным трудом, и антиправительственный пятачок бывает весьма узок, так что все у всех на виду, политическим заговорщикам разных направлений приходится сталкиваться между собой даже чаще, чем с властями».

В одной из глав «Места» проходит заседание трибунала, трибунала, на котором обычно выносятся смертные приговоры. На повестку дня выдвинуты «на конкурс» два террористических акта, один из которых необходимо совершить: убийство Рамона Маркадера и убийство бывшего премьер-министра Вячеслава Михайловича Молотова. Руководитель организации Платон Щусев, деятельный, энергичный человек, с «натурой вождя улицы», верил, что обладает выдающимися организаторскими способностями, и полагал, что мог бы легко захватить власть в стране, если бы не был смертельно болен. «Нет,

Никитушка, хитрый мужичонка – говорит он, – Россия не кулацкая лавка в деревне, натаскал для себя товару и хватит... А остальное в закрома... В тишину... На партийную повышенную пенсию... Нет, мы кусочек пожирней, послаще да на Божий... С шумом с жертвами...».

Для привлечения всеобщего внимания нужна кандидатура международного масштаба. До Хрущева, разумеется, не добьются. Однако, легко убить Молотова. Что же касается убийцы Троцкого, свободно разгуливающего по Москве, правда, под чужим именем, то такая личность сегодня уже не актуальна.

Таким образом, кандидатура бывшего министра иностранных дел Молотова одерживает верх: принято решение казнить именно его. «Наша организация, – сказал торжественно Щусев, – вынесла смертный приговор сталинскому соратнику номер один, палачу Молотову, который много лет вместе со Сталиным душил и истязал нашу многострадальную родину... Вам, русские мои юноши, выпала великая честь... Вот он, случай, о котором писал Герцен и которого недостает, чтоб сделать нашу оппозицию национальной, каковой она была во времена декабризма».

Щусев, который не дорожит жизнью, поскольку смертельно болен, заверил свою организацию, что «смертный приговор» – всего лишь символика, что Молотов отделается лишь пощечиной, тогда как на самом деле он намеревался убить его – у него были для этого заготовлены бритва и молоточек – и тем самым погубить мальчиков, которые пойдут с ним. Однако, Горюн предупредил Гошу: «Замысел его страшен, он умереть хочет, как умирали предбиблейские цари хеттов. Вместе с молодыми, не отжившими свое жизнью вокруг, в одной могиле». Гоша Цвибышев предотвратил убийство, действительно «влепил» Молотову пощечину, тем самым нарушив план действий Щусева.

Молотов уже год как был отстранен от дел и лишен личной охраны, чем был нанесен непоправимый удар его власти и авторитету, потому что власть имущие при «режиме» были невидимы народу и недоступны ему. Вот уже год он, «крепкий старик с чистыми белыми усиками» и в традиционном пенсне, известном всему миру, по утрам прогуливался в мягкой шляпе кофейного цвета со своей собачкой – черным шпицем – в районе улицы Грановского, где находился правительственный дом. Гоша решил перехватить инициативу и предотвратить кровопролитие, которое было неизбежно, поскольку Щусев был «на изготовке», *то есть держал руку в кармане, «где у него была бритва, эта переносная карманная гильотина индивидуального террора»* (курсив мой – М.П.). С криком «сталинский па-

лад!» Гоша ударил «ладонью по гладко выбритой, сытой щеке» Молотова. Молотов пошатнулся от удара, но тут подоспел Щусев и зачем-то еще и толкнул Молотова, и тот упал на четвереньки.

«Сцена была дикая и нелепая. Мы оба неловко топтались, потеряв четкость плана, лаяла собака, а на мостовой у наших ног лежал и кричал Вячеслав Михайлович Молотов, бывший всемирно известный могущественный министр иностранных дел, человек, имя которого произносили следом за именем Сталина, и звал на помощь тем самым голосом, который в 1941 году возвестил стране о начале войны».

В романе «Бесы» в главе «Последнее решение» «собрались наши в полном комплекте впятером». В маленьком покрывившемся домике на краю города поздно вечером «пятеркой» было принято решение убить Шатова, на том основании, что он, якобы, донесет. Опять же, была у Петра Степановича и личная причина для того, чтобы скрепить свою «пятерку» («надо было окончательно скрепить пятерку, на всякий случай») кровью именно Шатова, поскольку «он ненавидел Шатова лично». Рассказчик замечает: «Я даже убежден, что это-то и было главной причиной». Место убийства описано Достоевским в лучших традициях «готического» романа. Шатова заманили в очень мрачное место ночью (глава «Многотрудная ночь») в конце огромного ставрогинского парка у старинного грота, где бесполезно было звать на помощь – никто не услышит.

Трое из четырех (Шигалев, в последнюю минуту отказался участвовать в убийстве и ушел) повалили Шатова и придавили к земле. И тогда Петр Степанович «аккуратно и твердо наставил ему револьвер прямо в лоб, крепко в упор и – спустил курок». Заметим, у Достоевского убийство «успешно» состоялось, Горенштейн же превращает покушение на Молотова в фарс.

В «Бесах» бунт развернулся в далеком губерньском городе, в «Месте» бунт возможен во всей многомиллионной стране. Сцена бунта в южном городе и убийства толпой директора завода Гаврюшина-Лейбовича («перед смертью толпа уж над ним потешилась, чуть ли не по-ребячьи подурачилась, как могут дурачиться лишь во время лихих русских погромов») предупреждает, что в стране без «хозяина» при возрастающей оппозиции массового обывателя пришло время самозванцев, о которых опять же предупреждали «Бесы». Ставрогин приходит к Марье Тимофеевне, и она, не узнав его, кричит: «Слушайте вы: читали вы про Гришку Отрепьева, что на семи соборах был проклят?... Прочь, самозванец!... Гришка От-репье-в а-на-фе-ма!».

Горенштейн совершил еще одно *aemulatio*: создал образ Журналиста, типичного интеллигента 60-х годов, во многом напоминающего Степана Трофимовича Верховенского из «Бесов». Писатель однажды говорил мне, что в образе Журналиста соединил двух известных литераторов – Илью Эренбурга и Константина Симонова (с перевесом в сторону Симонова в большей степени).

Между Журналистом и Гошей (полное имя Гоши, как у Орешьева, Григорий) будущим зятем Журналиста, возникает дискуссия на тему самозванства. Оба вспоминают правление Лжедмитрия, которое казалось поначалу удачным, однако закончилось трагически. Журналист знает о тайном желании Гоши возглавить Россию и предупреждает его: «Властолюбцы редко бывают патриотами, но счастье того властолюбца, чьи стремления совпадают с народным движением. В противном случае его пеплом выстреливают из пушки, как это случилось, например, с Лжедмитрием».

Одним из эпиграфов к третьей части романа («Место среди жаждущих») Горенштейн взял слова из «Книги Судей»: «В те дни не было царя у Израиля; каждый делал то, что ему казалось справедливым».

Новый глава государства Никита Хрущев, вступивший на смену абсолютному самодержцу, почитаемому обывателем, который именовал его правление «порядком», с своими «простонародными действиями и простонародной личностью» уничтожил святость власти. «А если в такой обстановке у русского человека отнимать хлеб и пряники, он знает, что ему делать. Подспудно дремавшее чувство вековых российских смут просыпается в нем, и российский бунт, жестокий и радостный, является вдруг на свет, как веселое и забытое сказочное чудище». Так говорится в романе «Место».

Приведу эпизод из «Бесов», сшаржированный Горенштейном. Речь в нем идет о плеяде интеллигентов-либералов, начало которой в русской литературе положил типичный идеалист 40-х годов, тургеневский Рудин. Эти «поборники прогресса», как их называл Набоков, умели, в первую очередь, красиво говорить обо всем, в том числе о социальном прогрессе и переустройстве общества. Образ «русского человека на *rendez-vous*» достиг апогея в образе Степана Трофимовича. На таком вот сборище «поборников прогресса» Степан Трофимович обратился к толпе с изысканной речью: «я пришел к вам с оливковой ветвью. Я принес последнее слово...» И получил из толпы «бесов», то есть «нового поколения», грубоватый в духе 1860-х годов, ответ-окрик: «Каламбуры 40-х годов!»

«Интеллигентский» ряд продолжил Горенштейн в образе Журналиста. Журналист, благополучный человек, известный литератор, полулиберал, неотразимый и обаятельный, так же, как сто лет назад его литературный предшественник Степан Трофимович, стоит беспомощный на сцене перед аудиторией молодых людей (среди них члены Русского национального общества имени Троицкого, цель которого – защита русского общества от антисемитизма) и пытается убедить публику весьма туманной, пространной речью. На вопрос одного из «злых» мальчиков из толпы, к чему все-таки призывает журналист, он отвечает:

«К безвременью... Россия нуждается, по крайней мере, в двух-трех веках безвременья. Все силы страны должны быть сосредоточены на внутреннем созревании. Пусть на этот период восторжествует тихий, мирный, влачащий свою лямку обыватель. Этого не следует пугаться. Это будет лишь фасад. За фасадом будут происходить интереснейшие процессы.

- Какие процессы? – уж совсем неуважительно выкрикнули из публики. – Вы говорите загадками».

Для Горенштейна Достоевский был автором, обладающим могучим победоносным талантом. А кроме того, большим мастером литературных провокаций и скандалов, готовым во имя своих целей прибегать к ложным показаниям, к авторскому произволу. (Этой теме я посвятила отдельную главу – «Литературные провокации».)

«Жидок Лямшин, якобы украл или должен был украсть деньги у Долгорукова – говорил писатель. – Так украл или не украл? – Достоевский, вернее, его хроникер, говорит неуверенно: «но почему-то прибавляют тут участие Лямшина». Достоевский не знает, украл Лямшин или нет, однако провоцирует читателя».

Горенштейн ответил Достоевскому на феномен Лямшина, доведя феномен до абсурда. В романе «Место» появляется великолепный образ – преподаватель литературы, член Большого партийного ядра Русской Национал-социалистической партии Сухинич, который глубоко возмущен «безобразиями» и «бесчинствами», творимыми евреями в России. Впрочем, скоро выяснится, что учитель литературы подменяет реальную действительность художественной «бесовской» реальностью романа Достоевского. Сухинич произносит такую обвинительную речь: «Вспомните великую сцену у Достоевского... Кощунство и надругательство над иконой русской Богородицы... Жидок Лямшин, пустивший живую мышь за разбитое стекло иконы... И как народ толпился там с утра до ночи, прикладываясь

поцелуем к оскверненной русской святыне и подавая пожертвования для покрытия церковного убытка».

При всей оппозиции к Достоевскому, многое Горенштейна с ним сближало. В частности, любовь к случайности. В одном из писем 7 сентября 1998 года в Бонн Эрнсту Мартину (Мартин намеревался издавать Горенштейна<sup>19</sup>) он писал: «По тематике Лев Толстой с его биологическим мировоззрением мне близок, однако я далек от его фаталистических идей. Что же касается Достоевского, то мне близка одна его позиция: он также, как и я, придает большое значение случаю, как в судьбе отдельного человека, так и в истории».

Уважение к случаю, на мой взгляд, признак внутренней свободы, сугубо просвещенческий взгляд на мир. Ведь случайность никому не подотчетна, она противоположна всему роковому, мистическому, сверхъестественному, божественному. Случайность – это физика. А закономерность – метафизика.

Писателю был уже известен его окончательный диагноз, когда он решил поехать в Москву на конференцию, посвященную Достоевскому. Наши уговоры не возымели никакого действия. «Мина хочет уложить меня в больницу, – возмущался он, – а я хочу поехать на конференцию».

«Творчество теперь для меня не главное, – пишет он Ларисе Щиголь, главное – здоровье, а ко всему ещё обнаружено у меня сильное воспаление поджелудочной железы... Хоть более всего я сам на себя обижаюсь. Теперь, когда предстоит поездка в Москву на семинар, по моему давнему оппоненту Достоевскому (курсив мой – М.П.) всякие проблемы со здоровьем особо неприятны». Горенштейн не говорит Ларисе всей правды – он уже тогда знал настоящий диагноз. Я вынуждена была «тайно» позвонить кинорежиссеру Александру Прошкину, который должен был встречать Фридриха в аэропорту, и предупредить его о болезни Горенштейна. И поскольку намечался осмотр московским врачом, я попросила назначить осмотр не после Нового 2002 года, как предполагалось, а как можно скорее. Александр так и сделал. Он очень любил Горенштейна. Он и его жена Аня заботились о Фридрихе в Москве и делали для него все возможное. Прошкин мечтал поставить фильм по книге Горенштейна «Под знаком тибетской свастики». Осуществится ли эта мечта?



## 15. СМЕШНАЯ ПЕЧАЛЬ

---

В романе «Место» несколько «вставных» сюжетов: история директора завода Гаврюшина-Лейбовича, совершившего политическую ошибку, история Висовина и Журналиста, рассказ Орлова «Русские слезы горьки для врага». Подобные «скобки» Борхес называл «литературными лабиринтами», и в эссе «Рассказ в рассказе» привел несколько примеров, помимо «Тысячи и одной ночи»: «Гамлета», когда Шекспир в третьем действии возводит сцену на сцене, роман Густава Мейринка «Голем» – история сна, в котором снятся сны и, наконец, роман ирландца Флэнна О’Брайена «В кабачке ‘Поплыли птички’», написанный под воздействием Джойса, и который по сложности литературного лабиринта не имеет себе равных.

История Маркадера в романе Горенштейна также вставная, это рукопись. Она – часть сложного лабиринта романа. Рукопись, («дело о Маркадере») лежавшая в синей папке – исповедь Меркадера, рассказ от первого лица о том, как было совершено убийство Троцкого.

Созданию «вставного» сюжета об убийце Троцкого способствовал факт биографии писателя. Была у него одно время подруга чилийка, такая красавица, что, по воспоминаниям очевидцев, на нее все оглядывались, когда они вдвоем шли по улицам Москвы. Чилийка была студенткой университета «Дружбы народов» и ввела Горенштейна в круг своих друзей, встречавшихся в Испанском клубе, где, как оказалось, клокотали террористские, да еще, к тому же, испанские страсти. Чилийка (не помню ее имени) познакомила Фридриха со своим сокурсником, легендарным террористом Ильичем Карлосом Рамиресом, получившим даже звание «террориста № 1», а также несметное количество лет французской тюрьмы за политические убийства. Там же, в Испанском клубе состоялась знакомство с убийцей Троцкого Рамоном Меркадером. Меркадеру не было тогда еще и пятидесяти. Несмотря на долгие годы мексиканской тюрьмы, он выглядел вполне крепким, слегка седеющим,

импозантным господином. Впрочем, он был отнюдь не господином, а именно товарищем, товарищем, причем крайне недовольным царящей неразберихой и политическим беспорядком оттепели. Увидев его, Горенштейн подумал: «Он из тех, по которым, когда встречаешься, сразу видно: «Ой как все плохо!» Впоследствии, в романе «Место» он напишет о Рамиро Маркадере, срисованном с Рамона Меркадера: «Будучи натурой неудовлетворенной, озлобленно-капризной и поэтичной, он искал шума, политических лозунгов и мученичества». Горенштейн изменил вторую букву фамилии террориста и в устном разговоре произносил слово «Маркадер» с ударением на последнем слого. «Я был знаком с убийцей Троцкого Маркадером!» – заявлял он бывало.

Недовольство Меркадера было вполне понятным: Герой Советского Союза, отсидевший в мексиканской тюрьме двадцать лет за «правое дело» (а в справедливости пролитой им крови у него не было, разумеется, никаких сомнений) и прибывший в самом начале шестидесятых годов в Москву, как он полагал, на белом коне, вместо того, чтобы пожинать плоды своего неслыханного геройства – совершенного им убийства века – вынужден был жить инкогнито, под другой фамилией (под чужой фамилией он был впоследствии и похоронен). Он был уверен, что в сталинские времена воздались бы ему заслуженные почести; тогда как на самом деле он, вероятно, окончил бы в сороковых годах дни свои также, как другой участник борьбы с международным троцкизмом: ангажированный в 1936 году сталинским Иностранным отделом НКВД Сергей Яковлевич Эфрон, муж Марины Цветаевой, который, по возвращении в Россию, без промедления был арестован и расстрелян. Пути двух легковых романтиков, служителей ложной идеи – Рамона Рамиро и Сергея Яковлевича – не знавших друг друга (впрочем, так ли это?), странным образом переплетаются и связываются с одним именем: Лев Давыдович Троцкий. Эфрон, как теперь известно, принимал участие в похищении архивов Троцкого в Париже, привезенных сыном Троцкого Седовым. А с конца 1936 года Эфрону было поручено организовать слежку и за самим Львом Седовым, управлявшим в Париже делами отца. Сергей Яковлевич пришел даже однажды в типографию, где набирался «Бюллетень оппозиции», издаваемый Троцким, чтобы увидеть его сына в лицо. И увидел. Впрочем, подозревают Эфрона в другом кровавом деле: убийстве бывшего работника НКВД, невозвращенца Игнатия Рейсса.

Что же касается террориста Ильича<sup>20</sup> (Карлоса Рамироса), с которым Горенштейн также неоднократно встречался в клубе, то тот утверждал, что возможно, в принципе, достичь мировой

гармонии: для этого нужно совершить еще два террористических акта – убить русского генерального секретаря и американского президента. И тогда воцарится всемирный мир. Писатель вступал в дискуссии с террористом Ильичем, желая понять логику убийцы, этого, как сказал бы Достоевский, «особого взъерошенного человека с неподвижной идеей во взгляде»<sup>21</sup>, спорил с ним, но товарища Ильича переубедить так и не сумел. Горенштейн поначалу был потрясен ортодоксально-революционной атмосферой клуба: здесь не было и тени «оттепели», а наоборот, над посетителями властвовали ледяные «времена развращения», «времена до смешного революционные»<sup>22</sup>. С другой стороны, для писателя, задумавшего роман «Место», такая атмосфера, возможно даже небезопасная, поскольку в клубе безусловно присутствовали представители органов, была неоценимым революционно-террористическим опытом.

Если учесть, что знакомство с террористами в известном клубе произошло в пору любви к латиноамериканской красавице, можно предположить, откуда «Гренада-Севиля моя». Интерес к Испании и к испаноязычной среде отразился и в названии последнего романа писателя – «Веровочная книга». Горенштейн говорил, что у названия испанские корни (об этом ниже). «Смешная печаль» – вот как он определил испанскую мечту и написал о дон-кихотовской смешной печали во «Вступлении» к «Веровочной книге»: «Смешная печаль имеет свою прародину, свою страну рождения – это Испания. Недаром голевский Поприщин стремится в Испанию. Да и легенда о Великом Достоевском... то есть, простите, невольно оговорился, описался, но вычеркивать не буду, о Великом Инквизиторе испанском – это Севиля – «воздух лавром и лимоном пахнет», поэтому и я, как известно, большой подражатель великим, решил обратить свои взоры на Испанию».

В романе «Место» писатель, кажется, даже не исследует, а препарирует, как бы сквозь увеличительное стекло разглядывает террориста, пытаясь понять его сущность. Террорист, говорил Горенштейн, как правило, ущербный человек, неудачник, который втягивает в свои личные – не общественные, не патриотические – дела и проблемы невинных людей, прикрываясь чувством долга перед обществом. Фанатичные натуры – часто жертвы ущербного детства. Несчастный случай в детстве одного человека может иметь роковое значение для общества. Например, «пахарь» Ленин (писатель называл этого Ильича «пахарем») имел несчастье еще в юности, задолго до марковского «Капитала», прочитать «перепажавший» его роман «Что делать?» «Если бы он сначала прочитал «Капитал», – утверж-

дал Горенштейн, — то воспринял бы «марксизм» не так топорно, то есть не звал бы Русь к топору, как это делал автор романа». Вспоминал он и «ущербного» Белинского, которого в детстве жестоко высек отец. Будущий критик, по собственному признанию, возненавидел отца и желал его смерти не меньше, чем Карамазов. Повзрослев, он пришел к выводу, что вина лежит не на отце, а на обществе, его сформировавшем. Таким вот образом складывались натуры революционеров, террористов и других бесов.

Напомню читателям некоторые факты истинной «героической» биографии знакомого и собеседника Фридриха в Испанском клубе Рамона Меркадера, прототипа одного из героев романа.

Меркадер дель Рио родился в 1913 году. Был завербован для убийства Троцкого при содействии его собственной матери, агентки НКВД Марии Каридид. Подготовка убийства проходила под руководством Н. И. Эйтингена. Меркадер сблизился с секретарем Троцкого Жаком Монраром и получил доступ в дом «объекта». 20 августа 1940 года ударом ледоруба он смертельно ранил Троцкого. Газета «Правда» сообщала: «Покушавшийся назвал себя Жан Морган Вандендран и принадлежит к числу последователей и ближайших людей Троцкого».

Двадцатисемилетний Рамон Меркадер полностью отбыл срок в мексиканской тюрьме — двадцать лет — и был освобожден 6 мая 1960 года, доставлен на Кубу, а затем пароходом в СССР. Этот Герой Советского Союза жил под чужой фамилией и погребен под чужой фамилией на Куицевском кладбище в Москве в 1978 году.

Рамиро Маркадер, герой Горенштейна — испанский юноша, влюбленный в свою красавицу мать<sup>23</sup>. «Будем говорить об этом не ради остренькой подробности, — говорит троцкист Горюн. — В высокой, но тайной политике к таким фактам относятся, как к медицине, — серьезно и делово. Уверен, что при конкурсе исполнителей приговора, будем говорить проще — конкурсе убийц, это сыграло серьезную роль»<sup>24</sup>. Мать Рамиро выходит замуж за русского агента по фамилии Котов. «Отчим мой был из тех, кто своим взглядом ломает чужие взгляды, властелин и аристократ революции». Рамиро, ставший свидетелем физической близости матери и Котова, уходит из дома и присоединяется к отряду народной милиции. Вся его страсть к матери обращается в ненависть к врагам революции. Отчим, опытный чекист, без труда убедил Рамиро принять участие в покушении на «фашиста» Троцкого, которого решено было ликвидировать, действуя через Коминтерн. «Котов достаточно изучил характер молодого республиканца, своего пасынка, жаждавшего

мести за поражение республики и где-то в глубине не простившего все-таки своей матери измену с другим мужчиной. Котов так и формулировал на заседании по убийству Троцкого»<sup>25</sup>.

Как-то Борис спросил писателя: «Фридрих, почему вы поменяли орудие и место убийства в романе «Место»? Троцкий, как будто, был убит ледорубом?» Горенштейн ответил: «Существует несколько версий убийства Троцкого, а мне для замысла нужен был садовый ломик». Предмет, которым убивают в романах Горенштейна – особая тема. У персонажей-убийц, как правило, «непритязательные», «скромные», одомашненные даже, орудия убийства и насилия, отмеченные печатью личного, интимного данного конкретного убийцы. Это, конечно, мое ощущение, догадка. Однако судите сами по этому краткому перечню: маленький садовый ломик, молоточек и бритва, острый ножик. Все орудия убийства с уменьшительно-ласкательным суффиксом. Этот авторский прием – редкая литературная находка. Внешняя безобидность «приборчика» убийства оттеняет милого, симпатичного террориста, которого зачастую «отделяют» от злостного убийцы. И подчеркивает личностность, интимность преступления, истоки которого – в пережитых детских трагедиях и травмах.

Горенштейн «меняет» не только орудие убийства. Он «меняет» место убийства, а также «производит обмен» секретаря Троцкого на красивую секретаршу, которая, конечно, нравится Троцкому. Между тем, Рамиро влюбляется в секретаршу, которая тоже влюбляется в Рамиро, горячего испанца с черной повязкой на голове – свидетельство ранения, полученного в боях с фашистами. Я где-то читала высказывание Рудольфа Штайнера об определенном типе террориста (речь шла, кажется, о провокаторе Азефе), обладающего невероятной животной энергией при полном отсутствии воли. Эта «разновидность» («вид» или «подвид» террориста) неспособна действовать самостоятельно. За таким террористом всегда стоит некто другой. Сам же террорист выглядит, однако, инициативным, мужественным, многозначительным, загадочным и, как правило, нравится женщинам. Итак, секретарша Троцкого полюбила Рамиро. Личный фактор постепенно вытесняет фактор идеологический.

«Лев Давыдович Троцкий, благодаря своей мужской слабости (вот где не выставишь охраны, и вот что понимал Котов), благодаря мужской слабости к молодым красивым женщинам, что свойственно многим некрасивым низкорослым пожилым мужчинам, благодаря этой слабости укрепил план Котова и подготовил свою гибель».

У организаторов теракта произошла, правда, иеувязка. Вдруг наступило золотое время советско-фашистской дружбы,

и в прессе замелькали такого рода фразы: «близорукие антифашисты!» Под знаком борьбы с фашизмом Троцкого убивать было уже нельзя – необходимо было срочно перестраиваться. Троцкого следовало убрать тихо, как бы подпольно, с уголовным уклоном, без идеологического шума и, тем более, без громких лозунгов, столь свойственных некоторым неводержанным испанским юношам. Все это не так-то легко было внушить антифашисту Рамиро.

Выручил, опять же, бытовой момент (личный фактор): «Личное начало в политике и терроре – вот что необходимо для успеха, – сказал Горюн, – и это поняли в спецкомиссии по Троцкому».

Вот как произошло убийство. Троцкий, этот озорник, «приседал» на скамейке в саду к красивой секретарше. Она со слезами убежала, на ходу застегивая блузку. И вот Рамиро, который подстерегал Троцкого, чтобы убить его, и все никак не мог найти удобного случая, увидел убегающую девушку с расстегнутой блузкой. Не задумываясь, он в гневе ревности бросился к Троцкому, который сидел в беседке, увитой зеленью и что-то писал. «Очевидно, сильная жара (которая помешала мне спрятать под одежду оружие) тут пошла мне навстречу и в виде компенсации заставила Троцкого покинуть свой кабинет и пренебречь осторожностью».

«Я не знаю, откуда взялся на песчаной дорожке небольшой садовый ломик, возможно, он был забыт садовником, а возможно, и подброшен судьбой (испанцы, даже материалисты, суеверны в удаче и в неудаче). Я схватил этот ломик и безрассудно шумно пошел, чуть ли не побежал к беседке. Но Троцкий настолько был увлечен работой, что поднял на меня глаза в тот момент, когда я занес ломик правой рукой, левой, для крепости удара, ухватившись за стойку беседки. Мы оба были испуганы, он понятно чем, я же возможностью неудачи, ибо ревность помогла мне решиться на действие, но когда я схватил ломик, то совершенно забыл обо всем и помнил только о механическом действии, которое должно было совершиться».

Рамиро удалось убить Троцкого. Он совершил, однако, серьезную тактическую ошибку: «Когда тело Троцкого упало, вернее, вяло сползло со скамейки, на которую он первоначально повалился, я крикнул в злобе:

– Смерть фашизму, – так что с этой фразой моему адвокату пришлось потом здорово повозиться, доказывая, что я был в беспамятстве от ревности и выкрикнул политический лозунг как обыкновенное ругательство».

## 16. ВНУЧАТАЯ ПЛЕМЯННИЦА ХРУЩЕВА

---

Зимой 1997 года Горенштейн познакомился с Ольгой Лозовицкой, дальней родственницей Хрущева. Настолько дальней, что генеалогического термина для такого родства не существует. Тем не менее, Ольга на удивление похожа на Хрущева. Фридрих решил для себя называть ее внучатой племянницей генерального секретаря. Так она, сама того не подозревая, была втянута в литературную игру.

Ибо тема Хрущева и хрущевской оттепели – ключевая в творчестве писателя, хотя сам Хрущев на страницах его произведений ни разу не появляется. Даже в политическом романе-детективе «Место» глава государства остается за кулисами, за сценой или смотрит весело из портретной рамы. В домах реабилитированных жертв сталинизма висят на стенах его портреты – «в капроновой шляпе и рубашке с широкой улыбкой на жирном крестьянском лице любителя простой и обильной пищи»<sup>26</sup>.

Личностью этого человека пронизан роман. Повсюду о нем говорят – на тех самых кухонках, где советская интеллигенция имела обыкновение решать важнейшие вопросы бытия, на вокзалах, в поездах, троллейбусах и трамваях:

«А анекдот слышали? – сказала толстуха с янтарными бусами, и, еще не успев рассказать анекдот, она затрясла жирным своим бюстом. – Хрущева, значит, возле мавзолея поймали: с раскладушкой туда пробирался... А то еще один: как найти шахту, где Хрущев в молодости работал...»

– Да какой он там шахтер, – махнул рукой старичок, – помещик он... Из помещиков... Хотите коммунизм, говорит... Вот вам коммунизм... Вот вам голодуха...»<sup>27</sup>

Однако, вернемся к «внучатой племяннице», как Фридрих мне ее представил, несмотря на ее протесты. Горенштейн познакомился с ней в связи с идеей постановки пьесы «Бердичев» в драматическом театре имени Горького, когда-то ведущего театра ГДР, который и после объединения Германии остался вер-

ным «прорусскому» репертуару: то в нем ставят чеховскую «Чайку», то «Детей солнца» Горького. Собственно, хлопотала Ольга о своем друге – кинорежиссере Сергее Ашкенази, который должен был бы ставить пьесу, если бы идея осуществилась. А для этого были все предпосылки: главный режиссер театра был от «Бердичева» в восторге.

Ольга рассказывала, что Ашкенази привез в театр автора пьесы, который, однако, практически не принимал участия в переговорах и вел себя так, как будто бы не имел к пьесе «Бердичев» никакого отношения.

Вниманием его завладела Ольга. Видимо, она была в его вкусе: он вообще любил «русский стиль». Правда писатель вскорости сообщил Ольге, что предпочитает женщин помоложе, двадцатипятилетних. Он любил это подчеркнуть в разговоре с дамой. Любил он также щегольнуть успехом у девушек.

Так, например, вернувшись из очередной поездки в Россию, он рассказывал моему сыну об одном новом знакомстве.

Фридрих: Она из Саратова... Зовут Дарьей. Она на пять лет моложе... (Многозначительная пауза)

Игорь: Моложе вас?

Фридрих: Нет, вашей жены... (жене Игоря было тогда двадцать восемь лет).

Насколько это предпочтение молодым дамам соответствовало истине судить не могу, тем более, что Фридрих делился потом – опять же с моим сыном – также и совершенно противоположными мыслями, распространялся о преимуществах зрелости и т.д.

Ольге Лозовицкой Горенштейн показался очень интеллигентным, «похожим на профессора». Она рассказывала, что на нем был роскошный плащ мышинного цвета фирмы «Кэмел», а когда он снял его, то оказался в хорошо отутюженных брюках, так что весь его лоск и даже щегольство были ею восприняты как признак человека женатого, семейного.

Пока переводчик пьесы «Бердичев» Максимова за другим столом, на втором плане, вела переговоры, Фридрих завел беседу с Ольгой, «закидал» ее, как она вспоминает, вопросами: А кто вы здесь такая? А как ваша фамилия? А сколько лет вы в Берлине? А почему я вас раньше не знал? И наконец: а с кем вы живете?

Ольга, озадаченная тем, что драматург совершенно не принимает участия в устройстве «своих дел», ответила:

– Я живу с мужем, дочкой и собакой.

– А у меня дома только кот, – ответил Горенштейн, из чего Ольга справедливо заключила, что у писателя нет семьи.



– А как зовут вашу собаку? – спросил драматург.

– Рем, – ответила Ольга. – Это пудель с очень хорошей родословной. Но, видите ли – он помесь черного и белого пуделя, и от этого получилось какое-то хромосомное несовпадение. Таких черно-белых пуделей называют арлекинами. Наш Рем пятнистый, то есть, дефектный и поэтому его не принимают в члены «Клуба пуделей», а стало быть ему не найти невесту.

Горенштейн слушал рассказ Ольги с большим вниманием и сочувствием, а затем сказал:

– А вот этот кот Крис – с родословной без дефектов, он из штата Мэн. Но и ему невесту найти не удалось. Поскольку в нем течет кровь дикой камышовой кошки, то бывает агрессивен. Он в этом не виноват! У него есть алиби, поскольку он кот из штата Мэн. Вот вчера что-то на него нашло, и он на меня вдруг кинулся и искусал изрядно, так что я вынужден был ночевать у моих друзей, у Мины с Борисом, поскольку Крис потом весь вечер не мог успокоиться<sup>28</sup>. – И с этими словами Горенштейн приподнял штанину, чтобы показать укусы – при этом он опрокинул стакан, стоящий на столе, и пролил чай на брюки. Так состоялось их знакомство.

Ольга из театра довезла Горенштейна до Зэхсисештрассе на своем новом БМВ последней модели. По дороге она пожаловалась ему, что эту машину слишком дорого содержать, она хотела бы ее продать и купить более скромную. Но Фридрих сказал, что такую машину продавать не следует, потому что она «вызывает уважение». (Вообще, было заметно, что он себя в БМВ гораздо больше уважал, чем в нашем стареньком фольксвагене.)

Тогда же Ольга рассказала Горенштейну, что родилась в той же деревне, что и Хрущев (мать приехала туда на две недели в гости и там ее родила). Деревня Калиновка Хомутовского района Курской области находится в районе Курской магнитной аномалии. Именно над этими местами, в небе над Калиновкой, отказывали приборы на борту первых советских самолетов – как в Бермудском треугольнике. По мнению Ольги, эта аномалия отразилась также на жителях деревни, которые все пронизаны особенной магнетической энергией. Рассказ Ольги напомнил мне Гофмана и его пристрастие к магнетизму, теории созданной австрийским врачом Францем Месмером<sup>29</sup>. Энергия калиновцев какая-то гофмановская, воплощение шеллингианской мечты немецких романтиков. Видимо, в силу этой энергии, все урожденные Калиновцы похожи друг на друга, и, соответственно, на Хрущева. Ольга, а она доктор психологии, подметила, что у всех у них одинаковое выражение глаз, не совсем, по ее мнению, нормальное.

Некалиновские родственники Ольги любили подчеркнуть, что она, мол, родилась в Калиновке, а стало быть – «другая». Так например, она не может носить электронных часов, а электронные будильники тут же перестают работать там, где она появляется. Компьютеры с ней также не в ладу. Можно предположить, что аномальная энергия отразилась также непосредственно на стиле правления Хрущева, на правлении, которое Горенштейн в романе «Место» определил как «полное мужицкой фантазии», спровоцировавшее в разных концах страны «разрозненные экономические бунты», носившие на себе следы «детской разнузданности и веселья».

Курский чернозем, как известно, самый плодородный в мире, однако этот фактор, способствующий изобилию, сказался на калиновцах гораздо меньше аномалии. Стоят убогие неухоженные деревянные избы, окрашенные в голубой и зеленый цвет, тогда как всего в пятидесяти километрах от деревни – украинские села, в которых прямо у дороги выстроились, как на конкурсе красоты, нарядные, зажиточные, разукрашенные «хоробой» хаты, одна другой краше. Не то, чтобы «за державу обидно», а все же напрашивается вопрос, почему в самом плодородном уголке страны (неподалеку находится знаменитая заповедная Стрелецкая степь, которая не запахивалась со времен Екатерины, с редчайшими видами полевых трав), где крупные, намагниченные полевые цветы (причем, особенно много ромашек) растут везде – на дорогах, во дворах и у свинарников, где везде буквально рвется из земли красота, ибо природа стремится «взять свое», так вот, почему всюду убожество такое, примитивный быт существования. Впрочем, хотя самогон льется рекой, а в избах царит нищета, здесь еженедельно, в отличие от украинцев-соседей, всей деревней идут в баню. Личная гигиена соблюдается неукоснительно. Также свято оберегается калиновцами и чистота традиции: и по сегодняшней день в каждом доме в углу – икона (икона каким-то образом не убиралась даже в сталинские времена), а на стене обязательно красуется портрет Хрущева.

Впрочем, может быть, виновата в убожестве Калиновки не магнитная аномалия? Или, может быть, наоборот, магнитная аномалия – метафора, символ всерусской «аномалии»? «Псалом», «Улица Красных зорь», «Яков Каша», «Притча о богатом юноше», «Куча» – практически все произведения Горенштейна посвящены этому образу. В повести «Последнее лето на Волге» в маленьком приволжском городке герой случайно заходит в столовую под названием «Блинная». Грязная и прокуренная, она напомнила ему записки некоего серба-путешественника, потрясенного когда-то атмосферой русского тракти-

ра, где из века в век сидят «люди мелкого счастья», «лакомы на питье», «где место и посуда свинского гнуснее». Однако рассказчика обескураживает не пошлость заведения, а отсутствие логики, аномалия происходящего. В таком притоне должно отталкивать абсолютно все, в том числе и качество блюд.

Однако «фирменное» блюдо «Блинной» превзошло всякие ожидания. «В лучших ресторанах не ел я таких блинчиков, — замечает автор, — обжариваемых до румяной корочки, с тающими во рту фаршем из рубленых вареных яиц, риса и мяса. Зачем жарили здесь эти блинчики? Зачем их подавали на заплываемые столы или на смрадные вонючие скатерки. А если и подавали, то отчего не вымыли помещение, не постелили хрустящие белоснежные скатерти, на которых таким блинчикам место? В этих чудесных блинчиках на грязных скатертях была какая-то Достоевщина, какой-то Гоголевский шарж, какая-то тютчевская невозможность «понять Россию умом».

Писатель, не случайно, воспринял рассказ Ольги Лозовицкой о Калиновке с большим интересом: он органично вписывался в созданный им противоречивый образ «Любушки-России». Со временем Ольга стала другом Фридриха, часто разделяла его одиночество — ходила с ним на блошинный рынок выбирать немислимые старые копеечные немецкие книжки, которые только ему одному и были интересны и, которые, как он уверял, необходимы ему были для работы, и помогала ему в тяжелые дни, когда болел и умирал его камышовый кот Крис.

Однако Ольга не подозревала еще, что в глазах Горенштейна ей доведется нести личную ответственность за деяния генерального секретаря. Время от времени в ее квартире раздавался звонок — на проводе был Горенштейн с очередными претензиями по поводу событий более чем тридцатилетней давности: говорил, например, что не простит перестроенного в эпоху «оттепели» Арбата. Узнав о том, что памятник работы Эрнста Неизвестного на могиле Хрущева на Новодевичьем кладбище разрушается — на нем появилась трещина — он сейчас же позвонил и потребовал, чтобы Ольга восстановила памятник: «Стыдно жалеть каких-нибудь пару тысяч марок, когда разрушаются памятники!»

У «политической» дружбы Горенштейна с Лозовицкой несколько книжный и одновременно политический финал. Однажды Ольга — это было в моем присутствии — рассказала Фридриху историю о том, как в гимназии, где училась ее дочь, из программы по истории демократическим путем, голосованием исключен был период национал-социализма и, соответственно, Второй мировой войны. Все началось с преподавателя истории по фамилии Розенбаум, который заявил, что, поскольку у него

отец погиб во время войны, то ему, стало быть, трудно на эту тему говорить. События, рассказанные Ольгой стали одним из сюжетов эссе Фридриха «Как я был шпионом ЦРУ»:

«Так вот этот очередной «хороший еврей с добрыми глазами», на первый взгляд, индивидуально действовал, но если внимательно приглядеться и проследить дальнейшую историю с историей в этой элитарной гимназии, то начинает возникать подозрение: действовал в соответствии с пожеланиями дирекции, которая нашла удобный способ от определенного периода немецкой истории просто избавиться, превратить его в «штундэ нуль». Вскоре и от самого Розенбаума избавились, как сделавшего свое дело. Явился преподаватель ариец. Явился и сказал: «Если он (т.е. Розенбаум) не захотел преподавать период с 1933 по 1945, то я уж подавно». Отчего? Не прокомментировал. Наверное, у него тоже отец погиб. И дирекция гимназии его активно поддержала. Но поскольку нынешняя Германия – страна демократическая, и все вокруг – демократы, а иные даже – национал-демократы (НПД), то решили вынести этот вопрос на родительское собрание: преподавать период с 1933 по 1945 годы, или нет. Родители дружно, демократично проголосовали – «нет». Почти абсолютным большинством. Потому что нашлось и меньшинство в количестве одного человека<sup>30</sup>. Завязалась дискуссия. «Нам это уже надоело, – говорит большинство. Все время одно и то же. Тем более, это уже прошлое».

Бисмарк – не прошлое и Фридрих Барбаросса – тоже. Но поскольку меньшинство настаивало, то дирекция придумала компромисс – решить демократическим путем: или преподавать период с 1933 по 1945 годы в течение одного часа, но тогда упустить тему «Европейский союз», или сэкономить этот час для Европейского союза. Причем, решить в письменном виде, для чего разослать всем родителям письма с вопросом: «да» или «нет». Ненужное вычеркнуть.. Не знаю, чем кончилось, но думаю, что ненужным оказался период с 33-го по 45-й».

С тоской вспоминаю, как Фридрих, находясь уже в больнице, каждый раз спрашивал, когда же, наконец, выйдет десятый номер «Зеркала Загадок» со второй частью эссе «Как я был шпионом ЦРУ». Вторую часть, из которой взят приведенный выше отрывок, я редактировала для десятого выпуска уже после смерти писателя. Фридрих успел внести в текст много изменений. После первоначальной редакции в эссе появилось немало «вставочек», в основу которых легли наши беседы с Фридрихом. История с гимназией тоже была одной из «вставочек», которую он продиктовал моему сыну по телефону, но о которой я, однако, не знала. Когда же я обнаружила в «Шпионе ЦРУ» рассказ Ольги, то сразу же позвонила ей. Так Ольга Лозо-

вицкая получила от Горенштейна «публицистическую» весточку с того света.

Кто знает, может быть и история «хрущевской» аномалии где-то записана Горенштейном? Может быть, в рукописи его последнего романа «Веревочная книга», о которой речь пойдет ниже? Фридрих рассказывал, что в этой книге действуют лично Сталин, Хрущев, Брежнев и Андропов. Что же касается меня, то не могу забыть магнетической деревни с ее «горюхинцами» и энергетическими аномалиями, повлиявшими не только на их сознание, но и на ход мировой истории (стук ботинком во время выступления в ООН, Карибский кризис – курско-бермудский треугольник). Так и стоит у меня перед глазами деревня, утопающая в безбрежном море колыхающихся белых, с серебристой рябью цветов и дома – уже по-бредберевски ярко-зеленые и голубые, также утопающие в других немислимых многоцветных полевых цветах, которые сохранились только здесь со времен Екатерины Великой!

## 17. О ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОВОКАЦИЯХ

---

Эта глава в какой-то степени продолжение главы «Aemulatio», где речь шла о литературных провокациях «давнего оппонента» Достоевского, на которые Фридрих считал необходимым отвечать и в художественных произведениях, и в публицистике.

– Хроникер в «Бесах» сообщает, что жидок Лямшин якобы украл или должен был украсть деньги у Долгорукова? – заметил как-то Горенштейн. – Так украл или не украл? Автор не уверен, уклоняется от прямого ответа и говорит, что почему-то тут прибавляют участие Лямшина. Также и Алеша Карамазов на вопрос о возможности ритуального убийства отвечает: «Не знаю». Зачем это автору?

– Но ведь в «Бесах» повествование ведется не от лица автора, – сказала я, – а от хроникера, вездесущего суетливого молодого человека, доверенного лица Степана Трофимовича. Он постоянно кружит по городу и события излагает так, как ему они видятся. «Бесы» – роман слухов, домыслов, непроверенных свидетельств, и вся картина романа составлена, как мозаика из этих слухов и домыслов.

– Это, конечно, все верно. Но недостоверные версии, исходящие якобы не от автора, то есть не от Федора Михайловича – опять же литературный трюк или выверт, хотя бы уже потому, что за его голосом время от времени слышен голос Достоевского. Я уже где-то писал, что Достоевский, ради утверждения своей идеи, вмешивается в ход романа, вопреки объективности.

– Здесь уместно вспомнить и ваш собственный сходный литературный прием.

– Вы хотите сказать, что у меня тоже есть «хроникер» – это Гоша, так? И что же, нашли вы в гошином изложении элементы авторского произвола?

– Некоторые «показания» Гоши так же неоднозначны, оставляют широкое пространство для домыслов. Вначале Гоша сам признается в своем невежестве. Правда, по ходу романа он заметно умнеет, рассуждает о религии, психологии как человек достаточно образованный. И вполне можно предположить, что Гоша высказывает мысли писателя Горенштейна.

– Произвола, тем не менее, здесь нет. Обратите внимание на отличие: гошины записки написаны много времени спустя. У Гоши было достаточно времени для осмысления всего, что произошло, в отличие от хроникера в «Бесах», которому такое время не отпущено. Хроникер в «Бесах» не успевает думать, анализировать и тут же выбалтывает то, что видит, по первому впечатлению.

– Гоша скорее напоминает Аркадия из «Подростка», который тоже становится своего рода летописцем своего времени. Если не ошибаюсь, в черновиках Достоевский назвал «записки» подростка «Исповедью великого грешника». А ведь Гоша определил себя в последних строках романа почти также: «Что есть подлинный сочинитель, как не бывший деятель, ныне парализованный грешник, которому Богом сохранена, а вернее, дана речь. Пока человек деятелен, он словно безмолвен, поскольку слова его второстепенны по сравнению с его деяниями. Иное дело говорящий паралитик, жизнь которого выражена в его речи. И когда я заговорил, то почувствовал, что Бог дал мне речь».

– Вот именно таким образом безмолвен хроникер из «Бесов». А кроме того, когда Гоша говорит о событиях, которых не был свидетелем, то непременно указывает на источник. Да ведь я писал в «Спорах о Достоевском», что в «мировых романах руки и ноги множества персонажей иногда остроумно, а иногда и не остроумно дергаются за ниточки». У меня же не так. Гоша – он жертва, но не авторского произвола. Здесь произвол пострашнее. Гоша – человек с несвободной, рабской душой, а пытается своевольничать, потому что почувствовал – можно. Время такое, хозяина нет. Он и ему подобные несвободные люди бьют по щекам Молотова, потому что теперь можно. Молотов в опале, с него снята охрана, он прогуливается по аллее с собачкой – отчего бы не ударить, не поставить на колени, не превратить в посмешище? Толпа разъяренных людей с душой рабов устраивает погром в городе, поджигает завод. Что может быть страшнее разъяренной толпы людей-рабов?

Как бы ни спорил Горенштейн со своим великим оппонентом Достоевским, чей талант он считал «победоносным», все же он расположен был здесь к дискуссии, к «спорам о Достоев-

ском». Сравнения его творчества с творчеством Достоевского, беседы о реминисценциях, пародировании, кажется, доставляли ему даже удовольствие. Совсем иначе дело обстояло, когда речь заходила о Булгакове. Горенштейн говорил, что сравнения его романа «Псалом» с булгаковским «Мастер и Маргарита» абсолютно недопустимы.

Вначале мне трудно было понять такое отторжение Булгакова, даже всякого упоминания о нем в связи с собственным творчеством. Ведь очевидно, что писатель внимательно и пристрастно прочитал роман «Мастер и Маргарита», прежде, чем писал о своем Антихристе и принципиально возражал Булгакову. Я ведь, как многие, была очарована булгаковским Иешуа. А вот Фридрих считал булгаковский образ Иешуа одновременно антисемитским и антихристианским. Иешуа Га-Ноцри, по словам Горенштейна, «нечисто» был показан Булгаковым, исповедующим «Евангелие по Воланду», но ни в коем случае не по Христу.

Горенштейн говорил часто, что не религиозен. По моим наблюдениям он, наоборот, был религиозным человеком, который однако же, старался это скрыть. Выходным днем, впрочем, сделал для себя субботу. Я спрашивала: «Стало быть, вы соблюдаете шабат?» Но Фридрих отвечал уклончиво: «У меня выходной день в субботу. В субботу я никогда ничего не пишу».

«Лучше всего доехали замечательные книги – целые и невредимые»<sup>31</sup>, – писал он Ларисе Щиголь 17 января 2000 года, – Я их поставил на полку, поблагодарив Господа, а через него и Вас, добрая Лёля, поскольку, кто его знает, может Вы, сами того не зная, действуете по велению Господа, без желания которого и волос не упадёт».

«В Вене я ходил в Собор Святого Стефана молиться, – писал Горенштейн, – Странно звучит «молиться», если речь идет обо мне, который с позиций всех конфессий – человек неверующий. Неправда, верующий, хоть и не религиозный. Обряды и правила не соблюдаю, молиться по канонам не умею. Если б умел – может, пошел бы в синагогу, но каков он – тот канон, и где она та венская синагога?.. Я не поклонник любого обряда, но в общественных местах его следует соблюдать ради приличия, и потому с вызовом, брошенным Л. Н. Толстым, я в этом вопросе не согласен. В делах духовных, когда речь идет о добре и зле, в жизни не стоит скандалить по мелочам.

Личная молитва моя напоминала жанр эпистолярный. Австрийские дети пишут письма Богу: «Lieber Gott!» и рассказывают ему свои детские проблемы. Так молился и я. Мои молитвы – это были письма Богу»<sup>32</sup>.



Лауре Спилани, о которой я упоминала выше, он пишет: «Что касается культуры, то я принадлежу к иудо-христианской культуре, к библейской культуре, включая евангельскую. Да, такой религии нет, но есть такая культура... Все, что есть в христианстве творческого, тесно связано с библейской праматерью. Христос создал свое учение не для противостояния, а для развития и дополнения, но преждевременная смерть Христа передала христианство в руки великих инквизиторов, которые нуждались в мертвом, а не в живом Христовом слове». И ей же, Лауре Спилани: «Я вообще с точки зрения обрядовой религии не религиозный человек. Но я верующий человек, я хотел бы сотрудничества религий, а особенно иудейской и христианской, потому, что у них единый корень и созданы они в недрах еврейского народа. Это исторический факт».

Он развивал эту мысль и в памфлете «Товарищу Маца»:

«По сути, Новый Завет – это комментарий Иисуса к Старому Завету, комментарий набожного иудея-эрудита, вундеркинда, который уже в 12 лет на равных общался с иудейской профессурой, со знатоками библейских текстов, который, как сказано о нем, «преуспевал в премудрости» (Лука. Стих 2-й). С 12 лет до 30 о Христе ничего неизвестно, но есть предположение, что он эти 18 лет был учеником одной из еврейских религиозных школ. Весь Новый Завет буквально пронизан, как каркасом, цитатами из Старого Завета. Вытащишь каркас – рассыплется».

Итак, о романе «Мастера и Маргарита» я старалась не заговаривать. Сам же автор «Псалма» не унимался: время от времени заявлял, что Булгаков написал гениальный роман «Белая гвардия», что же касается «Мастера и Маргариты», то «московская» часть сделана им талантливо как писателем-сатириком. «А вот роман Мастера на якобы религиозную тему (о Понтии Пилате), – говорил он, – то что тут скажешь? Ваша интеллигенция проглотила этот обман, за которым стоит всего-навсего перевернутое церковно-приходское словоблудие. Проглотила с жадностью за неимением ничего другого, получив на самом деле антихристианство».

У нас с Горенштейном в конце концов созрел уговор: мы все же поговорим о булгаковском романе «Мастер и Маргарита». Но с книгой в руках, непосредственно с текстом романа.

Мне хотелось «заступить» за Булгакова, когда-то меня глубоко поразившего. И я сказала, как многие из нас говорят, что булгаковские «библейские неточности» вполне законны. Ведь в начале романа Булгаков предупредил читателя, что жизнь Иешуа не соответствует евангелическим каноническим

текстам. Горенштейн, как будто таких аргументов и ожидал, и ответил:

– Но Булгаков почему-то не посчитал нужным предупредить читателя, что будет опираться на лживые, а порой и клеветнические поздние апокрифы, представляющие Христа двусмысленно! Когда художник искажает историю, источники, то нужно спросить, зачем он это делает? Для какой художественной правды? Для чего Булгаков, например, лишил Христа его истинной биографии и, главное, его происхождения? Кто такой Иешуа? Это Христос?

– Ну конечно.

– Тогда почему у Христа как сына человеческого другое происхождение? Вы обратили на этот факт внимание?

– Да, в самом деле, Иешуа Га-Ноцри у Булгакова почему-то сириец. И нет у него матери Марии. Он говорит: «Я не помню моих родителей. Мне говорили, что мой отец был сириец».

– Заметьте, прием как у Достоевского. Иешуа – сириец с чьих-то слов. Такая неоднозначность – типичный прием антисемитских писаний. Впрочем, антисемитизм тут, конечно, не главное, а только приправа.

– Но, может быть, Булгаков следует Льву Толстому, который желал, чтобы воля Отца исполнялась не через Сына и потому отрицал Сыновнюю Ипостась?

– Если бы это было так! Толстой следовал заповеди ветхозаветной, согласно которой закон жизни исполняется человеком по его личному договору с Отцом. Булгакову же, похоже, Бог не нужен. Он исповедовал «Евангелие по Воланду». «Евангелие от Матвея», где скрупулезно говорится о богоизбранном племени Христа, и которое считается самым достоверным, зачеркивается. Кроме того, воскрешение Христа остается вне романа. Казнь – есть, воскрешения – нет! Иными словами, Христос не воскрес, если Га-Ноцри – Христос, по мнению вашей интеллигенции.

– Трудно возразить. У Иешуа в романе Булгакова, в самом деле, нет сподвижников-апостолов. Кроме странного Левия Матвея, который ходит за ним следом с козлиным пергаментом и что-то непрерывно за ним записывает. Иешуа потом отрекается от записей Левия Матвея (стало быть, от достоверности «Евангелия от Матвея»). У Булгакова читаем: «Но однажды я заглянул в этот пергамент и ужаснулся. Решительно ничего из того, что там записано, я не говорил». Зачем, по вашему, Булгакову нужна была вся эта подмена?

– За этим стоит антихристианский пафос... Продолжение традиции апостольского заговора против Христа, а стало быть, против Моисея, которого тот проповедовал. Ведь распростра-

нял христианство самозванный апостол, враг Христа при жизни, Шаул – Павел, распространял именем Христа мертвого, а не живого.

– Видимо, вы это почувствовали в романе.

– А что тут чувствовать? Тут все ясно! Булгаков изменил национальность Иешуа Га-Ноцри, не стал придерживаться канонической трактовки, основанной на евангелиях и апостольских посланиях. Тяготел к апокрифическим и даже еретическим сюжетам. Можно, конечно, такой выбор назвать литературным приемом. Есть теперь такое модное у литературоведов слово «деконструкция». Так вот на этих «художествах» и попалась ваша интеллигенция. Всю лживость, всю неправду о Христе спихнули на литературные приемы. Между тем, с точки зрения художественной выразительности Иешуа слаб и бесспорно уступает Воланду, который по роману, между прочим, его ближайший друг и сподвижник. Между ними нет противоборства.

– А все-таки, вспомним, например, диалог Иешуа и Пилата. Я, конечно, как и многие «интеллигентствующие», была очарована этой сценой. В ней действует магия искусства, благодаря которой возникает ощущение присутствия Высшей силы.

– А по-моему сцена сделана бездарно. В этом разговоре некий экстрасенс или, как полагает Понтий Пилат, искусный врач, снимает головную боль. Вот вам и вся магия.

– Мне в связи с этим вспоминается Анатолий Франс, искуснейший рассказчик. Он ведь написал новеллу о Понтии Пилате и Христе в таком ключе. Понтий Пилат в новелле беседовал с Христом, а впоследствии просто не мог вспомнить этого эпизода своей земной жизни. Магии нет как нет. Встреча с Христом – не более, чем курьез. Именно из-за такого вот сведения великой тайны бытия к курьезу, свойственного Франсу, я к этому великому стилисту, мастеру слова, равнодушна. У Булгакова же совсем все наоборот. Он дал ощущение присутствия Высшей силы, настаиваю на этом.

– А вот я вас теперь спрашиваю, что это за сила? Вспомните эпиграф к «Мастеру и Маргарите». Это строки из «Фауста», «Я часть той силы, что вечно хочет зла, но совершает благо». Но у Гете между Богом и Мефистофелем непримиримое противоборство. А слова о совершаемом благе – очередное лукавство Мефистофеля. У Булгакова же эти слова становятся эпиграфом, выдаются за чистую монету. И снова спрашиваю: Иешуа Га-Ноцри – это Христос, по Булгакову, или это не Христос? Иешуа, сириец, без девы Марии, без апостолов, без воскресения – это Христос или все-таки не Христос? Возможны ли литератур-

ные придумки для утверждения определенных идей и чувств? Возможны! Между тем, избирательно, подобно Булгакову, верить нельзя. Можно верить или не верить. Подозреваю, что обессилев от литературной травли, любимец вашей интеллигенции готов был увидеть в Сатане Спасителя<sup>33</sup>.

В те знаменательные дни, когда в журнале «Москва» был опубликован роман Булгакова, не было предела нашим восторгам. Помню, Берковский, пришел на лекцию и сказал: «Свершилось. Я ждал этого четверть века. И вот – свершилось». Не берусь назвать другого писателя, который бы в 60-е годы так околдовал нас своим мастерством. А какие новые возможности открывала нам его литература! И как красиво построен роман, как органично вписан один роман в другой! А главное, Булгаков, пожалуй, первый повернул нас, детей тоталитарного режима, едва опомнившихся от «Большого террора», лицом к религии.

Однако в тот период, когда мы бесконечно говорили и говорили о романе, раздавались все же робкие голоса протеста. Высказывались сомнения по поводу художественности тех или иных эпизодов романа. Некоторых не убеждала религиозно-мистическая подоплека романа с его тенденцией к сатанинской кровной мести. Это, были, однако, повторяю, голоса едва слышные. Не хочу показаться здесь апологетом христианской морали. Но хотела бы обратить внимание на сам факт, что роман, откровенно распатывающий устои этой морали, был с восторгом принят советской интеллигенцией шестидесятых, в том числе и религиозно настроенными ее представителями.

Как, например, трактовать место успокоения Мастера и Маргариты, вроде бы напоминающее дантовский лимб, то есть первый круг ада? С одной стороны, как будто достойное «литературное» место, а с другой стороны, ад есть ад. Мотивация Данте понятна: в 4-й Песне «Ада» он позаботился об истинных поэтах, невольных грешниках, живших в дохристианскую эпоху и потому не знавших истинного Бога. Распорядившись таким образом, Данте поместил в благородный замок, «*novile castello*», создателей античного искусства – великих мужей древности. Там – славные благородные тени Гомера, Горация, Овидия проводят вечность за литературными спорами. Если Булгаков подразумевал «Лимб», да еще с «изолированным» замком (лишил возможности общения с другими мастерами), то наказание, конечно, почетное, но довольно жестокое, которого Мастер, как будто не заслужил, поскольку написал книгу, которая понравилась самому Христу. Однако же, находясь в полном согласии с Воляндом, Всевышний, почему-то, распоря-

дился именно так сурово. Что же касается Понтия Пилата, предавшего Христа, то ему суждено не только прощение по прошествии всего лишь каких-нибудь двух тысяч лет, но и длительные прогулки по лунной дорожке с самим Христом. Воистину, недостаточно согрешил Мастер, если не удостоился подобных бесед и прогулок по лунной тропе.

А что можно сказать о любви Маргариты, с радостью подвергнувшейся ради этой любви осквернению, несущейся над Москвой ведьмой на метле, словно ведьма красавица-панночка в «Вие», или же пушкинская Маруся в «Гусаре»? «Там с полки скляночку взяла и, сев на веник перед печкой, разделась донага; потом из склянки три раза хлебнула, и вдруг на венике верхом взвилась в трубу – и улизнула. Эге! Смекнул в минуту я: кума-то видно, басурманка!»

Роман был запрещен в советское время. Но вот что интересно, пропустила бы такую книгу до революции церковная цензура?

О «странности таланта» Булгакова, скажу цитатой из Набокова. О «странности таланта» героя-писателя из «Истинной жизни Себастьяна Найта» Набоков писал: «Не берусь назвать другого писателя, который так бы умел сбивать с толку своим мастерством – по крайней мере меня, желавшего за автором увидеть человека. Но проблески его признаний о себе едва отличимы от мерцающих огоньков вымысла».

В самом деле, стоило мне засомневаться, открыть роман на любой странице, то как будто заколдованная, я забывала обо всем на свете. Каким ветром занесло к нам эти томительно-страшные строки?

«Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый Прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней, опустилась с неба бездна и залила крылатых богов над гипподромом, Хасманийский дворец с бойницами, базары, караван-сарай, переулки пруды... Пропал Ершалаим – великий город, как будто не существовал на свете».

Написанный в 1975 году роман «Псалом», был впервые опубликован в 1992 году, но даже благожелательные критики, выразив восхищение уровнем литературного мастерства Горенштейна, сразу же предъявили автору нравственный счет, обвинив в русофобии, мизантропии и так далее. Один московский поэт, живущий ныне в Берлине, рассказывал мне, что по Москве сползли тогда слухи, будто бы Горенштейн написал роман, в котором неправильно толкует Библию. Именно так: «неправильно». Хотелось бы спросить, а кто толкует Библию пра-

вильно? Святой Августин? Эразм Роттердамский? Митрополит Алексей? Культуровед Григорий Померанц?

Я говорю только о России, вернее, о категории читателей, которых Горенштейн называл «нашей интеллигенцией». Во Франции роман был принят с восторгом и даже с триумфом целиком, со всеми его противоречиями. А противоречий в нем не меньше, чем в Библии.

Главный герой романа Антихрист, родной брат Иисуса Христа, положительный герой, без «воландовских» оговорок и эпиграфов насчет «силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Один из эпиграфов к роману Горенштейна звучит так: «Не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды. И бедному не потворствуй в тяжбе его» (Вторая книга Моисеева. Исход).

Антихрист призван спасти праведников, тогда как брат его Христос, заботится о грешниках. Дан, Аспид, Антихрист появился на Харьковщине в чайной колхоза «Красный пахарь», будучи еще мальчиком, во времена голода, порожденно-го коллективизацией. Он тоскует по своему дому и его тоска «свежа, как недавно вырытая могила». Кругом чужие лица и не на ком остановить свой взор. «Но обращал ли он взор внутрь народной чайной, повсюду были темные головы отступников, и на унылых лицах не было ни лиризма, на наглых – ни тени величия, на добрых – ни тени ума. Обращал ли он свой взор вне народной чайной, и за окном являлась та российская, осенняя провинциальная безнадежность с мокрыми тополями у дороги, с собачьим лаем, двумя-тремя мигающими вдали огоньками, что хоть закричи, хоть заплачь, ничего против нее не действует, кроме стакана бурякового самогона. Но славянский рецепт был непригоден сыну Иакова, в забвении видевшим подобие смерти. Смерть же, столь возвеличенная во многих... религиях, была ненавистна народу его... Смерть лишает человека возможности исполнять долг свой – сознательно любить Господа».

Не стану здесь углубляться в анализ романа. Такой анализ требует специального исследования. Вижу свою миссию в том, чтобы «навести» литературоведов на некоторые темы, излагая малоизвестные, либо же вовсе неизвестные факты.

Так, например, интересно, что именно в своем фантастическом романе «Псалом» Горенштейн использовал подлинные документы. В книге звучат настоящие голоса, настоящая боль. Голод на Украине, описанный в начале романа, «взят из самой жизни». Дело в том, что один приятель Горенштейна, работавший на радио, вел одно время передачу, в которой рассказывались реальные истории периода 1930-1940 годов. Как она называлась, не помню: не то «Откликнитесь», не то «Отзо-

витель». После давно прошедшей войны люди все еще продолжали искать друг друга. И вот эти люди писали письма на радио, рассказывая эпизоды, случаи из своей жизни, по которым можно было узнать или вспомнить друг друга. В редакцию приходили письма с такими душераздирающими историями, что, разумеется, «пропустить» в эфир этот всенародный «крик души», подлинный «сопореализм», было невозможно. Зато ненужные груды писем скапливались в одном из шкафов в редакции, а потом достались Горенштейну. Горенштейн часто говорил, что любит работать с письмами, старыми газетами, дневниковыми записями, устными рассказами и прочими документами. «Я люблю работать с письмами, — писал он, — с дневниками, с газетами. Так писался «Псалом» и некоторые другие вещи»<sup>24</sup>. Здесь, пожалуй, он был не оригинален. Романтики с их предпочтением мелочей и деталей любили документы, в особенности письма, дневники, устные рассказы и воспоминания. Шатобриан, например, обращался за помощью к жене, у которой была прекрасная память — она охотно восстаивала нужные ему эпизоды из прошлой жизни, а Водсворт любил читать дневники своей сестры, благо она ему это разрешала.

Роман «Псалом» подвергся в 1990 годах резкой критике в российской печати. Горенштейна обвиняли в том, что он создал лживый образ России. Таков был рефрен критики. Что ж, зачастую документальная правда такова, что ей отказываются верить.

## 18. «МЕСТО СВАЛКИ – БАБИЙ ЯР»

К концу жизни Фридриха Горенштейна накопело у него столько замыслов, что казалось должен жить вечно, чтобы все их осуществить. Его тревожила судьба еврея из Вифании Андрея Первозванного, побывавшего на территории, названной впоследствии Русью, и, соответственно, существующие о нем легенды. Он говорил, что при сарматах, то есть задолго до славян, в Киеве была еврейская диаспора, в которой проповедовал апостол Андрей. Он постоянно просил нас помочь найти те или иные материалы о первом веке, о быте, истории и географии скифского Причерноморья, древней Таврии, Крыме. Никто не оставался без дела. Мой сын Игорь постоянно что-то находил для него в интернете. Просматривая некоторые письма Ларисы Щиголь, я обнаруживаю, что Горенштейн в буквальном смысле слова загружал ее поисковой работой. В недалеком будущем, говорил он, непременно надо заняться апостольской темой, которая до сих пор остается тайной для человечества.

Кроме того, Горенштейн занимался поисками оставшихся в живых ближайших сподвижников Гитлера и нашел даже одного – самого шефа гестапо Генриха Мюллера, умудрившегося обосноваться после войны под другим именем при ЦРУ во время правления Трумэна. Фридрих приобрел недавно изданные дневники Мюллера, изучал их и собирался написать о феномене «Мюллер-Трумэн» книгу. А еще важной темой для него был киевский геноцид времен Отечественной войны.

«Между делом написал ещё и третье мемуарное эссе – не знаю, точно ли определяю жанр. И очередную порцию моей неприязни к Киеву вложил туда, призвав на помощь Данте... Меня бы интересовало также, как эти этнографы, лингвисты, археологи и прочие подобные теперь живут и сколько получают – если получают – карбованцев. Может, среди них есть какие-либо интересные биографии?»<sup>35</sup>

В другом письме: «Ещё меня интересует отношение к Богдану Хмельницкому и его коню. Петлюра, по крайней мере, хо-



тел этот памятник убрать, но не успел. А эти «самостийники» что собираются делать? Я слышал, они его, этого бандита, прославляют».

Горенштейн говорил мне, что издатели в России и на Украине не хотят публиковать роман «Попутчики», поскольку одной из тем романа является геноцид евреев со стороны Богдана Хмельницкого.

«...Зеркало Загадок вряд ли выйдет в октябре, хотя над номером они работают. Да и в эссе надо мне внести дополнения и кое-что доработать в связи с последними событиями, впрочем, и в существующем варианте достаточно угадываемыми. А времени мало. Надо завершать подготовку и садиться за роман»<sup>36</sup>.

Он собирался написать о геноциде Второй мировой войны книгу и в письме обращается к Ларисе Щиголь, киевлянке, часто бывающей в Киеве, за помощью в поисках материалов.

«Не ‘горы материала’, – пишет он ей, – а что уж попадёт. Однако более жертв меня интересуют палачи и соглядатаи. В Киеве в 41-м – 43-м годах выходила газета – или газеты. Украинские и немецкие. Номера этих газет мне были бы очень интересны. Быт. Театры, их репертуар. Рестораны, кафе. ‘Культурная жизнь’. Может, есть воспоминания, показания эсэсовцев или полицаев и т.д... Это всё для будущей книги, ‘послезавтрашней’, если, Бог даст, я до неё доберусь»<sup>37</sup>.

Я уже говорила, что Горенштейн постоянно возвращался к теме «Бабий Яр». Он считал, что о жертвах Бабьего Яра написано уже достаточно книг и поставлено достаточно фильмов, однако мало внимания было уделено палачам, из которых некоторые, из местного населения (из Киева и окрестностей) еще живы и не понесли наказания. «В Берлине, скрываясь в подполье, – писал он, – гитлеризм пережило восемь тысяч евреев, а в Киеве – может быть два десятка человек. Почему? Потому что в Берлине на евреев охотились только немцы, а в Киеве им с садистской радостью помогала значительная часть украинского населения, стремящаяся, к тому же, пограбить оставленные евреями квартиры, вопреки, кстати, запретам немецких властей»<sup>38</sup>.

После знакомства с режиссером Аркадием Яхнисом писатель переменял на время решение писать книгу. Вдвоем они пришли к выводу, что лучше всего сделать документальный фильм о Бабьем Яре. Они еще намеревались сделать художественный фильм по пьесе Стринберга «Пляска смерти» (в переложении Дюрренматта «Играя Стринберга»). Фридрих по договоренности с Аркадием собирался написать сценарий, в котором главную роль должен был играть Рамаз Чхиквадзе. У Яхниса



Выступление в  
Кемнице 30  
марта 1996 года  
Чтение  
рассказа «Три  
встречи с  
Лермонтовым»  
На фото:  
Горенштейн и  
Наталия Дамм



Вот таким образом Фридрих надиктовывал на  
магнитофон свои тексты...



**На открытии памятника Горенштейну 2 марта 2003 года**



**На открытии памятника Горенштейну  
Слева - Мина Полянская  
Справа - один из руководителей еврейской общины  
Берлина поэт Борис Шапиро произносит речь на  
могиле.**

Чхиквадзе уже снимался в главной роли в фильме «Ботинки из Америки». Горенштейну этот известный грузинский актер тоже давно был лично знаком. Когда-то он играл в фильме «Щелчки» по горенштейновскому сценарию.

Они втроем – Горенштейн, Чхиквадзе, Яхнис были у нас в гостях, и обсуждали этот свой план. Мой муж сделал тогда несколько снимков. Фотографии, соответственно, застольные, и на одной из них Горенштейн рассказывает об особом сорта селедке «габель-бис», как раз лежащей перед ним в блюде на столе. Селедка эта, надо заметить, имеет особое отношение к истории и политике времен «советско-фашистской» дружбы. «Время было перестроечное, – писал Горенштейн. – Приходилось перестраиваться на дружбу и союз с бывшим идеологическим врагом. К приезду Риббентропа разыскали на Мосфильме красное знамя с черной свастикой в белом пятне, которое до того использовали в антифашистских фильмах»<sup>39</sup>.

Так вот, Риббентроп, в Москве во время застолья заметил, что Сталин любит селедку, однако ест обычную какую-то селедку, непрезентабельную. Он решил угостить Сталина селедкой лучшего приготовления, а именно из берлинского магазина «Рогацкий», основанного еще в начале века (он существует и сейчас, находится у станции метро «Бисмаркштрассе»). Сталин был в восторге от селедки «габель-бис», что безусловно укрепляло дружбу стран на государственном уровне. Нацисты стали поставлять «габель-бис» в Москву из Берлина на поезде в конце каждой недели (кажется, по субботам). Сюжет этот, вполне соответствующий концепции Горенштейна о личном, «бытовом» факторе, делающем большую историю и политику («Личное начало в политике и терроре – вот, что необходимо для успеха»<sup>40</sup>), от него мне и известен. С тех пор, как я открыла и для себя этот и в самом деле колоритный продовольственный магазин, и к приходу Фридриха часто покупала «историческую» селедку.

Но вернусь к той встрече с Чхиквадзе и Яхнисом. За столом говорили, разумеется, не только о селедке. Летом 2001 года Фридрих еще посмотрел по телевизору фильм Лукино Висконти «Смерть в Венеции» с Дирком Богардом и, несмотря на то, что видел его не в первый раз, был потрясен этим шедевром. О фильме он говорил чуть ли не со слезами на глазах и даже беспомощно разводил руками от такого величия режиссерского таланта. «Кинематографическими средствами создал атмосферу волшебства, – говорил он. – Он сделал это лучше, чем это сделал автор новеллы, ваш шахматист пера Томас Манн». На него еще произвела впечатление музыка Малера и, как он выразился, ее «абсолютная функциональность».

Кстати, о Венеции. Фридрих очень любил ее и говорил, что, если ему когда-нибудь повезет, и он заработает на каком-нибудь дорогом крупномасштабном фильме, то купит себе на гонорар маленькую квартиру в Венеции. Мы даже как-то привезли ему из Венеции сувенирный ключ с изображенным на нем венецианским пейзажем.

Аркадий рассказал мне, как они вдвоем в конце лета вели предварительную работу над фильмом о Бабьем Яре. Вначале было решено найти оставшихся в живых «расстрельщиков» из львовского куреня. Полк их назывался лирично – «Нахтигаль», что в переводе с немецкого означает «Соловей». «Разумеется, мы не могли надеяться на то, что эти оставшиеся в живых «ветераны», обосновавшиеся где-то в украинских деревнях, поселках, а может быть и городах, станут с нами разговаривать, – рассказывал Аркадий, – однако я был уверен, что сам факт найти их – серьезный плюс для картины. Этих людей, активно участвовавших в расстрелах, можно было бы заснять, наблюдать теперешнюю их жизнь».

Горенштейн согласился с идеей Яхниса, тем более, что тот готов был, не откладывая, заняться поисками, но когда режиссер вернулся из Киева, Фридрих предложил еще одну идею. Случилось так, что писатель увидел по телевизору документальный фильм о Геббельсе. Только что был найден неизвестный ранее документ Геббельса, который создатели фильма решили сделать речью Геббельса, якобы действительно им когда-то произнесенной. Эту речь озвучивал, вернее, «играл» талантливый актер. Фридрих долго находился под глубоким впечатлением от фильма. Он сказал, что актер был даже не очень похож на Геббельса, но настолько внутренне достоверно играл свою роль и, вообще, все было сделано «под документ» настолько сильно, что следует подумать: не применить ли им этот прием в своем фильме. «Нужно использовать постановочный момент (ситуацию), – сказал он, – то есть нужно найти актеров, написать для них текст – якобы откровений, воспоминаний, признаний – который бы основывался на документах и на интуиции, которая позволяла бы дописывать то, что могло быть подтверждено документом». Он еще сказал, что слышал на днях выступление одного еврейского лидера по «Свободе», взгляды которого разделяет. Лидер был против забвения прошлого и попыток, забыть, вычеркнуть грех нацистских преступлений из истории. Аркадий дал мне исписанный Фридрихом лист бумаги – некоторое подобие плана работы, набросанный быстрой опытной рукой профессионала.

Необходимые материалы для создания фильма о Бабьем яре:

1. Пауль Блобель. Город Золлинген. Биография. Фотографии. Узнать, есть ли родственники.

2. Материалы суда над SS-персонами и по Бабьему яру. Фамилии.

3. Украинцы-убийцы. Буковинский курень и другие. Фамилии. Фотографии. Есть ли еще живые? Монумент, установленный в их честь в Черновцах.

4. Морозов – бывший министр обороны Украины. Медаль SS. Биография. Фото. Хроника.

5. «Народные депутаты»-фашисты. Имена. Фотографии. Биографии.

6. Куреневская катастрофа у Бабьего яра. Материалы. Хроника. Есть ли фотографии.

7. Есть ли фотографии по строительству стадиона на месте Бабьего яра? и т.д.

Фридрих просил еще Аркадия узнать что-нибудь о постройках в Киеве сахарозаводчика Бродского (об этом написано на обратной стороне листа), пройти по пути, по которому вели евреев в Бабий Яр. Горенштейн прочертил этот путь.

Он и здесь тяготел к парадоксу фабулы, психологии и мысли и говорил, что хоть и не был свидетелем событий трагедии Бабьего яра, но ему необходима присказка: «И я там был». Вероятно, для создающего слова, для воздействия на душу, нужна была та самая причастность, такая, какая прозвучала у Курта Воннегута в романе «Крестовый поход детей». В невыносимых, трагических сценах романа появлялся автор со словами: «И я там был».

А Фридрих бывал в тех местах. Случилось так, что в конце пятидесятых годов он стал свидетелем и почти участником продолжения событий, связанных с Бабьим Яром, а именно с знаменитой Куреневской катастрофой, когда восстали мертвые. Громадная масса земли, которой засыпали Бабий Яр для строительства стадиона, хлынула вдруг с потоками воды на Киев, сметая все на своем пути. Горенштейн там был: он в качестве мастера руководил загрузкой грунта, который увозили к Бабьему Яру. Если бы фильм был создан, то слова «я там был» могли бы стать лейтмотивом фильма. Я это чувствовала по рассказам Горенштейна об этих событиях. Впрочем, он об этом написал в заявке к неосуществленному фильму. Этот документ дал мне потом Аркадий. Привожу его полностью.

Экскурс: Место свалки – Бабий Яр (об убийцах и их моральных наследниках):

В конце пятидесятых, начале шестидесятых годов я работал мастером в Киевском тресте «Строймеханизация». Один из моих участков располагался на Куреневке, где велись земляные работы, рытье котлованов и траншей для канализации. Грунт, нагружаемый экскаваторами на самосвалы, везли вверх по Лукьяновке и сбрасывали в Бабий Яр. В путевых листах шоферов, которые я подписывал, значилось: «Место свалки – Бабий Яр» (строительный объект был обозначен «Стадион»). То есть на месте Бабьего Яра должен был быть построен стадион, окруженный парком с увеселительными заведениями. Так рептили хозяева города, советские интернационалисты. На костях Бабьего Яра должны были бегать в футбольных трусах, и в парке должны были происходить веселые гуляния. Очевидно, это была общая тенденция советских интернационалистов, поскольку, например, в Николаеве на кладбище, где расстреливали евреев, был создан зоопарк. А камни с кладбища использовались для укрепления набережной.

Надо сказать, что такое стремление повеселиться на костях, существовавшее у советских националистов, прикрытых хитрой приставочкой «интер», вызывало протесты. Писали, говорили, кажется, и в прессе кое-что было, но все напрасно. Росли горы земли, которую со всех сторон везли в Бабий Яр и которую утрамбовывали, намывали водой, водяными насосами. Работали по-стахановски, и уже даже назывались сроки, когда должны были прозвучать первые звонкие удары футбольного мяча и веселые голоса болельщиков, а также начаться веселье в питейных заведениях вокруг бывшего Бабьего Яра, ныне Лукьяновского парка.

Однако тут произошло нечто неземное, из области таинственного и мистического. Поскольку советские националисты с приставкой «интер» к голосам живых людей, сохранивших в отличие от тех, с приставкой «интер», элементарные нравственные понятия, не прислушались, восстали мертвые. Ибо по религиозным понятиям, также и христианским, нельзя тревожить мертвецов до Второго пришествия и Божьего суда. Тем более, устраивать веселье, гуляния и азартные игры на мертвых костях. Так что, те советские, православные с приставкой «интер», были еще к тому же и нехристи. Вот против этого-то кощунства советских украинцев и восстали мертвецы разных национальностей, ибо в Бабьем Яру лежат разные националь-

ности. Хотя все-таки, по крайней мере 90% из них, все-таки, евреи.

Тут еще один момент, на который надо указать. В Бабьем Яру лежат мужчины разных национальностей. Но женщины, в подавляющем большинстве – еврейки. Старики и старушки – только евреи и еврейки. И уж дети, вплоть до грудных младенцев, – это сплошь еврейские дети и младенцы. Вообще состав мертвецов весьма разнообразный. Помимо еврейских расстрелов был сравнительно небольшой расстрел Днепровской флотилии, может быть, потому, что моряки нанесли большой урон немцам. Однако немцы расстреляли и несколько сот украинских грабителей. Как известно, в знаменитом указе «Все жида города Киева и по окрестностям должны явиться и т.д.» есть последний пункт: «кто из граждан проникнет в оставленные жидами квартиры и присвоит себе вещи, будет расстрелян». Несколько сот поймали и расстреляли, поскольку грабить еврейское имущество имели право только немцы. Однако остальных украинских грабителей это не остановило.

Я жил в конце пятидесятых, начале шестидесятых на Соломенке, и там были целые этакие куркульские поселочки, богатые особнячки. Многие из этих городских куркулей, как мне сказали сами же их обитатели, разбогатели на «яврзях», на грабеже еврейского имущества. Но это так, к слову. Какая разница, в конце концов, кто грабит, украинцы или немцы. Однако, если говорить о расстрелах, то тут некоторая особенность. Можно ли считать расстрелянных в Бабьем Яру украинских грабителей жертвами нацизма? И еще один момент. Шеф гестапо Генрих Мюллер в своих посмертных дневниках, писанных в Америке, где он под чужим, конечно, именем был советником президента Трумэна, сообщает о том, что в Бабьем Яру было расстреляно всего 3000 евреев. А из пропагандистских целей прибавили нуль. Лживо, конечно, сообщает. Однако в этой лжи содержится нечто... Дело в том, что, принимая решение отомстить евреям – женщинам, старикам, младенцам за диверсию НКВД – взрыв домов на Крещатике, при котором погибло некоторое количество немцев – зондеркоманда полка СС под руководством группенфюрера СС Пауля Блобеля рассчитывала, что явится где-то 3000 евреев. А явилось более 30000. Почему?

Украинские соседи выгоняли евреев из домов. Во-первых, для удовольствия. «Иды, жид, умыраты». А во-вторых, чтобы грабить имущество. Шеф гестапо Генрих Мюллер, к тому же, утверждает, что расстрелы проводили не немцы, а украинцы. Это тоже неправда, неполная правда. Однако в этой неправде есть нечто. Конечно, стратегически без немецкой оккупации



это произойти не могло. Но тактически из полка СС 4-А принимало участие в расстрелах только 150 эсэсовцев, к тому же застрахованных на случай травм, падений в страховом обществе «Альянс», известном и поныне. 1200 убийц, нигде не застрахованных, были украинцы из Буковинского Куреня, из Львова – «Нахтигаль» – хорошие певцы и прочие. Командовавшего расстрелом Пауля Блобеля судили в Нюренберге и повесили в 1947 году. Судили в Германии и некоторых из 150-ти. 11 человек судили запоздало, судили, на мой взгляд, несправедливо, вынося убийцам приговоры, соответствующие мелким мошенникам – несколько лет... Тем не менее, судили хотя бы морально. А украинским убийцам из Буковинского Куреня, как стало известно, в нынешней «незалежный, самостийный, демократичный Украина» поставили прославляющий их монумент в городе Черновцы.

Что скажешь об этих нынешних наследниках убийц Бабьего Яра, националистах без приставки «интер»? Нет в человеческом языке таких черных слов, чтобы о них сказать, нет таких человеческих проклятий... Говорят, антисемитизм на Украине растет. Я в это не верю. Как может расти то, что с давних времен достигло своего предела. Украинский поэт Дмитро Павлычко, еще с советских времен имевший сомнительную репутацию «шчирого» антисемита, теперь «одемократился» во времена без «интер», став послом Украины в Польше, заявляет: «На Украине никогда не было антисемитизма (смех и грех!). Антисемитизм принесли на Украину русские черносотенцы». Русские черносотенцы конечно «несли» свои гнилые яйца так же и на Украину. Однако исторически, до присоединения Украины, антисемитизм донетровской России был незначителен, носил религиозный характер. Бытовым, наподобие бытового сифилиса, он стал именно после «братского воссоединения» таким, из затхлых спален, клоповым, ядреным, сальным, чесночным. Так что расти антисемитизму на Украине некуда.

Но качество, как мне кажется, изменилось. Раньше он был более веселый, с «анэштотами про Хаима и Хайку», а ныне более нервный. Что же, может, это и к лучшему. Пусть скрипят зубами в бессильной злобе. Так по крайней мере теперь, при демократии. Демократию все-таки со счетов сбрасывать не надо. Каковы бы ни были ныне вольности, при национализме без «интер», им, антисемитам, в целом все-таки лучше. Не всем. Некоторые, особо кроваво запачканные, из Буковинского Куреня, прятались на демократичном Западе. Теперь вернулись, воссоединились с бывшими советскими интернационалистами, обратились в народных депутатов и злобствуют «демократично про «жыдив» и носят гордо на грудях эсэсовские медали

от мала до велика, вплоть до бывшего министра обороны само­ стийной Украины Морозова, который с благодарностью «одержав цю мендаль» почетного эсэсовца. Видно совсем одурев, забыли про «Гитлер капут!» и про чернобыльское Божье преду­ преждение забыли, хоть сало с радиацией едят.

На мой взгляд, одним из таких предупреждений, тоже оставленных украинскими национал-дурнями без внимания, была Куреневская катастрофа, кажется случившаяся в году 59-м – 60-м. Огромная масса земли вместе с водой хлынула из Бабьего Яра вниз на Куреневку. Было много жертв. Как при ката­ строфах случается, кажется, и невинных тоже. Погибли рожени­ цы Лукьяновского роддома, погибло много прохожих, пасса­ жиров трамваев и автомобилей... Катастрофу, конечно, пыта­ лись приуменьшить и замолчать... Было, кажется, сообщение, что в результате технических ошибок, неправильного намыва воды в Бабий Яр насосами, произошел несчастный случай, зем­ ляной массой залило часть Куреневки. Принимаются меры к ликвидации последствий и так далее. Но в городе о том много говорили, рассказывали о большом числе жертв, о разрушени­ ях. Говорили, конечно, по-разному. Один «шширый» украинец в магазине, видно не вполне во мне разобравшись, сказал мне, весело подмигнув:

– Надо было лучше засыпать...

Он имел в виду, конечно, не Бабий Яр, а мертвецов в Бабь­ ем Яру. Несмотря ни на что, хорошее время было при «интер» для украинских националистов, веселое, «шширое». Да и тог­ да, при немецких социалистах-националистах, по крайней ме­ ре в первое время было весело. Пока не начали принудительно отправлять в Германию на рабскую работу и была надежда на самостоятельность, так и не сбывшаяся, ибо Гитлер имел иные пла­ ны по созданию украинского протектората, а Крым -присоеди­ нить к Рейху, поселив там южных тирольцев, изгнав оттуда славян, татар и всех прочих. И не ведают «ци украински арий­ цы», что в официальном документе гитлеровцев было сказано: «После войны и победы, украинцев, белорусов и поляков хоть на фарш». Если этих на фарш, то нынешних с СС-медалями, да и прочих, им подобных, кому скармливать? Свинья не возь­ мет... Однако тогда, при расстрелах евреев в Бабьем Яру, у по­ нидилок 29 сентября 1941 года, то есть 60 лет назад, веселей им было, чем нынешним еще не отправившимся в ад старикам и их молодым наследникам.

Киев тогда вообще веселился. Погода была хорошая, сен­ тябрьская золотая осень. Работало кино для украинской тол­ пы, работали театры, правда, только для немцев. Кажется, в начале 90-х годов в Берлине ко мне пришел немец-фотограф,

человек уже немолодой. Его прислало одно парижское издательство, где должна была публиковаться моя книга. Я с ним разговорился, выпили вина. Узнав, что я уроженец Киева, немец-фотограф, видно желая сделать мне приятное, сказал:

– О, какие у меня о Киеве хорошие воспоминания. Какой замечательный оперный спектакль я там слушал в Киевском оперном театре.

– А когда это было? – спросил я его.

– В конце сентября 41 года, – ответил он. Немец этот, оказывается, был фронтовым фотографом.

– Слава Богу, что я встретился с вами только теперь, – сказал я.

Немец-фотограф наслаждался музыкой в Киевском оперном театре как раз тогда, когда в киевском Бабьем Яру происходили расстрелы. Слышал ли он о Бабьем Яре? Может, был он там по долгу службы и фотографировал, как теперь по долгу службы фотографировал меня? Я его хотел о том спросить, однако не спросил.

То, что произошло в Бабьем Яру, не соответствует как символ любопытствующей холодной психологии фаустовского научного человека. Смысл Бабьего Яра как символа скорее передается античным, греческим словом «космос». Космос ужаса, космос зла и комос неземного Божьего возмездия, пути которого неисповедимы со своими предзнаменованиями. Иной раз, это черныбыльская беда, иной раз – Куреневская катастрофа, а иной раз... Кто знает, что может случиться иной раз...

Этот материал не только и не столько о жертвах – о них уже немало написано, в частности в книге профессора Эрхарда Вина, которую он мне прислал. Материал должен быть об убийцах и их наследниках, который мог бы хорошо и своевременно прозвучать в документальном фильме. Из восьми фильмов, автором сценариев которых я был, не было ни одного документального, только игровые. Однако значения это не имеет. Главное – искусство, которое едино и в документальном, и в игровом фильме. Конечно, документальный сценарий требует своей специфики, своеобразного подбора материала, своеобразного сценарного, режиссерского, операторского решения. Очень важна музыка. Не мелкая, а героическая, близкая по духу Бетховену. Сейчас, по прошествии 60 лет, мне стало ясно, что фильм должен быть лирическим, со светлой печалью. Это должны быть не стоны и плач, а реквием по жертвам. Лучшим венком на общую могилу жертв Бабьего Яра должно было бы стать обличение и наказание убийц и их наследников, моральное уничтожение убийц, хотя бы средствами киноискусства.

## 19. ВОКРУГ «ВЕРЕВОЧНОЙ КНИГИ»

В конце 1996 года Горенштейн задумал роман-детектив о браконьерской добыче и контрабанде черной осетровой икры в устье Волги. Он полагал, что там действуют мощные мафиозные структуры и не сомневался, что район Астрахани – клондайк не только для криминального элемента, но и для «криминального» писателя, автора детективов. (Писателей-детективистов, которых появилось огромное множество, Фридрих тоже считал мафиозной структурой). «Вот увидите, – говорил он, – скоро там появится Маринина!»

Горенштейн говорил: «Вы знаете, как добывается эта икра? Браконьеры вылавливают перед нерестом этих осетров, вспарывают им живот, достают икру, а рыбу выкидывают».

Надо сказать, что даже просто произнести эти слова о вспарывании живота у осетра ему было мучительно трудно. Фридрих не читал книг и не смотрел фильмов, в которых убивают животных. Животных он любил всех без исключения, даже лягушек. «Давно я не видел лягушек», – говорил он нам с грустью во время поездок за город на нашем стареньком фольксвагене. Мы даже как-то искали их, но не нашли. Горенштейн не стал читать «Моби Дика» Мелвилла только потому, что там «травят» кита. И как я ни уверяла его, что в книге кит вовсе и не кит, а нечто совсем другое, кит-оборотень, белый призрак и, возможно, само воплощение зла или карающая рука в оболочке кита, он не согласился с моей трактовкой романа, упрямо повторяя: «Там травят кита, а если Мелвилл подразумевал не кита, а некую другую силу, то нужно было придумать другую «оболочку, другой символ». «Но ведь в таком случае вы пропустите великий роман, он пройдет мимо вас», – настаивала я. Он ответил: «Иногда полезно чего-нибудь не прочитать и не знать! Невежество в сочинительстве может быть даже полезным, если оно озарено яркой игрой выдумки». После того, как умер любимый кот Крис, Горенштейн некоторое время вообще ничего не писал.

Когда же боль немного притупилась, он опять принялся за новый роман. Роман, говорил он, с одной стороны, о современной России, а с другой стороны, в нем много ответвлений, как в романах Достоевского – о скифах, сарматах, славянах. Ведь без этого никак нельзя: глубины истории тяжким грузом лежат на современности (также как тяжелым камнем лежит на биографии самого Фридриха его бездомное детство). Горенштейн говорил, что постоянно ощущает живой след прошлого в своем настоящем бытии. К тому же, когда он пишет, ему необходимо видеть время в пространстве, а также ощущать, что время и пространство – категории единой вечности.

На информацию о жестоком обращении с осетрами Борис отреагировал устаревшими сведениями. Наверное, он хотел утешить писателя:

– Фридрих, это довольно известный факт, и там работает рыбнадзор, который вылавливает этих браконьеров, штрафует и сажает в тюрьму.

– Да, что этот рыбнадзор, рыбнадзор! Половину их перестреляли – половину купили. Это же мафия! Да если они и вылавливают браконьеров, то самых незначительных, а настоящие акулы – на свободе.

И еще он говорил: «Никогда не писал детективов и хочу попробовать себя в этом жанре. Есть у меня, правда, рукопись детективной повести, я назвал ее «Астрахань». Написал я ее давно, еще до того, как засел за Ивана Грозного. Но сейчас, я думаю, надо писать по-другому. Пишущая мафиозная братия уже, наверное, заслала в Астрахань своих агентов, и, мне, стало быть, там сейчас делать нечего. А вот – попробую написать письмо в городскую библиотеку Астрахани, попрошу библиотекарей помочь с информацией. Вряд ли они ответят, но попробовать надо». И Фридрих написал письмо (19 января 1997 г.) в городскую библиотеку города Астрахани:

Уважаемые господа!

Хочу надеяться, что Вы знаете мои книги и публикации в периодике. В 1991 – 93 годах в московском издательстве «Слово» опубликован мой трёхтомник. В настоящее время, в Петербурге, готовится к изданию мой двухтомник в издательстве «Лимбус-пресс». В 1991 году в издательстве «Звезда», в Петербурге, опубликована моя небольшая книга «Чок-чок». Возможно, эти книги есть в Вашей библиотеке, так же, как и журналы «Октябрь», «Знамя», «Дружба народов» и «Юность» с моими публикациями. Надеюсь, Вам знакомы и фильмы по моим сценариям: «Солярис» Андрея Тарковского, «Раба любви» Ники-

ты Михалкова, “Седьмая пуля” Али Хамраева – всего восемь фильмов.

В настоящее время я готовлюсь к книге, действие которой будет происходить в Астрахани, в Вашем городе. Я бывал в Вашем городе в 1975 и 1991 годах. Материал у меня есть, но его не хватает. И особенно не хватает материалов за последние несколько лет.

В Москве, в 1995 году, я был членом жюри Московского международного кинофестиваля, однако, хотя жюри и гости фестиваля побывали в Нижнем Новгороде по приглашению губернатора В. Немцова, в Астрахань нам попасть не удалось из-за занятости, хоть я того хотел.

Поэтому, не будете ли Вы столь любезны посылить мне присылкой некоторых материалов, необходимых мне для работы. Прежде всего – это газеты или ксерокопии астраханских газет (за 1994 – 96 годы), дающие представление о бытовой жизни города. (15 – 20 или более газет или их копий – чем больше, тем лучше). Нет ли у вас ещё и мелких газеток рыбацких колхозов, совхозов и рыбзаводов по производству икры, сельских газет низовья Волги? Это особенно ценно.

В 1975 году я был в заповеднике при впадении Волги в Каспий. Надеюсь, он сохранился. Приватизированы ли икорнобальничные заводы или остались госмонополией? Нет ли у Вас материалов о процессах по незаконной торговле икрой и рыбой мафии, если таковая существует (думаю, к сожалению, – существует). Были ли на этой почве уголовные преступления, убийства?

Разумеется, я не намерен писать очерк и никаких подлинных имён называть не буду. Я всегда очень сильно перерабатываю материал, ибо это – основа художественности. Возможно, у Вас найдутся ещё и другие материалы, например, мемуары, не слишком литературные, однако содержащие интересные факты и сцены или что-нибудь ещё. Тайного я не хочу – только то, что доступно.

Надеюсь, Вы окажете мне помощь в моей работе. Если в связи с присылкой материалов возникнут какие-либо проблемы или условия, прошу сообщить.

С уважением

Фридрих Горенштейн.

P. S. Я был бы Вам очень признателен, если бы Вы нашли возможность выслать мне также карту Астрахани и низовья Волги.

Ответа, как можно было предположить, писатель не получил. Правда, Игорь нашел, все же, какие-то материалы в интернете, и Горенштейн засел за роман. И работал над ним полтора года. Вдруг он объявил, что у него получается преогромная книга, и что даже его самого, с его тяготением к «объемным» произведениям, это настораживает. После «Ивана Грозного», на которого у него ушло целых восемь с половиной лет, он не хочет писать больших романов.

Оптимальным жанром Фридрих считал небольшой роман. Рассказы, как он говорил, тоже нерентабельны – немецкая публика не хочет их читать. Эту мысль внушали ему немецкие издатели, которые, в конце концов, вообще перестали его издавать. Судя по всему, «план по Горенштейну» был выполнен, кроме того, как всегда, срабатывал «личный» фактор – сменился один из хозяев издательства «Ауфбау» (главного для Фридриха), и на его место заступила дама из бывшей ГДР, которая не воспринимала творчества Горенштейна.

Каждый раз он сообщал, что размеры романа угрожающе растут. Наконец, с видимой тревогой объявил, что уже перевалило за 700 страниц и получится, наверное целых 800! Причем, 800 страниц нечитаемым почерком.

Глядя на растущую рукопись, Фридрих жаловался, что стал плохо разбирать свой собственный почерк. Как Лев Толстой, который на следующий день не мог прочитать им же написанное. Он и раньше говорил, что почерк – проклятие его жизни. Что у него нет как у Толстого Софьи Андреевны, которая семь раз переписывала «Войну и мир», а средств на содержание секретаря тоже нет.

Статьи, которые предназначались для нашего журнала, мы полностью «обрабатывали» (Фридрих читал рукопись вслух, мы записывали текст на магнитофонную ленту, а потом перепечатывали) сами, в том числе и памфлет «Товарищу Маца». 800 страниц «Ивана Грозного» мы, как я уже говорила, в течение года, лишив Бориса выходных дней, записывали на пленку. Некоторые статьи Горенштейн продиктовал Оле Лозовицкой, некоторые – Ольге Юргенс, некоторые Игорю или мне. Однако, у нас не всегда была возможность помочь в этом деле Фридриху. Получалось иногда так, что для написания злободневной, необходимой статьи, он попадал в зависимость от случайных людей.

Итак, у Льва Толстого была Софья Андреевна, которая помогала ему, переписывала его рукописи. Горенштейн, с пристрастием изучивший биографию Толстого, относился к Софье Андреевне настороженно и предубежденно. Он утверждал, что

она «заставляла» Толстого писать романы, тогда как у писателя на это совсем уже не было сил. «Война и мир» отняла у него все силы, выпотрошила всего, подорвала здоровье. Разве понять Софье Андреевне, что такое тяжелая работа каменщика? Вот Сниткина понимала».

Горенштейн называл жену Достоевского Анну Григорьевну Сниткиной, и она, в отличие от Софьи Андреевны, пользовалась его расположением. Достоевскому с женой повезло. Настоящий друг! Она любила писать под диктовку Федора Михайловича! Более того, Сниткина такие часы – записывания под диктовку – считала лучшими часами своей жизни. В письме к своей приятельнице Наталье Дамм («любезнейшей Наталье Леонидовне», как он ее называет) Фридрих пишет:

«Не скрою, Анна Сниткина мне весьма была бы нужна. Близкий человек и помощница. Без Сниткиной Достоевский не написал бы «Братьев Карамазовых».... Мне звонят отовсюду, из Нью-Йорка даже. Ах какой вы... Ах какой вы талант... Меня эта болтовня раздражает. Сниткина не появляется. А псевдосниткина – это еще хуже, чем быть одиноким.

Фридрих»<sup>41</sup>.

С Натальей Дамм, которой адресовано это письмо, Горенштейн познакомился в 1996 году в Кемнице, в Пушкинском обществе<sup>42</sup>, где читал рассказ «На вокзале». По образованию она германист, закончила Лейпцигский университет, вышла в Германии замуж и, таким образом, осталась там жить. Она была хорошо знакома с творчеством Горенштейна, профессионально представила его тогда в Кемнице публике и понравилась Горенштейну. Наташа, кроме того, еще до встречи с писателем подготовила аудиторию: собрала людей за день до его приезда и прочитала им повесть, которую единодушно любят все известные мне друзья Горенштейна, «Улицу Красных Зорь». С этого времени началась их дружба, в основном телефонная<sup>43</sup>.

Наташа – участник эпопеи «Возвращение архива Горенштейна». Архив находился у редактора журнала «Вопросы литературы» Лазаря Лазарева в Москве. По просьбе Горенштейна Наташа поручила «взятие архива» своему московскому двоюродному брату. Виктор Александрович Тягунов, влюбленный в творчество Горенштейна и особенно в повесть «Улица Красных зорь», увез с загородной дачи Лазарева несколько папок с рукописями – всего одиннадцать килограммов. Эти папки он доставил в гостиницу приятельнице Горенштейна актрисе Ольге Конской, которая потом на машине, привезла их в Берлин, где Борис – это уже был последний этап возвращения архива – забрал их у нее дома и отвез Фридриху на Эксиспештрассе.



Однако, вернемся к роману. «Не лучше ли поделить его на две части?» – спрашивает писатель. Помню, мы были тогда за городом у озера Ванзее – живописнейшее место, располагающее к решению судьбоносных вопросов. При этом он настоятельно просит меня и Бориса держать в секрете название – «Кримбрюле», которое он позаимствовал в одной астраханской комсомольской газете. В газете этой, говорит он, так гениально назван был раздел криминальной хроники. Сейчас, вероятно, я могу раскрыть секрет названия. «Брюле» в переводе с французского – нечто горелое, жженое, а под словом «крим» подразумевался криминал. Стало быть, расшифровка названия приблизительно такова: «Криминальный пожар» – название, по мнению Горенштейна, наиболее подходящее для русской, и тем более постсоветской, истории. (Дроблению романа, способствовало, помимо композиционных соображений, также одно событие, которое произошло с писателем 14 марта 1999 года. Об этом я расскажу в отдельной главе этой книги – «Петушиный крик»).

Одна из «половинок» романа стала называться «Кримбрюле, или Веревочная книга». Был еще и подзаголовок: «Уголовно-антропологический мифистофильский роман-комикс с мемуарными этюдами». Так в моей записной книжке китайского стиля, с пагодой и джонкой на матерчатой вышитой обложке, которую писатель однажды подарил мне с дарственной надписью. Там записан еще и эпиграф, а возможно один из эпиграфов (Фридрих любил множество эпиграфов – в этом пункте мы с ним схожи): «Слова улетают. То, что написано, остается. Латинское изречение.» Итак, к названию «Кримбрюле» прибавилось еще одно: «Веревочная книга». Что касается второй «половинки» романа, то Фридрих не сразу решил, что с ней делать. «Может, пойдет на запчасти», – сказал он, «а может потом дополню и сделаю еще один роман».

В письме-некрологе, которое я послала накануне похорон Горенштейна литературному критику Александру Агееву, я писала, что «Веревочная книга» – по словам автора – это попытка понять историю через художественную литературу, созданную предшественниками. Говорила и о том, как было объяснено самим писателем название. В названии «Веревочная книга» зашифровано, оказывается, что это книга высокого качества, причем рассчитанная на самого широкого читателя, то есть бестселлер. А что считать бестселлером, определяли в старой Севилье рыночные торговцы. Заметим: не ученые, не профессора. Это они, торговцы, хорошо знающие вкусы потребителя, «качественные» книги вешали на веревках рядом с окоро-

ками, колбасами, сельдью, копчеными сырами, балыком и прочей снедью. На авторитеты торговцы внимания не обращали. У Мигеля де Сервантеса, например, только «Дон Кихот» удостоен был чести попасть на ярмарочную веревку, да и то — не в Севилье, а в Гренаде, что было менее почетно. Остальные же книги Сервантеса никогда не удостоились чести висеть на веревке рядом с мясом, фруктами, овощами и прочим достойным товаром.

Эти сведения я даю со слов Горенштейна. Нигде я об этом не читала. Не исключено, что все это и правда. Однако предупреждаю: как и многие подлинные художники, Горенштейн был еще и большим мистификатором. Впрочем, Сервантес сам подталкивает к фантазиям. В шестой главе «Дон Кихота» характеристику его «Галатеи», которая находится в библиотеке Дон Кихота, дает цирюльник, который книгу Сервантеса не одобряет.

Я отнюдь не утверждаю, что писатель придумал историю с веревочной книгой, тем более, что не являюсь специалистом в области испанской истории, но если Фридрих эту историю сочинил, то хорошо сочинил. Впрочем, письмо к Ольге Юргенс от 18 мая 2000 года, кажется, подтверждает, что испанские мотивы играли существенную роль в новом романе:

«Я работаю, и у меня начинает складываться впечатление, что это какая-то эпопея в истории и судьбе России за весь век. В романе — внутренний роман. А во внутреннем романе о Сталине пролог разросся в целую книгу, которую, которую я на испанский манер назвал «Веревочная книга». У меня даже появилась идея, правда, пока не окончательная, что «Веревочная книга» может существовать с небольшой правкой автономно».

Горенштейн еще рассказывал, что в одной части его «Веревочной книги» местом действия будет средневековая Севилья. И намекал на какой-то сюжет о Великом Инквизиторе. Мне же, написавшей повесть о Великом Инквизиторе «Провинившийся апостол», посвященную Горенштейну, этот факт не дает покоя. Очень хочется посмотреть, что же он в своем романе написал. (Рукопись находится в архиве Горенштейна, она написана неразборчивым, едва читаемым почерком.) Тем более, что прочитавшая мою повесть в рукописи Татьяна Чернова, о которой я еще скажу ниже, заявила мне, что я написала повесть о Горенштейне.

Работу писателя и, прежде всего, романиста Горенштейн сравнивал с тяжелой физической работой не просто труженника, а именно каменщика, воздвигающего здание и умело укладывающего кирпичи. Я спросила однажды писателя, почему

он сравнивает работу романиста именно с этой профессией, а не какой-нибудь другой, связанной с физическим тяжелым трудом? «Потому что писать роман – это работа каменщика, который строит дом, укладывая кирпичи один за другим. Это же понятно!» – ответил он. Было не очень понятно, вернее, понятно было, что писателю нравится образ каменщика – он даже руками сделал такое движение, как будто берет камень откуда-то снизу и кладет его в стену воздвигаемого им храма – камень за камнем – один за другим. Разумеется, можно вспомнить и о вольных каменщиках, поклоняющихся храму Соломона (и особенно одному из его строителей Хираму, изображаемому всегда с молотком в руках). Многие художники, не только романисты, возлюбили образ каменщика, строящего Храм Истины. Акмеисты в своих «краеугольных», «каменных» текстах использовали архитектурную фразеологию. Мандельштам, как известно, назвал свой первый сборник стихов «Камень», отдавая дань, как он говорил, другому камню, тютчевскому, его стихотворению «Проблема».

Мандельштам писал, что «строить можно только во имя «трех измерений». Строить – значит бороться с пустотой, гипнотизировать пространство. «...Мироощущение для художника, – писал он, – орудие и средство, как молоток в руках каменщика, и единственное реальное – это само произведение».

Горенштейн подчеркивал, что работа писателя прозаична, хотя и открывает новые горизонты и сопряжена с чудотворством. Он старался всячески противопоставить такую работу романтическому мифу о поэте-маге, певце и боговдохновенном импровизаторе (хотя верил в Благоую Весть, сопедшую к художнику). Можно предположить, что за противоречием между Горенштейном и писателями шестидесятничества стояли расхождения не только идеологические и личные. В какой-то степени, это было и противоречие между Горенштейном-классицистом, рассматривающим искусство как ремесло со своим канон и золотым сечением, и шестидесятниками-романтиками, этот канон разрушавшими.

Вопрос художественности книги непрост, так же, как и тема «художник ложный – художник истинный», говорил он. Слишком правдивая, «всамделишная» литература ущербна. И добавлял: «Достоевскому с его излишним натуральным психологизмом или же Толстому с его натуральным биологизмом требовались усилия, чтобы преодолеть власть фактов. Эти правдивые факты приземляли их творческую фантазию». Когда Ольга Юргенс прислала Горенштейну статуэтку, которую она вылепила ему для того, чтобы, как она сказала, его повеселить (кокетливая Муза с лирой в руке), то он, конечно, побла-

годарил за подарок, но сказал ей потом, что Муза, конечно хороша, но в Музах он уже не нуждается, так как работает профессионально, не ожидая вдохновения, которое снизойдет с неба. Если приглядеться внимательно, то позиция Горенштейна близка позиции Гете, который искал своего особого пути, отличного как от направления романтиков, так и от ортодоксальных классицистов.

В процессе работы над вторым вариантом книги Горенштейн говорил, что это в то же время и политический детектив, в котором участвуют крупные партийные деятели и руководители страны. Там, по его словам, действовали и Хрущев, и Андропов, и Брежнев, и Сталин. Было очевидно по рассказам, что Сталину уделено много внимания. Его письма Ларисе Щиголь этого периода подтверждают это:

*«Я работаю над романом, но с перерывами. Сначала прервался после смерти моего кота. Теперь написал 202 страницы и опять прервался ради изучения дополнительного материала. Работа трудная. И фигуры тоже. Сейчас по Сталину дополнительно копаюсь. Поэтому хотел бы Вас спросить: не можете ли Вы узнать насчёт стихов Сталина? Их, говорят, публиковали в Израиле. Он публиковал их под псевдонимом Сосело (Сопилка) 29-го октября 1895 года в газете Чавчавадзе «Иберия». И в антологии грузинской поэзии за 1899-й и 1907-й годы. Будь он проклят! Но я должен в этом копаться.»<sup>44</sup>*

Интересно, что Лариса сумела, каким-то образом, найти Горенштейну стихи Сталина и прислала их ему.

*«Опять я взял на себя тяжесть непомерную, как с Иваном Грозным. Книга о Грозном отняла у меня много нервов. Надо ли было их отдавать? Не лучше ли было 2-3 романа написать? Но уже влюбил себя в Ивана. Выйдет книга в американском издательстве «Слово», подарю Вам экземпляр. Это большой труд, много сил и пота. Такой же силы и пота требует роман. И времени – года полтора-два... Благодарю и за сталинские стихи. Они мне пригодятся. Я уже три месяца не пишу книгу, а всё копаюсь в материале. Но такова работа.»*

Спустя две недели он пишет Ольге Юргенс:

*«А без понимания Сталина нельзя понять эту страну, где родился и о которой пишу. Понимания непредвзятого сталинского и непредвзятого антисталинского. Хоть мне быть объективным по отношению к Сталину нелегко. Слава Богу, о Грозном написал. Думал, не выдержу. Тяжело было работать с материалом. Не только, конечно, это о Грозном. О жизни в*

*переломном 16 веке. Подобном нынешнему. Когда окончил, начались технические и финансовые трудности. Но теперь и это преодолено и рукопись в типографии в Нью-Йорке. Неужели я буду держать эту книгу 1500-600 стр. в руках?<sup>45</sup> Мои книги – это бальзаковская шагреньевая кожа. Чем больше книга, тем меньше кожа».*

Еще мне известно, что Горенштейн в своем романе писал об ущербном детстве Сталина (и здесь, таким образом, история показана через личный, бытовой фактор). Поскольку отец Сталина был сапожником, Горенштейн вдруг заинтересовался сапожным делом. Однажды он пришел к нам в гости с Ольгой Юргенс (она приехала из Ганновера), и Борису, который давным-давно в России научился шить обувь, был устроен тщательный допрос на тему изготовления обуви. Горенштейна интересовало все: какие инструменты требуются в сапожном деле, как они выглядят, какой инструмент для какой работы используется.

Например, нужно было объяснить, чем отличается сапожный молоток от обычного. Ольга Юргенс, между тем, тщательно все записывала. Оказывается, у сапожного молотка особая форма, продиктованная его функцией. Функция же состоит в том, что им необходимо не только гвозди забивать, что выполняет и обычный молоток, но им еще нужно «околачивать» кожу. Например, затянутую на колодку заготовку сапога нужно околачивать молотком. Если околачивать ее обычным молотком, то появятся вмятины, разрывы, трещины и так далее. Поэтому ударная часть сапожного молотка имеет круглую, полированную поверхность.

Зачем все это нужно было писателю? Во время «допроса» я думала о повести «Притча о богатом юноше» («Дружба народов», 1994, №7), где Горенштейн высказал свое принципиальное несогласие с бытующей православной трактовкой евангельского изречения: «скорее верблюд пройдет в игольное ушко, чем богатый войдет в Царство небесное». По версии Горенштейна Христос предложил отказаться от богатства только «богатому юноше», который понравился ему, и потому разрешил пойти вместе с ним трудным израилическим путем апостола. Остальных мирян слова эти не касаются. Если же остальные примеряют эти слова к себе, то, стало быть, они претеируют на святость и апостольство. В повести есть такой диалог:

«Но отвечает Иван Иванович Лазарю Ивановичу:

– Дурно ты и тебе подобные понимают Писание и слова Учителя... Есть и для богатого путь войти в жизнь вечную, соблюдая заповеди.

– Нет, в Писании сказано – раздай имущество свое нищим,  
– язвит Лазарь Иванович.

Святым странником я стать не могу по семейным обязанностям, – отвечает Иван Иванович, – стать же гнусной пьяной голью не желаю... Ты мыслишь, что всякий голодранец за пьянство свое, разорение свое да за то, что рабски подставляет голову под молот судьбы, войдет в Царство Небесное? О том ли говорил Учитель? ♦

Иными словами под прикрытием Святого Писания отстаивалось обыкновенное безделие, жизнь бездумная, на авось<sup>46</sup>.

Горенштейн мне как-то прочитал один из своих бурлесков, иллюстрирующий в гротескной форме эту мысль:

### Лирическое

*Хочу я жизнью жить такой,  
Которой нет названья.  
Широкой русскою строкой,  
Без знаков препинанья.  
Сперва поспать, потом поесть,  
Потом супруге крикнуть – есть!  
Поймав клопа в постели.  
И вот уж нет недели...*

Однако для того, чтобы «выдвинуть» смысл с игольным ушком, автор повести применил яркий экспрессионистский прием. Игольное ушко становится сценическим центром, выходит, говоря языком кинематографа, на крупный план.

Решил в годы НЭПа Егор Лазаревич, герой повести, заняться изготовлением дефицитной швейной иглы. Горенштейн на трех страницах неторопливо, старательно, не опасаясь длинот, рассказывает о том, как изготавливается игла. И особенно игольное ушко. С тщательным вниманием рассматривает автор нежное игольное ушко, словно примеряясь к нему: пройду – не пройду?

♦Умелый был кузнец Егор Лазаревич, дело свое знал и любил, но игольно-булавочное производство в простой сельской кузнице наладить – тут одним умением не обойтись, и инструмент нужен соответствующий, и оборудование. В час сто тысяч таких кусков машина режет, и каждый кусок равен двум иглам... Но долго пришлось повозиться с игольными ушками. Шлифовка на шлифовальном круге должна быть нежной, чтоб отшлифовать середину проволоочки, то место, где пробивается ушко на маленьком штампике».

Трудно изготовить игольное ушко, через которое, говорят, богатому не пройти в Царство небесное. Скорее, пройдет верблюд. И бедный человек.

Критика, к сожалению, не откликнулась на повесть «Притча о богатом юноше», вышедшую в 1994 году в «Дружбе народов» (№7), достаточно интересную и для полемики в том числе. Впрочем, она молчала и о многих других значительных вещах Горенштейна. Борис Хазанов в интервью «Би-Би-Си» сказал, что русской критике этот писатель пока что не по зубам. Так и сказал: не по зубам. Я же добавлю от себя: молчание критики хуже всякой критики. Впрочем, мы возвращаемся, таким образом, к теме, о которой уже неоднократно шла речь. Но возвращаемся уже в новой перспективе, как бы подводя итоги.

Зачем писателю для романа «Веревоочная книга» понадобился сапожный молоток и в особенности деликатная деталь – ударная часть сапожного молотка, имеющая круглую гладкую полированную поверхность? Вероятно, удары Виссариона Джугашвили этим молоточком по коже, повлияли на мальчика Иосифа, уязвили, потрясли младенческую душу, что в свою очередь, отразилось на истории страны и мира.

Так на моих глазах плелась «Веревоочная книга», содержание которой я знаю только по рассказам писателя и несколькими отрывкам, которые он мне читал. Первоначальный вариант этой главы был завершён ещё в конце 2002 года. С тех пор несколько раз подвергалась она изменениям и дополнениям, в чем немалую помощь оказали мне письма Горенштейна. Считаю эту главу очень важной, поскольку она – свидетельство о книге, которая, видимо, ещё не скоро придет к читателю. Для того, чтобы прочитать огромную рукопись Горенштейна, необходимо вложить много труда, нужен специалист, который смог бы надолго в нее погрузиться.

Эскурс: Фридрих Горенштейн. Отрывок из второй главы романа «Веревоочная книга»<sup>47</sup>

Женевская скука, что ли тому способствовала, или дело тут гораздо глубже, чуть ли не в шестнадцатом веке, а именно в женевском центре пропаганды кальвинизма с его антикатолическими, антиреакционными догмами. Сомнение – дело сатаны. Лучше невежество верующего, чем дерзость мудрствующего; грубость и леность нищего духом, нуждающегося во внешней опоре. Вне церкви нет оставления и прощения грехов, нет спасения. Нет большего преступления, чем ересь, и ее, ересь, надо обязательно искоренить, а тех, кто создает ее – казнить, ибо еретики убивают души. И должны быть наказаны за это теле-

сно. Из всех церковных учений нет более близкого к большевизму, чем кальвинизм. И, может быть, не случайно Ленин выбрал для своего проживания, в момент борьбы с меньшевистскими ересьями и создания большевизма именно Женеву.

«Путешествуя в Женеву на дороге у креста встретил он Марию-деву мать Господа-Христа» – это у Пушкина о бедном странствующем рыцаре, а Ленин как раз был таким бедным странствующим рыцарем, изгнанным меньшевиками из ЦК, из своего любимого детища газеты «Искра» и прочих мест. Поэтому – большевизм-кальвинизм, поэтому – Женева.

Сдержанный, строгозамкнутый, целеустремленный нравственный юноша выделялся своим острым умом среди товарищей, но не снискал их любви. Он обличал их мелкие грешки, за что даже получил насмешливое прозвище винительного падежа – это о Кальвине – но подобное можно сказать и о Ленине. Сухой книжник умеет найти себе близких по духу товарищей. Холодный (...) способен на прочную дружескую привязанность, под кажущейся холодностью таится страстная воля, непоколебимая уверенность в правоте своего дела, добытая путем упорного труда убеждения.

Кальвин проездом попал в Женеву в 1536 году. Пожалуй, тогда же, когда и странствующий рыцарь, встретивший на дороге у креста мать Божью. В Женеву, где только что одержала верх реформа. Он начинает усердно работать над организацией молодой церковной общины. Стремится ввести строгую дисциплину нравов. Но силы человека не беспредельны. И Кальвином овладевает вдруг тоска, отвращение к общественной деятельности, он жаждет покоя, стремится создать свой семейный очаг, он удаляется жить среди тихих полей (...) Тут чувства и деяния Кальвина и Ленина не во всем совпадают, но где-то в фундаменте, в глубине эти чувства общие – он боевой товарищ по партии Надежды Крупской, при всей ее болезненности, не похожей на тихую болезненную вдову Юбилету Стор Родер. Мещанский Страсбург не похож на экзотический остров Амиатами среди озера Татикака, куда Ленин мечтает сбежать. Впрочем, в конечном итоге, он сбежал не на остров Амиатами, а к Горькому на остров Капри, и не прямо из Женевы, а уже из Марселя – некое подобие кальвинистского Страсбурга, но о кальвинистской Женеве он не забывает, как и Кальвин.

Обращение гуманиста кардинала Садолетта с призывом вернуться в лоно католической церкви встречает его резкую отповедь также, как и в ленинской Женеве «Шаг вперед два шага назад» – горячая отповедь тем, кто призывает вернуться в тихую заводь.



«В течение трех месяцев понадобившихся ему для написания книги с ним произошла разительная перемена – крепкого сложения, полный энергии, жизненного задора Ленин осунулся, похудел, пожелтел. Глаза злые, хитрые, насмешливые стали тусклыми, моментами мертвыми. В конце апреля (книга начата в конце января) одного взгляда было достаточно, чтоб заключить: «Ленин или болен или его что-то гложет и изводит». Так вспоминает один из близких людей Ленина – Лепешинский. «Я, кажется, – говорил Ленин, – не допишу своей книги, брошу все и уеду в горы». (Ленин хотел уехать еще дальше – в Перу на Татикака) «Ни одну вещь, – говорил Ленин, – я не писал в таком состоянии. Меня тошнит от того, что приходится писать. Я насилую себя». Автору знакомо такое чувство. Дело не в том, конкретном содержании, а во взаимоотношении автора с содержанием. Материал может подавлять автора даже чисто физически своим объемом, не говоря уж о содержании. Толстой окончил «Войну и мир» больным человеком, Данте окончил «Божественную комедию» – умер от инфаркта, а Сервантес окончил «Дон Кихота» – умер от инсульта, поэтому так важна самогигиена и техника безопасности при написании подобных книг, которые автор старается (...), впрочем, это совсем уже в сторону, если так изнуряет деяние, писание, то как же изнуряют подобные деяния в чистом виде, то есть не на бумаге, а в натуре. (...) Во всяком случае, Кальвин в такой деятельности на бумаге и в натуре не выдержал – его хрупкий организм разрушился. Вернувшись из эмиграции в Женеву, Кальвин становится (...) внутренней и внешней политики испанского естествоиспытателя Михаило Серветта. Он посылает его на костер, косвенно донося на него католической инквизиции, как об авторе еретических книг. Внутренняя оппозиция гибнет, обезглавленная в прямом и в переносном смысле. Кого не посылают на плаху, тех изгоняют. Незадолго до смерти, в 1559 году, Кальвин устраивает академию для подготовки проповедников, которые должны продолжить дело.

Ленин умер в неполные пятьдесят четыре года, а продолжателем его дела стал Иосиф Сталин. Об обоих, пожалуй, известно очень много, почти что все, но это только кажется среди вороха пробольшевитских и антибольшевитских книг. А если настойчиво покопаться, возникает то дополнение, которое вполне объясняет сомнительные места обоих направлений, которые только кажутся, опять же, только на первый взгляд, параллельными и не пересекающимися. Нет! Пересекаются! А пересечения-то надо особо искать.

Некоторое время тому (...), то есть в конце золотых шестидесятых годов, молодой способный композитор решил к ленин-

скому юбилею, приближающемуся столетию со дня рождения, написать музыку для балета «Шаг вперед. Два шага назад.»

Этакое балетное звучание: Раз, раз-два! Та, та-та! Шаг вперед, два шага назад. Шаг вправо, шаг влево, рам-па-па, рам-па-па, рам-па-па, рам-па-па!!!

Балет этот должен был быть звуковой – так предложил известный балетмейстер, постановщик балетных танцев, танцевального спектакля. Но поскольку балет – спектакль интернациональный, его смотрят без перевода, то балетмейстер предложил звуковые моменты перевести на эсперанто. Балет должен был называться «баледо». Композитор – «компонисто», а балерина – «баледестино» или «дасестино» (танцевальщица).

Ленин тоже, кстати, одно время изучал эсперанто, втянул в это дело Надежду. Оставили они это интернациональное дело только из-за занятости. (Бесклассовое общество – «сенкляссе», коммунизм – «коммунисто», построение коммунизма – «акконструадо де коммунистонуизм»).

Танцевать Ленина должен был знаменитый, любимый обществом «балерун», а Крупскую – его жена, почти что также любимая. Может быть из-за этого «почти», его жена «балестино» иногда впадала в тоску и, кажется, в какой-то загранке резала себе вены. Впрочем, чужая семья – потемки...

Но балет, посвященный семье Ильичей (так в шутку звали их близкие друзья) оба солиста восприняли с энтузиазмом. Хотя этот энтузиазм далеко не все разделяли. Особенно в высших инстанциях культуры и пропаганды. Дошло до Михаила Андреевича Суслова, руководившего идеологией, которого называли в те годы – серый кардинал ЦК. На письмо о балете «Шаг вперед, два шага назад», он наложил резолюцию: «нецелесообразно».

Михаил Андреевич никогда не пользовался длинными сложными резолюциями, он писал либо: «целесообразно», либо: «нецелесообразно», как в данном случае.

А талантливый молодой композитор (автор знаменитой песенки «Я вчера весь день гуляла, да по Садовому кольцу»), знаменитый балетмейстер и любимые артисты балета боролись с энтузиазмом. К тому же, приближалось столетие, юбилей надо было отмечать. И, в конце концов, удалось убедить министра культуры, который без энтузиазма, с оговорками, поддержал идею талантливой плеяды мастеров искусств.

В этой талантливой уважаемой плеяде было одно слабое звено: автором либретто молодой композитор пригласил некоего Константина Мухерзона, известного также под псевдонимом Мухаслон. Дело в том, что Мухерзон был лицом еврейского происхождения. Молодой композитор и знаменитый балетмей-

стер тоже имели такие лица. Балетмейстер, к тому же, еще поленился ужасно картавил: «Гхрам– па– па, гхрам– па па, гхрам– па– па!»

Дело в том, что на соответствующем запросе от министерства культуры о Мухерзоне, майор Достоевич дал самые отрицательные характеристики: «Плохой человек, привлекался, был под следствием, впрочем к организованному профессиональному диссидентскому движению не принадлежит».

Уцепившись за последнее, молодой композитор и знаменитый балетмейстер вдвоем начали обрабатывать министра культуры и добились успехов. Конечно, не в московском казенном здании министерства культуры, а на лоне природы в Карловых Варах, где совместно пребывали на каком-то международном музыкальном фестивале. Там, в окрестностях бывшего Карлсбада, в северо-западной Богемии, отличающейся живописностью и такими милыми ресторациями, таким видом на узкую долину, где сливаются реки Тенель и Эге, а в центре среди разноцветных – красно-розовых и сине-желтых – среди разноцветия домов – канал с большими золотыми рыбками. Там, на берегу канала, в магазине «Хедва» советская делегация купила себе «кровать» – галстуки-бабочки. Министр культуры – черный в белую крапинку, композитор – фиолетовый в желтый ромбик, солист балета – красно-коричневый, а балетмейстер купил детский маленький галстук-бабочку, красно-вишневый – своему сыну Мстиславу, солисту хора мальчиков. Не помню, посещал ли Ленин Карлсбад? Кажется, нет. Даже во время пражской партийной конференции, где Коба был избран в ЦК большевистской партии, он в Карлсбад, расположенный неподалеку, не поехал. Во всяком случае, с этим городом-курортом, напоминающем буржуазно-развлекательное искусство Бакста, у него ничего не связано.

Обычная кальвинистская Женева была для него тягостной. Повседневная партийная работа, от которой подчас изнемогаешь, но которая необходима. В Карлсбаде больше стиля чем содержания. От такой красоты тошнит, как от меньшевизма. И климат не постоянный, с резкими и быстрыми переменами погоды, впрочем, доктор Леман, тот самый, который лечил еще Крупскую в Крыму, говорил, что Карлсбад, особенно горячие щелочные источники, вытекающие из трещин гранита (Нейбрун – температура – пятьдесят пять и четыре десятых градуса, Кайзербрунер – температура – тридцать семь с половиной, Нульбрунер – пятьдесят один, Маркбрунер – сорок семь с половиной), очень полезны. Также при женских болезнях полезны холодные минеральные источники – питье и ванны, но Ильичи предпочли Баден-Баден, и вообще Германию, к кото-

рой Ленин питал давнюю симпатию, и где был известен как герр Манин.

Однако советской делегации Карловы Вары понравились. Они даже из минеральных источников попробовали, довольно, кстати, противных на вкус, и закупили всевозможных безделушек – слоников и бравых солдат Швейков (...) из карлсбадской углекислой извести. Посетили, конечно, и богемский стекольный завод, на самом деле – немецкий. И долго разглядывали образцы рюмок, подаренных сильными мира сего, долго стояли перед рюмкой Черчилля, сделанной прочно-изящно, поулыбались у рюмки Хрущева, на которой был какой-то затейливый глупенький орнамент, и с серьезным видом реагировали на рюмку Сталина, особенно конечно министр – глава делегации. А члены делегации, личности прогрессивные, заодно отдавали дань, тем более, надеясь на согласие в вопросе работать над балетом «Шаг вперед, два шага назад».

– Как все-таки красиво, – сказал министр и указал на рюмку, – она невольно выделяется своей разумной простотой, наподобие сталинской книги «Марксизм и национальный вопрос».

– Да, – пробормотал композитор и подумал: – Не намекает ли министр на создание балета по книге Сталина «Марксизм и национальный вопрос»?

(Я уже говорил, что либретто у Мухерзона именно таково, поэтому композитор пригласил именно Мухерзона. У меня складывалось впечатление, что идея балета принадлежала именно Мухерзону, а вовсе не композитору).

Вообще, было решено разомлевшим от пива министром о балете поговорить с Михаилом Андреевичем и постараться его убедить. Действительно, вскоре по возвращению в Москву начались репетиции, правда, закрытые, то есть на них посторонних не допускали, хоть несколько особо пронырливых посторонних музыкальных критиков и журналистов все-таки проникли.

Поползли слухи о каком-то суперноваторстве. Работали с энтузиазмом, часто оставаясь на репетициях допоздна, а в свободное время солист и солистка по совету композитора и балетмейстера засели за ленинские книги, особенно за «Шаг вперед, два шага назад», однако этим не ограничились. Солист заявил, что для того, чтобы станцевать Ленина, он должен знать о нем все. Так же и жена его – солистка должна все знать о Крупской, чтобы станцевать Крупскую.

Впрочем, эта идея кажется была подброшена Мухерзоном, взявшим, напоминая, псевдоним Мухаслов, хоть и думал взять псевдоним – Николай Женин, тем более что Мухерзон,

высланный в Казань, некоторое время работал в казанском ленинском архиве. Так вот, благодаря авторитету и общественному влиянию, солист добился доступа в такие архивные дебри, куда до него не ступала рука человека, а за широкой спиной солиста туда проник и Мухерзон-Женин.

Боже мой! Какие пикантные мелочи открылись их взору. История потери Надей девственности во время лечения в Евпатории еще не самая пикантная. Вот какой ошибкой оказалось разрешение власти заглянуть поглубже в уголок Ленина и его жены.

Вообще личные уголки вождей – наиболее хранимая государственная тайна. Недаром в своих мемуарах Крупская (Ленин мемуаров не писал) тщательно избегала всего, что позволяло заглянуть в уголок Ленина. Я думаю, существовали такие личные уголки, наподобие «Абдулки» или Леночки, куда они друг к другу не заглядывали, несмотря на общее откровенное товарищество. Как писал В. В. Вольский-Валентинов, дом должен оставаться домом, у которого окна плотно закрыты ставнями, то есть наружу выдавалось только нужное и полезное.

Конечно же, вскоре власть опомнилась и важную роль сыграло (...) письмо в оргинструкторский отдел ЦК информатора Михаила Маршакова, известного создателя ленинианы. Отдел ЦК, сообщает в своих мемуарах «Памятные записки» Лазарь Моисеевич Каганович, такими информаторами давно пользовался. Такие информаторы, подбираемые нами, в большинстве – квалифицированные работники, и среди таких информаторов тридцатых годов Каганович называет драматурга Виль Блюдинковского, который старательно и трудолюбиво исполнял свою партийную обязанность информатора оргинструкторского отдела ЦК, одновременно занимаясь литературой. Таким же сознательным, трудолюбивым информатором шестидесятых – семидесятых годов был одновременно занимающийся литературой, главным образом ленинианой, Михаил Маршаков, о нем ниже и в другом месте. Тут же скажу, что Михаил Маршаков во-первых, был обижен, что его не привлекли к ленинскому балету, а привлекли какого-то Мухерзона, человека с подмоченной репутацией, а во-вторых, его, Михаила Маршакова, в хранилище особого архива не допускали, а солиста – допустили, и вместе с ним туда проник Мухерзон – личность не заслуживающая политического доверия.

Дело прикрыли, кто-то получил нагоняй, кого-то уволили. Говорят, даже сам министр культуры имел неприятный двухчасовой разговор с Михаилом Андреевичем, и будто министра культуры собирались отправить послом в Перу. Конечно, все

дела по балету «Шаг вперед, два шага назад» похоронили, а всю балетную творческую группу по одиночке вызывали в полуподвальное помещение с зарешеченными окнами, где с ними вели предупредительно-назидательные беседы, после которых взяли подписку о неразглашении проработанного в архиве. Но кое-какие слухи со временем поползли.

И слава Богу! Потому что этими слухами я пользуюсь, но не только ими, а так же и сведениями из других источников. К примеру из Конан Дойля. У его персонажа, сыщика Шерлока Холмса пользуюсь его методом – дедукцией. Deduction – логическое заключение от общего к частному, от общих суждений к другим частным взглядам и выводам. Есть также метод индукции: от частных фактов строить общий вывод. Эти два метода важны при написании данной книги, ибо они дают возможность понять, как проникнуть в тайны неизвестного. Так, чтобы еще яснее понять и по новому рассмотреть известное, много раз осмысленные обработанные факты, особенно с помощью личных уголочков. Пора, наконец, из тесноты общих суждений вернуться на волю, то есть в Пампасы, где, кстати, жил необычный святочный мальчик Мигель и его дядя Хосе.

## 20. ОТСТУПЛЕНИЕ О ЛИТЕРАТУРНЫХ ТОЛКАХ<sup>48</sup>, СПОРАХ О ДОСТОЕВСКОМ И МОЕМ СНЕ

---

В комментарии-послесловии к роману В. Аксенова «Скажи изюм» (Москва, 2000 г.) – так в романе называется фотоальбом, за которым угадывается реальная история знаменитого альманаха «Метрополь» – Евгений Попов писал:

«Однако... однако ВРЕМЯ ПРОШЛО, и все, включая самого юного автора альманаха ленинградца Петра Кожевникова, постарели ровно на двадцать лет. Иных уж нет (Б. Бахтина, В. Высоцкого, Ю. Карабчиевского, Г. Сапгира), иные далече (В. Аксенов, Ю. Алешковсий – в США, Ф. Горенштейн и В. Ракин – в Германии). ВРЕМЯ УШЛО, как вода уходит в песок, и все ТО, ЧТО БЫЛО, смыто новым «бурным потоком», возникли новые реалии, в которых мы теперь и живем. Водевиль под названием «Ты этого хотел, Жорж Данден, или За что боролся, на то и напоролся» опять с успехом идет на русской сцене. Нравится нам это или нет, но нынче властям до писателей нет решительно никакого дела.

Все смыто. Но остались два текста. Альманах «Метрополь» и роман «Скажи изюм», посылом для которого послужила ИСТОРИЯ С «МЕТРОПОЛЕМ».

От себя добавлю, что осталась еще и публицистика Горенштейна, о «маразматическом» времени семидесятых и о той среде, в которой рождался «Метрополь», от которой он, Горенштейн, себя «отделил» географически и духовно. И еще добавлю: среди тех, которые не только «далече», но кого «уж нет», следует теперь назвать и Фридриха Горенштейна.

Последняя критическая статья «Читая Фридриха Горенштейна. Заметки провинциального читателя», вышедшая при

жизни писателя на фоне долгого молчания критиков, была написана Татьяной Черновой («Октябрь», 11, 2000).

Татьяна – литератор, мы учились с ней вместе, в том числе у Н. Берковского и Е. Эткинда, и даже жили в одной комнате в общежитии студенческого городка на Новоизмайловском. Как может догадаться читатель, публикация Черновой – результат деятельности нашей с ней студенческой «мафиозной структуры». К сожалению, на стороне Фридриха, было мало подобных структур, а если и были, то в основном такие, малозначительные «структуры». Не то что у иных, с настоящей, солидной литературно-критической «крышей».

Горенштейн ответил на эту публикацию письмом к Черновой в Светогорск. Почему-то письмо не дошло, и тогда он написал второе, а кроме того, прислал ей свой роман «Скрябин»<sup>49</sup>. Разумеется, Горенштейн в письме Черновой первым делом сообщил, что его не публикуют в России: «Десять лет не случайно моих книг не было в книжных магазинах. Информационная блокада. Это дело прогрессивно-либеральной клики, шестидесятников, истеблишмента... Боятся конкуренции на рынке. «Наши» действуют через «своих».

Горенштейн сообщил и о «Веревочной книге»: *«Три года я возился с одной странной книгой, полумелодрамой, полу... не знаю какой... комикс в подзаголовке... Пусть вылеживается. Хотел ничего не делать, но все-таки кое-что пишу. Небольшое. Написал статью о Пушкине<sup>50</sup>. Он в моих планах. А сейчас намерен писать о традиционном аморализме Запада. Если под Западом понимать не людей, которые разные, а политиканов и лживый западный «журнализм» «милых друзей». Со времен «милых друзей» Мопассана они стали еще хуже. И еще хуже, чем в 30-е годы... Только тогда они трусливо потакали нац-социализму, а теперь нац-исламизму. Я хотел бы поискать в России материалы по послевоенной Америке. Тогда при взаимной пропаганде много друг о друге правды говорили. О сталинизме понятно. Но и о труменизме и маккартизме нужна правда».*

Горенштейн пишет Черновой: *«Напишите, как и чем Вы живете. Может быть, когда-нибудь через год окажусь в России, в тех местах Ваших. Кто его знает. Если бы Вам удалось приехать к Мине, то посмотрели бы Берлин. Берлин того стоит. Тут был в Берлине международный фестиваль литературы. Я читал из «Попутчиков» и предложил им, чтобы они Вас пригласили. Все-таки свежий человек из русской провинции, литературный рецензент – так аргументировал. Однако пожадничали. Денег нет. Сволочи».*



«Им» – это берлинские организаторы фестиваля. Вечер вела дама не только невежественная, но еще и враждебная по отношению к Горенштейну. Пышная такая «пышка» – современный «вариант» дамы из круга мопассановских «милых друзей». Зачем-то она пыталась настроить немецких слушателей против писателя такими, например, заявлениями: «Горенштейн вот уже двадцать лет живет в Германии, а все еще пишет на русском языке».

Однако читательская публика на провокации не поддавалась. Мы с Ольгой Юргенс наблюдали после чтения за взволнованной толпой читателей, желающих купить «Попутчиков» или другие книги Горенштейна (в Германии опубликовано одиннадцать его книг). Картина, которую мы наблюдали, не соответствовала, однако, типичным представлениям о западном хваленном рынке. Разочарованные читатели с пустыми руками уходили от книжного прилавка, на котором не было ни одной его книги, притом что эти прилавки были специально установлены для вечера встречи с Горенштейном.

Из письма Ларисе Щиголь: «20-го июня я выступал на международном литературном форуме в Берлине. Читал из «Попутчиков». Публика хотела купить мои книги, но их на столах не оказалось. Издательство не захотело прислать. Так что паскуды интернациональны. Но зачеркнуть они меня не могут. Опоздали! Так же, как и российский истеблишмент. Хрен им!.. Жаль, что время отнято. Главным образом у меня, но отчасти и у книг. За это не будет прощения. За это месть не топором, но пером, чем теперь и занимаюсь. Ибо мой роман – комикс. А комиксу всё разрешено».

Однако, вернемся к Черновой. Под впечатлением только что прочитанного романа «Скрябин» она писала Горенштейну:

«Мне очень понравился Ваш Скрябин... Личность очень любопытная и представилась мне очень ярко – я не могла оторваться, пока не прочитала. А вчера, после того, как закрыла последнюю страницу, подумала, как бы это могло получиться в фильме. Это такой очень красивый фильм (ну, очень-очень, что даже слишком, такой изысканной красоты, какой грешил этот век, вернее, его начало). Я подумала, какое все-таки это было страшное, роковое время... Мне это время представляется временем заблуждений и максимального отхода от истины (где-то ведь существующей, наверное) – и временем озарений и прозрений... В глазах рябит от обилия тогдашних гениев... Я почуяла какой-то карнавал, а не жизнь – везде маски, карнавальные костюмы, переодевания, когда не поймешь, кто же из них настоящий. Есенин в цилиндре на макушке, Цветаева десять раз, по-моему, выстригавшая свои волосы напрочь, чтобы

получить, наконец, желанную воздушность головки. И вот кажется, что все фальшь и сама их жизнь фальшива, но вдруг такие строчки и такие прозрения и пророчества, что невольно и подумаешь – «гений». Я очень холодно отношусь к Есенину и к его этому уайльдовскому дендизму (он был игрок №1 среди этих игроков), но вот таращусь постоянно в его «Песнь о хлебе», и диву даюсь.

Мне кажется, в наше время наступил или наступает (среди всей суеты и сумятицы) какой-то «момент истины», вернее, мы к нему более близко расположены. Я так говорю, потому что вижу в глазах моих соотечественников растерянность и «ничего непонимание». Даже у тех, кто сыт, благополучен, делает успешную карьеру... Вы не устали от моих рассуждений? – но я только вчера прочитала Ваш кинороман и еще беседую с ним».

Татьяна писала мне: «Вот бы написала я что-нибудь в духе «меланхолического литературоведения», как сказал Лихачев о своих юношеских увлечениях. Например, «Образ мухи в произведениях Горенштейна и Бродского». Я где-то читала мнение Горенштейна о Бродском – не очень теплое, но между прочим, и в нем, в Бродском, Гоша тоже имелся».

Сравнить Горенштейна и Бродского? По-моему неплохая идея. Кстати, о Бродском. К Бродскому у Горенштейна было особое отношение. Любить его как корифея российского литстэблишмента он, разумеется, не мог, это понятно. Но не мог, как ни старался, и не любить. Виной тому поэзия Бродского, которую Фридрих ценил. Бродский Горенштейна, разумеется, тоже не любил. Впрочем, он его и не читал. Вращались они в одном кругу почти в одно и то же время. Горенштейн учился на Сценарных курсах с Найманом, а с Рейном участвовал в «Метрополе». Оба – друзья Бродского и недоброжелатели Горенштейна.

### Мой сон.

Казалось, что можно поставить точку в конце этой главы. Однако в одну из ночей наступающего полнолуния, чуть ближе к утру – 14 февраля 2003 года – мне приснился сон, который растолковывать не берусь, более того, утром я не стала особенно сосредоточиваться на минувшей ночи и красках и звуках сна, а также делать рискованные предположения, побывала ли я по ту сторону безмолвия, или же, наоборот, получила оттуда какое-то известие. Я доверю читателю частицу моего сонного мира, надеясь на ответное ко мне доверие, предупредив предварительно, что следующая глава также озаглавлена днем че-

тырнадцатым, только уже месяца марта (месяц март, месяц рождения и, как оказалось, смерти, Горенштейн не любил и называл его «плохим месяцем»).

Этой ночью, 14 февраля 2003 года, мне приснился сон. Я записываю этот сон по свежим следам, стараясь придерживаться «реальности» и не смещать акцентов.

Я сижу в небольшой комнате, слегка освещенной единственной лампочкой, висящей под потолком. Напротив меня, чуть слева, в отдалении, сидит на скамье у деревянного стола Фридрих Горенштейн, одетый в теплые коричневые тона. На нем еще коричневая с рыжеватым оттенком вязаная жилетка. Несмотря на слабое освещение, видно, что лицо его спокойно, приветливо. На нем нет печати потусторонности, хотя мне известно, что его нет в мире живых. Лицо, наоборот – земное, и цвет лица земной, и видно, что ему хорошо. Я вдруг говорю: «Фридрих, я написала о вас книгу!»

Фридрих (улыбаясь): Книгу? Хотел бы я посмотреть, что вы там написали!

Я. Но я боюсь, что она вам не понравится!

Фридрих. Почему же не понравится? Понравится. Вы ведь все поймете, как надо. Чего же вам бояться?

Я. Все равно боюсь, но очень хочу вам прочитать главу «О литературных провокациях».

Фридрих (улыбается). Литературные провокации? Это хорошо. И не бойтесь.

Я (я подумала: выражение «литературные провокации» писатель употреблял по отношению к Достоевскому). Глава состоит из диалогов с вами.

Фридрих. И правильно – ведь мы же с вами говорили о литературных придумочках некоторых авторов, прибегающих к ложным показаниям...

Я. ...для литературных скандалов и внушений читателю.

Фридрих. Ну вот видите! Я ведь не даром подарил вам китайскую записную книжку.

Я (смелее). И вообще хочется прочитать вам всю книгу.

Фридрих. (спокойно-задумчиво): Всю книгу? Можно и всю... Если успеем.

Я (с испугом: он знает, что должен умереть, поэтому говорит «если успеем». А когда он тогда умирал, нельзя было и нечаянно намекнуть о смерти). А еще вы можете успеть (Боже, что я говорю!) написать предисловие.

Фридрих. Предисловие? Но ведь я уже вам написал одно предисловие<sup>51</sup>.

Я (не хочет предисловий, потому что не любит предисловий, особенно у Достоевского... В «Братьях Карамазовых», где предисловие как последнее слово подсудимого... Продолжаю, однако, настаивать). Но можно написать еще одно предисловие!

Фридрих. Не нужно предисловия. Я думаю, что если успею, то лучше напишу послесловие.

Видение не растаяло, не затянулось туманом, и не было ускользающей тени, как обычно в литературных снах. Фридрих, сидящий у стола, исчез внезапно, и я проснулась.

## 21. ПЕТУШИНЫЙ КРИК

---

Когда Горенштейн приступил к созданию романа «Кримбрюле», который он потом окрестил «Веревочной книгой», с ним произошло событие чрезвычайное. 14 марта 1999 года некто Посторонний (Потусторонний или Посюсторонний неясно) вмешался в его писательскую работу и судьбу. Горенштейн, как обычно, сидел за письменным столом, писал. Разумеется, чернилами.

Процессу писания чернилами он придавал значение таинства, мистерии. В романе «Попутчики», в самом конце его, главный герой писатель-сатирик Феликс Забродский произносит внутренний монолог о волшебном взаимодействии высококачественных чернил (неприменно почему-то синего цвета) с бумагой, также высокого качества: «Мне для праздничного свидания моего нужна только бумага высшего качества, только первого класса. Бумага гладкая, упругая, как молодая женская кожа, с крепкими волокнами из чистого хлопка или чистого льна. Эта бумага должна обладать также всасывающими способностями, купленная по привилегии, заграничная, северная, сделанная по старому скандинавскому рецепту, так что ею, возможно, пользовался и Кнут Гамсун, возненавидевший разум и воспевавший освобождение человеческой личности через безумие, через утонченное безумие».

А в «Хрониках времен Ивана Грозного» летописец-дьякон Герасим Новгородец также говорит об особом удовольствии для книжного писателя самого процесса писания: «Люблю я красоту дела письменного – чернильницу, киноварь, маленький ножик для подчистки неправильных мест и чинки перьев, песочницу, чтоб присыпать пером непросохшие чернила, а पुще всего – сидеть на стульце, положив рукопись на коленях, и писать тонкословием со словами приятными...».

У Горенштейна, как я уже говорила, не было ни компьютера, ни даже пишущей машинки. Он считал, что только в процессе работы по-старинке, то есть пером и чернилами, зарожда-

ются идеи и чувства. И хотя почерк у него был совершенно нечитаемый, рукописи у него вовсе не были торопливой скорописью. Напротив: каждое слово Горенштейн вырисовывал, как иероглиф.

Однако в полдень 14 марта некто Посторонний вырвал у Горенштейна из рук чернильницу и опрокинул ее на ковер в тот самый момент, когда писатель собирался отвинтить крышку, чтобы заправить чернилами авторучку. Даже не вырвал, а сильным толчком выбил чернильницу из рук. Рассказывая о случившемся, писатель вспомнил, конечно, известную легенду о Мартине Лютере. Великий немецкий реформатор доктор Лютер, живший в Виттенберге, что неподалеку от Берлина, переводил «Библию» на немецкий язык и увидел перед собой однажды черта. Он запустил в черта чернильницей, которая однако пролетела мимо нечистого и ударилась о стену. На стене замка до сих пор сохранилось чернильное пятно от брошенной проповедником чернильницы, которое непременно показывают туристам.

А у Горенштейна осталось большое чернильное пятно на ковре. Он подчеркивал, показывая мне следы происшествия, что на саму рукопись не пролилось, однако, ни капли чернил. Я даже запечатлела это чернильное пятно на ковре на фотографии, и в случае издания моих записок, мне хотелось бы эту фотографию продемонстрировать читателю.

Итак, Горенштейн сидел за столом, писал роман. В отличие от Лютера, черта он не видел, и не видел даже пуделя, в отличие от Фауста, который, как мы помним, тоже переводил Святое писание. Никого, как ему казалось, не искушал, не провоцировал (Фридрих полагал, что Лютер провоцировал нечистого своими текстами, о чем и написал в «Веревоочной книге»). Да и чернильницу он не бросал. Некто был не видением, как у Лютера и Фауста, а силой. И эта сила выбила чернильницу из рук. «ФАУСТ: Не Сила ли – начало всех начал?» Возможно, нечистый, который неглуп, не сумев его, писателя, оклеветать перед Богом (Люцифер – это, прежде всего, клеветник – так считал Горенштейн, полагая, что свет, исходящий от Люцифера, ослепляет истину), выбил у него чернильницу из рук, дабы не повадно было дальше писать.

Надо, однако, сказать, что Горенштейн в тот момент, также, как Лютер и Фауст, работал над книгой. Только не как теолог-переводчик, а как литератор-комментатор. Он сравнивал «Введение» Достоевского в «Записках из Мертвого дома» с «Введением» Пушкина в «Повестях Белкина». Обнаружил перекличку Александра Петровича Дворянчикова с Иваном Петровичем Белкиным.

Впрочем, что там могло не понравиться нечистому? Может быть, сам несмыслимый процесс писания чернилами, как писали старые мастера? Воистину неповторима графика писаний Гоголя, Толстого и в особенности Пушкина, говорил не раз Горенштейн. – Страничку пушкинского черновика можно было бы и в рамку вставить!

Уместно вспомнить и великую книгу Иова, в самом начале которой Сатана занимается подстрекательством, буквально, вынуждая Всевышнего испытать праведнейшего из праведных. Эта сцена вдохновила, как известно, Гете на «Пролог на небесах» бессмертного «Фауста».

История с чернильницей оставила в душе писателя такой тягостный след, что он по прошествии трех лет, даже и в больнице ее вспоминал, уверяя себя и других, что темным силам свою слабость и страх ни в коем случае показывать нельзя, а наоборот, следует творить, тем самым уничтожая зло. «Непрерывно писать, – говорил он, – Гитлер был исчадием ада, стало быть, я должен о нем написать. Так, чтобы уничтожить». Горенштейн уже прочитал, «проработал» фантастическое количество материала о Гитлере. Он не только работал в библиотеках, но и бродил по «блошиным» рынкам, покупая одномарочные немецкие книжки нацистских времен. Лариса Щиголь и ее сын-музыкант в Мюнхене разыскивали модные американские и немецкие шлягеры тридцатых годов для пьесы, и переводили на русский язык.

«Фильм Александра Сокурова «Молох» о Гитлере – несомненная фальшивка, – говорил Горенштейн. – Образ Гитлера неоправданно «занижен» и окарикатурен, тогда как это монстр крупномасштабный, требующий к себе такого же серьезного отношения, как герой-убийца у Достоевского, от которого Гитлер отличается разве что тем, что перенесенные в детстве страдания и унижения не украсили его, как это должно было бы быть, согласно концепции Достоевского, а наоборот, страдания эти обратились в невероятную злобу».

Собственно, две сцены пьесы были уже им осуществлены. Замысел пьесы – «эволюция» персонажа (Гитлера) «от мелкого гнусного бесика до злого гения человечества». Писатель подчеркивал, что пьеса необходима новому поколению, и что когда он ее завершит, то сразу же примется за пьесу о Пушкине, тайну которого он разгадал: «От черного ангела Гитлера – к светлому ангелу Пушкину!» Писатель был уже тогда болен и я вспомнила даже сологубовские молитвенные речи: «У тебя, милосердного Бога, много славы, и света, и сил. Дай мне жизни земной хоть немного, чтоб я новые песни сложил!»

Итак, две сцены пьесы осуществлены, и уже виделась ему неясно, еще в тумане, финальная сцена несокрушимого замысла, когда голова Гитлера<sup>52</sup> на блюде, словно голова Олоферна, была отнесена для опознания его личному зубному врачу. Хотя нет, блюда не было. Это голова Иоанна Крестителя по требованию Саломеи, дочери Иродиады, была принесена Иродиаде на золотом блюде.

Горенштейн же подразумевал командующего войсками Навуходносора Олоферна, человека талантливого и беспощадного, не ведающего снисхождения ни к побежденному неприятелю, ни к мирным жителям. «Когда владыка ассирийский народы казнию казнил, и Олоферн весь край азийский его деснице покорил...», тогда осадил он город Вефулий, в котором жили иудеи. Однако иудеи решили сражаться до последнего и замкнули врата свои узкие замком непокорным и перепоясали высоты свои стеной, как поясом узорным<sup>53</sup>. Решил сатрап умерить жителей голодом и жаждой. Тогда одна из жительниц Вефулии красавица Юдифь вышла из узорных ее стен, пришла в шатер полководца, смутила его душу победоносной красотой, опоила вином и его же собственным мечом отрубила ему голову. Она затем эту голову засунула в мешок и вернулась в город. А в городе, на главной площади, окруженной плотной толпой горожан и воинов, народная героиня, красавица Юдифь вынула из мешка голову злодея и показала ее всем воинам и горожанам города. Таков позорный конец Олоферна.

Голова, вернее, обгоревший череп Гитлера, попала к лечащему зубному врачу Гитлера, по иронии судьбы, представителю народа, который он намеревался истребить полностью. Иудей-врач каким-то образом уцелел и жил в 1945 году неподалеку от Эксшештрассе, на параллельной улице. Я, к сожалению, забыла, как называется эта улица. Фридрих туда навещался и говорил, что на месте дома, где жил легендарный врач, стоит сейчас другой дом. Итак, советские солдаты принесли врачу для опознания предполагаемую голову Гитлера. Ибо только он мог по сохранившимся зубам и зубным протезам опознать Фюрера. Судя по всему, у автора будущей пьесы намечена была торжественная финальная идея, не только ничего общего не имеющая с принижением и окарикатуриванием образа Зла, а наоборот, приближающаяся к неотвратимой, все возвращающей по кругу, судьбоносной греческой трагедии.

Еще в начале 2000 года Горенштейн задумал пьесу о Пушкине. (Мы говорили об этом много, я даже торопила его и говорила, что Гитлер может подождать, с чем Фридрих не соглашался.) «Разумеется, – говорил он, – никто из любимцев ва-



шей интеллигенции, включая Булгакова, не смог написать о Пушкине. Пьеса Булгакова «Последние дни» в принципе не могла состояться. Идея сделать пьесу о Пушкине без Пушкина, при всей ее оригинальности, была заведомо обречена на неудачу. Именно поэтому Вересаев отказался от совместной работы с Булгаковым над пьесой. А я сделаю, чего еще никто не сумел! Но для этого нужно два года работы».

Однажды писатель загадочно поведал мне, что разгадал тайну Пушкина. Подвел меня к пушкинскому автопортрету, висевшему у него в кабинете над столом, и спросил: «Ну, скажите, на кого похож Пушкин?» Странный вопрос – знаменитый профиль стал универсальной эмблемой, замкнутой только на саму себя. Можно сказать: похож на Пушкина, похож на Христа. Но не наоборот. Пушкин ни на кого не похож. (Многие литературоведы, между прочим, тоже так считают). Но Фридрих дал мне понять, что сходство тут совсем иное: не с человеком, а с животным. Только вот с каким именно? «На петуха!», – сказал Фридрих после долгой паузы. «В самом деле, на петуха! – вдруг увидела я. – Но что из этого следует?» «А следует из этого, что Пушкин – это петушиное слово. Только прошу вас – это тайна, никому не говорите!» Впрочем, что стоит за «петушиным словом», для меня вначале осталось загадкой. Позже выяснилось, что в «тайну» посвящена еще Оля Юргенс. Они с Фридрихом вдвоем по японскому гороскопу выясняли даже, не петух ли случайно Пушкин. Оказалось, не петух.

Прошло некоторое время, и Горенштейн однажды снова указал глазами на пушкинский автопортрет и сказал интригующе-загадочно: «Петух – птица мистическая». Игра в «тайну Пушкина» писателю, очевидно, нравилась и возможно даже настраивала творчески, потому что он и в этот раз, на мой вопрос о «мистике петуха» ответил весьма уклончиво. «Не исключено, что последняя сказка Пушкина – «Сказка о золотом петушке» – автобиографична». «Ну, это давно известно, – сказала я, – об этом ведь писала Ахматова. Она еще сообщала, что сюжет заимствован Пушкиным у Вашингтона Ирвинга, написавшего сказку «Легенда об арабском звездочете». Петух там тоже предсказатель, предупреждает о нападении врагов». На это Фридрих покачал головой и сказал: «А я где-то читал, что двоюродный дед Ленина, известный ихтиолог Веретенников написал работу «Петух – птица мистическая» – о последней сказке Пушкина. Правда, работу ученый не завершил... Погиб при весьма неприятных обстоятельствах во время экспедиции в Индию. Тяжелая смерть...»<sup>54</sup> «Но ведь рукопись, наверное сохранилась, лежит в каком-нибудь архиве», – предположила я. Фридрих, продолжая меня интриговать, загадочно молчал.

Несколько раз он позднее, опять же указывая на портрет, вспоминал евангельский сюжет, в котором Христос предрекает предательство апостола Петра до того, как петух пропоет в третий раз.

А еще Фридрих говорил о петушином крике, предвестнике утра и солнца, которого страшатся злые духи и другие «ночные стороны» бытия – «Nachtseiten der Natur», как говорили романтики. Петух – символ чистоты и добра. Более того, вся символика, связанная с петухом, позитивная, созидательная. Поэзия Пушкина – рассветный петушиный крик? Вероятно, такова была идея Фридриха. Вот почему после пьесы о злом гении Гитлере, непременно следовало писать пьесу о светлом гении Пушкине!

Однако вот в чем вопрос: всегда ли петушиный крик обладает спасительной силой? В гоголевском «Вие» петушиный крик не спас бедного философа Хому Брута, как ни молился он истово и страстно. «Раздался петушиный крик. Это был второй крик; первый прослышали гномы. Испуганные духи бросились, кто как попало, в окна и двери, чтобы скорее вылететь, но не тут-то было: так и остались они там, завязнувши в дверях и окнах». А Фома Брут уже лежал бездыханный.

Но Горенштейн верил в «петушиный крик». И заявил, что обязательно напишет пьесу о Пушкине, светлом ангеле, уничтожающем зло. Я же старалась забыть о печальных прогнозах врачей и сосчитала, что на две пьесы должно уйти не меньше двух лет. Однако, когда известно, что остались считанные дни, отрадно надеяться и на год.

А еще я не упускала из поля сознания рассказ Борхеса «Скрытое чудо» об ускользающей субстанции времени. В этой новелле отсрочка, данная свыше, казавшаяся целым годом, в реальности обернулась двумя минутами.

Сюжет был вот какой. Автора неоконченной пьесы «Враги» Яромира Хладика фашисты должны были расстрелять 29 марта в 9 часов утра. Но за день до расстрела Яромир попросил у Бога отсрочку на год – чтобы дописать пьесу: «Если я каким-то образом существую, если я не одна из твоих ошибок или повторов, то существую как автор «Врагов». Чтобы закончить эту драму, которая станет оправданием мне и Тебе, нужен еще год. Дай мне его, Ты, владеющий веками и временем». Когда я читала эту захватывающую новеллу, то была поражена тем, как автор пьесы «Враги» разговаривал с Богом. У него была повелительная, богоборческая речь. Незамедлительно, той же ночью, драматург получил ответ на свою настоятельную просьбу.

«Всепроникающий голос» сказал Яромиру Хладуку: «тебе дано время на твою работу».

Во время расстрела, который происходил внутри казармы (Хладик стоял у стены, а четыре солдата с нацеленными в него винтовками ожидали приказа), время вдруг замедлило свой бег. Казалось, прошел целый год. Капля дождя у виска остановилась на год, а Хладик мысленно дописывал пьесу «не для будущего, и даже не для Бога, чьи литературные вкусы малоизвестны. Тщательно, неподвижно, тайно он возводил во времени свой лабиринт». У драматурга на все хватило времени, даже на то, чтобы дважды переделать третье действие. «Он окончил драму: не хватало лишь одного эпитета. Он нашел его; дождевая капля поползла по щеке». В реальном же земном времени ему было дано всего две минуты для того, чтобы пьеса «Враги» появилась – пусть не на бумаге, но в Универсуме. Когда он окончил пьесу, залп четырех винтовок свалил его с ног.

Надо сказать, что герою Борхесовской новеллы Яромиру Хладуку перед разыгравшейся с ним трагедией приснился вещий сон, причем именно 14 марта (14 марта 1936 года). И таким образом «Скрытое чудо», по крайней мере в моем сознании, соединилось с историей с чернильницей Горенштейна, которая тоже произошла 14 марта.

Читал ли Горенштейн «Скрытое чудо»? В маленьком сборнике Борхеса, который стоял у него дома на полке, этой новеллы не было. Но в свое время мы подарили ему на день рождения трехтомник Борхеса, и «Скрытое чудо» было в одном из томов. Горенштейн принял три увесистых тома, как мне показалось, с некоторым предубеждением. Но потом выяснилось, что он стал зачитываться Борхесом, полюбил его и даже цитировал в «Веревочной книге». Надо сказать, что книги в качестве подарка – если только это не были книги «наших писателей» – он принимал с каким-то даже с благоговением. Не забуду, как я по случаю (проезжала мимо русского магазина Нины Гебхардт), купила ему томик стихов Афанасия Фета, и как он принял из моих рук этот томик, и какое у него было растерянное, трогательное выражение лица! Такая же реакция была и на томик стихов Иннокентия Анненского.

Это же служение книге, которое отличало Горенштейна в жизни, ощущаю и в описании переплета «Святого жития государя», в «Хрониках времен Ивана Грозного». Так, например, переплетчик Иван рассказывает, что книга будет «оволочена бархатом рытым, верх серебряный, чекан золотой, а на нем – четыре камня – два яхонта лазоревых да изумруд в гнездах, надпись чернью о владельце» и так далее, в этом роде. Последняя сцена романа («В книгописной мастерской») «усыпана»

книжными красотоми. Горенштейн, как дегустатор, пробуя-щий старые драгоценные вина, говорит о книгописании, о религиозных книгах и увеселительных, о переплетном деле, о скорописи – шибко писаных книгах, которые трудно читать, и о растущей тяге к чтению у книгочея.

Однако вернемся к новелле Борхеса. Читал ли Горенштейн именно «Скрытое чудо», где драматургу 14 марта приснился вещий сон о предстоящей скорой смерти, но было потом дано дополнительное время для завершения писательского труда? Этого я не знаю. Но тема, трагедия недописанного, неосуществленного (помимо пьес о Гитлере и Пушкине также фильм о Бабьем Яре и фильм по пьесе «Играем Стриндберга») – это то, о чем он думал и говорил до последнего дня своей жизни.

Событие с чернильницей 14 марта 1999 года, очевидно, сильно повлияло на развитие «Веровочной книги». Как мне теперь кажется, в тот день к писателю пришло предчувствие конца. Он все чаще заговаривал о том, что, может быть, вообще не следовало начинать этот роман, что ноша, которую он взял на себя непосильна. В одном из писем Щиголь, помеченном 22 декабря 2001 года, то есть, когда он был уже тяжело болен, он пишет: «Всё оттого, что я занимаюсь демонами (добровольно), и они мне мстят, не давая себя изобразить. Как мстили Врубелю и Черткову из «Портрета».

Это признание свидетельствует о сомнениях Горенштейна, возможно, и давних, но о которых он до последнего времени молчал. Как некогда Генрих фон Клейст, который читал и перечитывал свою трагедию «Роберт Гискар», восхищался и ненавидел ее, и в конце концов покарал огнем, он тоже то восхищался, то ненавидел рукопись «Веровочной книги». Безусловно, Горенштейн был драматичен до самых основ своей природы не только в контактах с миром реальным, но и в авторских отношениях с художественным микрокосмом собственных произведений. И, конечно, он искал себе подобных на литературном Альбионе. Так, например, он отмечал, что вот у Пушкина складывались хорошие отношения с собственными рукописями, тогда как Толстой возненавидел свое детище, роман «Войну и мир».

Но, думаю, о том, чтобы сжечь рукопись, писатель не помышлял. Он хорошо помнил, что Гоголь, после того, как сжег второй том «Мертвых душ», раскаивался на следующее утро в содеянном, и говорил, что его бес попутал. Впрочем, можно ли верить раскаяниям Гоголя? Вот что он сказал о «Выбранных местах переписки с друзьями» Тургеневу: «Если бы можно было воротить сказанное, я бы уничтожил мою «Переписку с дру-

зьями». Я бы сжег ее». Второй том Гоголь сжигал не однажды. Уже в 1845 году он бросал его в огонь, считая его несовершенно. В «Выбранных местах» Гоголь сообщает об этом вдохновенно и похоже, что он любит пламенеющими своими испи-санными листами: «Как только пламя унесло последние листы моей книги, ее содержание вдруг воскреснуло в очищенном и светлом виде, подобно фениксу из костра, и я вдруг увидел, в каком еще беспорядке было то, что я считал уже порядочным и стройным».

Второй том «Мертвых душ» в 1851 году был вновь набело записан аккуратным почерком Гоголя в нескольких тетрадах, который автор потом опять начнет переписывать с тем, чтобы в ночь с 11-го на 12-ое февраля 1852 года предать сожжению, крестясь при этом непрерывно. «Надобно уж умирать, – сказал он на следующий день Хомякову, – а я уж готов, и умру».

В отрывке из романа «Попутчики», который предлагаю сейчас читателю, обстоятельно описан один надгробный памятник. Это, по сути дела, авторский идеал, если, вообще, так можно выразиться, говоря о надгробии. А недалеко от любовно расписанного памятника я обнаружила еще заявление-пожелание автора: «Я считаю, человеку желательно знать, где его похоронят, и желательно, чтоб он сам при жизни выбрал такое место. А стать приличным покойником в наше время все тяжелей и тяжелей».

Писатель Феликс Забродский едет в вагоне поезда №27 Киев-Здолбунов со случайным попутчиком Чубинцем. Поезд останавливается в Бердичеве. Несмотря на ночное время, на станции слышны крики. Люди громко выкрикивают имена и фамилии – ищут и находят друг друга. Звали какого-то Чичильницкого. «Чичиков, что ли, в своем дальнейшем, ненаписанном Гоголем путешествии по России, в своем путешествии по третьей части «Мертвых душ» заехал в Бердичев и оставил здесь потомство от какой-нибудь красавицы-шинкарки, потомство со временем, преобразившееся в Чичильницких. Может, и сам Чичиков покоится здесь, на бердичевском православном кладбище... Может, покоится Чичиков под мраморным розовым крестом, утешенный, обласканный мраморным розовым ангелом в изголовьи могильной плиты? Или спит под чудесным памятником черного с синим отливом камня-лабродорита, на котором золотом вырезано его имя, отчество, фамилия, дата рождения и смерти, почти совпадающие с рождением и смертью самого Николая Васильевича Гоголя, жаль, так и не посетившего Бердичев, а отправившегося в свое тяжелое, печальное путешествие в Иерусалим».

В описании чудесного надгробия из черного с синим отливом камня-лабродорита слышится мне желание исправить, перечеркнуть, сотворенное с могилой Гоголя. Могилу в 1931 году разрыли, прах без всякой надобности перенесли на другое кладбище и над новой могилой водружен был громоздкий памятник с надписью: «От Советского правительства». Между тем, в «Завещании» Гоголь просил не ставить ему вовсе никаких памятников. И. С. Аксаков, однако же, привез из Крыма на телеге камень, который показался ему «гоголевской голгофой». Крымский камень так и лежал мирно на могиле Гоголя на кладбище Свято-Даниловского монастыря с надписью из пророка Иеремии, высеченной друзьями писателя по предложению Погодина: «Горьким словом моим посмеюся» (из Иеремии 20, 8).

Гоголь чтит ветхозаветных пророков. Он писал Языкову: «Разогни книги Ветхого Завета, ты найдешь там каждое из нынешних событий, ясней как день увидишь, в чем оно преступило перед Богом, и так очевидно изображен над ним совершившийся Страшный суд Божий, что вострепетает настоящее». И в особенности почитал Гоголь страдальца пророка Иеремию, слезам которого люди не верили: когда он плакал, народ смеялся. Гоголю казалось, что он повторил судьбу библейского пророка Иеремии.

Посмеялось над Гоголем и советское правительство, по распоряжению которого, камень был убран, а потревоженный прах Гоголя перенесен на Новодевичье кладбище и буквально придавлен тяжелым соцреалистическим монументом. Фридриха беспокоил этот монумент.

А еще он был расстроен тем, что могила Андрея Тарковского в Париже была залита бетоном. «Я думаю, вообще памятника Андрею не надо. «Оставьте только зелень», – последние слова Жорж Санд. То есть травку. А тут покойного придавили бетоном»<sup>55</sup>

К годовщине смерти Горенштейна (2 марта 2003 года) на его могиле установили памятник, небольшой, серого гранита. Камень, как будто бы расколот, как будто и не памятник это, а разбитая скрижаль. А на скошенной плоскости скола – завет, слова из пророка Исайи: «О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте!» Именно этим призывом пророка Горенштейн заключил свой роман «Псалом»: «Поняли люди через знамение – пылающие святой снежной белизной черные лесные деревья, – что после четырех тяжких казней Господних грядет пятая, самая страшная казнь Господня – жажда и Голод по Слову Господнему, и только духовный труженик может напомнить о ней миру и спасти от нее мир, напоив и накормив мир Божьим Сло-

вом. И тогда поняли они и суть сердечного вопля пророка Исая: «О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте!»

Фридрих Горенштейн умер 2-го марта 2002 года в 16 часов 25 минут, не дожив две недели до семидесяти лет. А между тем, Фридрих в последние годы, подобно своему герою Цвибышеву, буквально заболел идеей долгожительства. Идея эта, по мнению писателя, была проста, то есть являлась элементарной идеей. Гоша Цвибышев считал, что оригинальных идей вовсе не существует. «Даже идея возглавить Россию оказалась массовой, – рассуждает он, – и лишенной личного смысла. – Поэтому я, наконец, ухватился за идею простую до того, что удивился, как это она обычно приходит в голову последней, а не первой, едва является сознание и желание выделиться из массы. Идея эта – стать долгожителем». Правда, герой романа намеревался стареть тихо, бездеятельно, тогда как Горенштейн ни на минуту не прекращал писательской работы и кажется даже набирал скорость. Судите сами: за последнее десятилетие, не считая повестей, рассказов, небольших романов – восемьсот страниц «Хроники времен Ивана Грозного», и еще восемьсот страниц «Веровочной книги»! Перед смертью он постоянно спрашивал с сомнением в голосе: «А правда – я немало написал?»



Памятник на могиле Горенштейна.

На скошенной плоскости - завет, слова из пророка Исайи:  
«О Вы, напоминающие о Господе, не умолкайте!»

Именно этой цитатой пророка Горенштейн заключил свой роман «Псалом»



В кабинете у Горенштейна. Фридрих рассказывает Полянской о том, как Посторонний 14 марта 1999 года вырвал у него чернильницу и опрокинул ее на ковер.



Тот самый ковер, на который пролились чернила, когда Посторонний выбил из рук Горенштейна чернильницу во время начала работы над «Веревочной книгой»

## 22. СОЛЯРИС

---

В Берлине снег – большая редкость. Но январь 2002 года выдался обильно снежный. Наша машина однажды даже застряла в снегу, и мы с трудом уже поздно вечером добрались до больницы, которая находилась на другом конце города в тихом парке, плотно усыпанном снегом. От снега парк казался еще тише. Кто это сказал, что от снега растет тишина? Уже к февралю снег растаял. Парк потемнел, обнажились влажные черные стволы и ветви деревьев.

Но когда после смерти Фридриха второго марта в пять часов вечера я вышла из белой палаты по белым больничным коридорам в парк, он вдруг показался опять заснеженным. Собственно, снег лежал только на деревьях. Было еще светло, и они хорошо были видны, «пылающие святой снежной белизной». Но деревья, пылающие белизной, ничего мне не сказали, не пророчествовали они мне, не увидела я никаких знамений. Сумрак парка был совсем не пушкинский, «священный». Совсем наоборот: что-то земное, приземленное даже, беспокоило душу. Все отчетливей, словно проявляющийся негатив, проступали сквозь деревья очертания провинциального городского пейзажа. Я видела серый кирпичный дом с деревянными верандами-балконами, напротив были деревянные сараи, возле которых лежали аккуратно сложенные поленницы. У деревянного крыльца стояла пустая детская коляска. Просторный летний двор под чистым лазурным небом был освещен неподвижным солнцем и совершенно безлюден. Не было здесь вообще ничего живого. Только за сараями темнела группа старых лип с причудливо изогнутыми стволами. Они казались огромными, могучими в этом дворе, однако прозрачная, наслаивающаяся друг на друга ярко изумрудная листва была неподвижна, не шелестела на ветру. Слева за домом у каменного забора два каштановых дерева с раскидистыми ветвями также щедро были усыпаны ярко-зелеными неподвижными листьями.

И неясно было, замирание ли это пространства или остановка времени. Провинциальный двор начала пятидесятых казался вечным – таково было его излучение, и я как будто здесь уже была. Я всматривалась в «черты» двора с винтообразной лестницей, ведущей к веранде, с неподвижными, словно застывшими деревянными качелями, и мне опять показалось, что узнаю его. Что-то всплывало в памяти и обрывалось мгновенно. В одном старом романе на фронтоне замка была такая надпись: «Я не принадлежу никому и принадлежу всем. Вы бывали там прежде, чем вошли, и останетесь после того, как уйдете»<sup>66</sup>.

Во фридриховом «Солярисе» (в его сценарии к фильму) отчий дом, куда якобы «вернулся» главный герой Крис, дом, вылепленный по образу и подобию земного, остался на далекой чужой планете: одинокий и беспомощный, отчий дом, отдалется от нас в конце фильма, и мы с ужасом обнаруживаем его на маленьком островке в самом сердце враждебного Соляриса-Океана<sup>67</sup>. И все более удаляясь и уменьшаясь, затерянный отчий дом превращается в едва видимую точку. И исчезает, наконец. Возвращение на Землю – иллюзия, обман.

Океан-Солярис, как всегда, что-то упустил и выделил крупным планом совсем не то... Передо мной мир трагического экспрессионизма, захлебнувшегося в самом себе. Этому давно заброшенному летнему двору, следовало бы со временем зарости лебедой и прочей сорной земной травой. Однако фантастическая «жизнь» не струится шелестом деревьев, трепетом листьев, не принимающей солнечного света. Двор – безлюден и беззвучен. Не прошла по двору мама... Никто не прошел...

Мне казалось, что сцена отделена от меня невидимой преградой. Собственно, я и не собиралась преодолеть эту преграду. Хорошо помню слова Фридриха о Солярисе: «Что такое «Солярис»? Разве это не летающее в космосе человеческое кладбище, где все мертвы, и все живы?»

А еще бердичевский двор Горенштейна, который привиделся мне тем мартовским вечером 2002 года казался театральной декорацией еще не сыгранной пьесы. Любимой его пьесы «Бердичев». Занавес уже поднялся, но актеры еще не вышли на сцену.

Горенштейн романтизировал Бердичев: «Бердичев – это уродливая хижина, выстроенная из обломков великого храма для защиты от холода, и дождя, и зноя... Так всегда поступали люди во время катастроф, кораблекрушений, когда они строили себе на берегу хижины из обломков своих кораблей... Вся эта уродливая хижина Бердичев... действительно кажется грудой хлама, но начните это разбирать по частям, и вы обнаружи-

те, что заплыванные, облитые помоями лестницы, ведущие к покосившейся двери этой хижины, сложены из прекрасных мраморных плит прошлого, по которым когда-то ходили пророки, на которых когда-то стоял Иисус из Назарета...»<sup>58</sup>.

Горенштейн часто говорил: «Я один, я один!». По Пушкину блудный сын из евангельской притчи (в «Станционном смотрителе») – «беспокойный юноша», возлюбивший дальние страны и дальние странствия. Горенштейн по натуре был, напротив, человек семейный, домашний, оседлый, а вовсе не романтический Изгнанник-Беглец, и когда говорил «я один», то подразумевал преследующее его всю жизнь семейное неустройство, роковое отсутствие домашнего очага. А друзья у него все же были – и в Киеве, и в Москве. Были и в Берлине, выражаясь словами Ахматовой, «друзья последнего призыва», совершившие восемьдесят тысяч верст вокруг творческих фридриховых страстей...

## ПРИЛОЖЕНИЕ

---

Несколько писем Фридриха Горенштейна Ольге Юргенс

10.9.99.

Уважаемая Ольга,

Папки получены. Вполне достаточно, чтобы писать два небольших романа или один большой. Проблема теперь в собрании сочинений. Миллион не нужен, достаточно полмиллиона. Впрочем, с «сочинениями» не тороплюсь.

Вчера поехал в Цюрих, но доехал только до аэродрома в Берлине. Дальнейшие пути оказались отрезанными. Вначале огорчился, но потом понял – мне повезло. Если бы оказался в Цюрихе, вместе с тысячами застрял бы в снегу на несколько дней. Теперь поеду в марте или в апреле. Но это дело второстепенное.

Вот компьютер – это проблема. Я ждал, что появится работающий под диктовку, с голоса. Но не появился, говорят, плохие, даже немецкие. Прежний компьютер бывшая жена забрала для сына. Да он (компьютер) и не слишком был хорош, хотя и дорогой. К тому же, я не умею, по сути, с ним работать. Но придется выучиться для удобства. Черновой материал я пишу и буду писать рукой. Большие тексты, такие, как роман, я, конечно, переписывать сам не буду. Но для небольших компьютер годен<sup>59</sup>. Сейчас я надиктовываю на кассеты<sup>60</sup>. С кассеты уже перепечатают. Издательница Лариса Шенкер оплачивает машинистку. Правда, случается с задержками. Не всегда она получает финансирование-грант. Однако получает. Издала уже несколько моих книг. В России же издал при неразберихе трехтомник и маленькую книжечку «Чок-чок» в Петербурге. Еще Герцен писал, что понятие «свобода слова» тоже партийно, зло. Он не уверен был, будет ли оно существовать, если к

власти придут «демократы». Я использую эти слова и прочие современные мысли Александра Ивановича в предисловии<sup>61</sup>. Крис тоже подсказывает мне иной раз интересные мысли, особенно, если будит ночью<sup>62</sup>. Привет вашим дорогим четвероногим. Всего доброго.

Подпись.

3.2.2000

Дорогая Оля,

Я очень рад, что тебе нравится твоя жизнь, которую ты наладила, имея для того весьма ограниченные возможности. Ничто не препятствует и мне наладить свою, кроме моего собственного «копф», которая на этот «копф» наваливает тяжести. В моем возрасте уже мемуарами балуются, а я пишу романы, да еще какие многотонные... Что касается твоего местопребывания, «торопиться, товарищ, не нужно. Поработай сперва головой! Побеждает горячая дружба! И отваги заряд боевой!»

Мне кажется, что в Берлине тебе было бы интересней. Но последнее слово за тобой. В конце концов на поезде полтора часа, и вокзал ZOO в 15 минутах ходьбы от меня.

Оля, у меня есть маленький сюрприз<sup>63</sup>. Впрочем, не знаю, в какой степени это тебе понравится. Я работаю, перевожу<sup>64</sup>. Представь себе, убедился, как опасно погружаться в стихию другого языка тому, кто обязан быть в стихии своего, рабочего языка. Перевожу почти без словаря. Но есть слова, которые нуждаются в словаре. Это понятно. Однако иной раз я по-немецки слово понимаю, а его русское значение уже должен искать. Для русскоязычного писателя чужая стихия опасна. Но очень много нового я понял в Сталине. А без понимания Сталина нельзя понять эту страну, где родился и о которой пишу. Понимания непредвзятого сталинского и непредвзятого антисталинского. Хоть мне объективным быть по отношению к Сталину нелегко. Слава Богу, о Грозном написал. Думал не выдержу. Тяжело было работать с материалом. Не только, конечно, о Грозном. О жизни в переломном 16-м веке. Подобном нынешнему. Когда окончил, начались технические и финансовые трудности. Но теперь и это преодолено и рукопись в типографии в Нью-Йорке. Неужели я буду держать эту книгу 1500-600 стр. в руках? Мои книги – это бальзаковская шагреновая кожа. Чем больше книга, тем меньше кожа.

Обнимаю тебя.

Фрэдрик.

P.S. По-моему письмо получилось хорошее. Хотел все-таки для вкуса, прибавить ложку дегтя, но под рукой не оказалось. Завтра куплю».

9.3.2000

Дорогая Оля.

Я по-прежнему читаю и конспектирую. Сейчас взял в библиотеке книги по старой Грузии, по старому Тбилиси. Но надеюсь на этом закончить данный этап. Хватит, уже более двух месяцев. Но такова работа. Чувствую себя немного усталым. Наверное, это предвесеннее. Хоть стараюсь потреблять витамины в соках, но в потреблении фруктов я ограничен из-за проклятого сахара. Впрочем, месяц нехороший. Я не люблю ни месяца, в котором родился, ни года в котором родился. Да и годы. Я и Пушкин (Пушкин и я) правы в том, что тебе не хочется признать (...). Но покой и воля – это тоже хорошо (см. Пушкина). Но ты верь в то, что тебе хочется. А еще лучше просто старайся удобно жить и помнить первый постулат Соломона: избегай тоски.

Боря привез полки для шкафа<sup>65</sup>. В воскресенье придется арендовать машину, поскольку сам шкаф в борину машину не влезает. Я оплачу машину, поскольку 50 марок за шкаф вполне хороший гешефт. Пока часть шкафа поставим в подвал, а потом вместе с тобой и Борей мы шкаф сложим. Предварительно надо обчистить место.

Меня хотят пригласить в Нью-Йорк, но я за 500 долларов не поеду. За 500 долларов я могу поехать в Кельн. А влезать в самолет и лететь 8 часов не хочу. Я уже там был. Меня туда не тянет. Если заплатят тысячу долларов, оплатят дорогу и дадут квартиру, где я смогу жить один, или отель, но не раньше осени. Хотя не думаю, что для меня найдутся такие средства. И хорошо – пусть там Битовы с Евтушенками пасутся.

Надеюсь, у тебя и кота все нормально....

Будь здорова. Обнимаю и целую.

Фридрих.

Дорогая Ольга,

Я получил вчера приглашение на юбилей Академии<sup>66</sup>. Дали нагрудный знак и три билета. Но нужен паспорт с собой, поскольку будет президент, а значит полицейский контроль. Это второго июня. Начало в 10 часов и почти целый день. Не думаю, что будет интересно, но я пойти должен... У нас билеты в конференц-зал, а не в аудиторию, где будет президиум и т.д. В аудитории надо сидеть по стойке смирно и слушать скучные речи, а в конференц-зале можно погулять, выпить воды и т.д. Самое интресное – поездка на пароходе – начнется в 16 часов и будет длиться короче, чем обычно, полтора часа. А потом какой-то ужин. Мина тоже хочет. Раз в год можно посуетиться, тем более, Академия много мне помогла. И сейчас иной раз дает зарабатывать. Вот 27. 5. – 300 марок за чтение. Не много, но все-таки, учитывая, что читать будут 13 писателей<sup>67</sup>.

Ем я более правильно и полезно, но от хлеба не отказываюсь. И от масла тоже. И от сыра. Просто ем этого меньше. Намного меньше. Но ем фрукты, овощи, спаржу, рыбу, постное мясо. Кстати, пирог с капустой и мясом тоже можно есть. Только немного и в тот же день<sup>68</sup>. А вообще сахар ведь не только от еды. От стресса (я получил его во время развода), от переутомления. Стресса особого у меня нет, но некоторая усталость есть...

Полностью снял волосы, но по голове не плачу. Разве что голову не потерял. Волосы укрепляются и седина меньше видна. К тому же, модно. Будь здорова. Привет коту. Обнимаю.

Фридрих.

22.8. 2000

Дорогая Ольга,

Если ты будешь в библиотеке, и будет у тебя лишнее время, глянь, что интересного есть по Пушкину. У нас в университетской библиотеке Пушкина много<sup>69</sup>. В смысле, и о нем. «Разговоры Пушкина» – это репринт издания 1929 года, «Федерация», переизданы в 1991 году. «Политиздат». Я бы купил. Лариса Шенкер обещала мне в Нью-Йорке посмотреть. У них там в редакции потомок (или потомца, я не понял) Пушкина. Так



же и Ростана «Сирано» я бы достать хотел или сделать ре-принт.

Если закончу книгу вчерне<sup>70</sup>, месяца два ничего делать не буду<sup>71</sup>. Рукопись пусть отлеживается. Но книги по Пушкину буду просматривать.

Представляю, сколько врагов я наживу, если возьмусь за Пушкина и сделаю по-своему. Старых и новых. Но я люблю врагов. Мне в моем возрасте уже карьеру не делать и детей не крестить. Я, наверное, сделаю теперь, как сделал с Петром и Иваном. Никакой информации об идеях и замысле. И прочем подобном. Я пока лишь заглянул, но почувствовал живого. И с моей судьбой во многом перекликающимся. С моими чувствами и проблемами. А милые даже знатоки живого не понимают, если даже (...) знают о мертвом, хрестоматийном ли, антихрестоматийном ли. Иконном ли, дурно изображенном ли – в смысле о плохом человеке. Впрочем, это меня не интересует<sup>72</sup>. (...) Живу монотонно. Это, наверное, хорошо, хотя иногда и надоедливо. Будь здорова. Привет коту. Обнимаю.

Фридрих.

3.9.2000

Дорогая Ольга,

Наверное, сентябрь, по крайней мере, большую его часть я проведу в Берлине, а если поеду в Москву, то в самом конце, а может, и в октябре. Притом, недели на полторы-две, не больше. Поэтому 20 сентября есть смысл пойти на очередную встречу в мою Академию. Это на озере, в замке. Начало в 11 утра. Так что, если решишь, можешь тоже принять участие. Разумеется, все зависит от твоего времени. И с котом, или без кота. Решай и сообщи<sup>73</sup>. Я работаю и устал, конечно. Но хочу закончить за сентябрь. Не знаю, удастся ли. Хотел бы месяца два не писать, а только читать. И гулять. Причем, с утра. Люблю гулять утром, но не могу, работаю. Работаю для неблагодарного общества. И неразумного. Сейчас они еще организовали довлатовские чтения. Набоковские и довлатовские. Едят все подряд, не различая вкуса, как известное животное. Да черт с ними. Имя им легион.

Как твои рисунки?<sup>74</sup> Голубев (Шапиро) и прочие. Может, есть смысл, для пробы 'Унхерна'<sup>75</sup>.

## **Первый отклик на смерть писателя**

На следующий после смерти Горенштейна день мне позволила литературовед Елена Тихомирова и сообщила, что связалась с литературным критиком Александром Агеевым, до недавнего времени заведовавшим отделом прозы в журнале «Знамя» и опубликовавшим в журнале в 1991 году впервые в России первую часть романа «Место». Агеев предложил мне написать письмо-некролог для интернетной страницы.

Я написала некролог и послала его электронной почтой с письмом следующего содержания (5 марта, 22 часа 43 минуты): «Уважаемый Александр! Лена Тихомирова дала мне понять, что сообщение о Горенштейне может носить неофициальный характер. То, что я сообщаю Вам сегодня о Горенштейне, на самом деле еще никому не известно. Пишу тогда, когда он еще не похоронен. Сообщите мне, пожалуйста, подошла ли Вам моя информация так сказать из первых рук».

На следующий день, в день похорон, 6-го марта, Агеев опубликовал мое письмо-некролог, сопроводив его текстом, поразившим даже и меня своей прямоотой. По сути дела, Агеев оказался первым русским литературным критиком, открыто подтвердившим мнение самого Горенштейна о том, что в течение всей его писательской жизни он был подвергнут информационной блокаде со стороны современников, собратьев по перу (многие литераторы считали и считают, что Горенштейн проблему конфронтации между собой и истеблишментом придумывал, нагнетал атмосферу по причинам «трудного характера»), из-за чего книги его были погребены на десятилетия, надежно спрятаны от читателя, того самого читателя, который, согласно меткому выражению Набокова, спасает писателя от «гибельной власти императоров, диктаторов, священников, пуритан, обывателей, политических моралистов, полицейских, почтовых служащих и резонеров». Горенштейн был оставлен без места в русской литературе. Я не сторонница «судьбоносных», высокопарных фраз типа: «время все расставит по своим местам» или же «большой талант рано или поздно пробьется к читателю» или же «рукописи не горят». Всякое бывает в этом мире, дорогой читатель! Бывает, что время не «рассоставляет», талант так и не «пробивается» к читателям, а рукописи сгорают. Привожу некролог Горенштейну полностью:

«Умер Фридрих Горенштейн. Сегодня его хоронят. В последние годы больному раком писателю помогали Мина Полянская (издательница берлинского русского журнала «Зеркало Загадок») и ее сын Игорь. Они оставались с Горенштейном

до конца и лучше их никто не знает, чем и как он в последнее время жил, какие оставил рукописи. По моей просьбе Мина Иосифовна Полянская вчера написала мне письмо-некролог, где обо всем об этом рассказывается. Приведу его целиком, без правки:

«Второго марта 2002 года в Берлине умер Фридрих Горенштейн, один из самых талантливых прозаиков России, писавших в последней трети 20-го века. Работу писателя Горенштейн сравнивал с тяжелой физической работой каменщика и до последней минуты беспокоился, достаточно ли он этой тяжелой работы проделал. Поэтому считаю своим долгом напомнить наиболее значительные работы мастера, писавшего во всех жанрах, начиная от драматургии и кончая публицистикой.

Романы «Место», «Псалом», «Искушение», «Попутчики», «Скрябин», пьесы «Разговоры о Достоевском», «Детоубийца», «Хроника времен Ивана Грозного» – вот далеко не полный перечень того, что могло бы впоследствии составить большое собрание сочинений писателя.

Незадолго до смерти Горенштейн завершил работу над восьмисотстраничным романом «Веревочная книга» – по его словам, это попытка понять историю через художественную литературу, созданную предшественниками. Горенштейн любил повторять, что в старину достойные книги продавались на рынках, где они почетно подвешивались на веревках рядом с окороками, сельдью и прочими «уважительными» продуктами. Именно такой чести – висеть на веревке – удостоился «Дон Кихот» Сервантеса. Вся «Веревочная книга» состоит из метаморфоз и фантазмагорий. Так, например, роман предваряется предисловием Александра Герцена, который якобы согласился написать его для литературного соратника Горенштейна.

Кроме того, Горенштейн задумал пьесу о Гитлере, проработав предварительно фантастическое количество материала. Он не только работал в библиотеках, но и бродил по так называемым блошиным рынкам, покупая одномарочные немецкие книжки нацистских времен, напечатанные готическим шрифтом. Собственно, две сцены пьесы (первая и последняя) были уже им написаны. Замысел пьесы – «эволюция» персонажа (Гитлера) от мелкого гнусного бесика до злого гения человечества. Писатель подчеркивал, что пьеса эта особенно необходима новому поколению. Когда же, говорил он, он завершит пьесу о Гитлере, то сразу же примется за пьесу о Пушкине, тайну которого он разгадал: «От черного ангела Гитлера – к светлому ангелу Пушкину!»

Хотелось бы сказать еще об одной работе Горенштейна, его последней публицистической статье «Тайна, покрытая ла-

ком». Так называется его работа, посвященная вчерашним и сегодняшним спорам о предках Пушкина по материнской линии.

Наконец, Горенштейн, находясь уже в больнице, написал киносценарий «На воде» на основе двух своих рассказов («Старушки» и «Разговоры») и даже напел украинскую песню, которая должна была прозвучать в сцене «В ресторанчике». Очень хочется надеяться на его экранизацию.

И все же последней лирической нотой в жизни автора стала элегия «Домашние ангелы. Памяти моей кошки Кристи и кота Криса и долгой жизни сына Дани». Домашние ангелы – это любимые кошки Горенштейна Кристи и Крис. Они сопровождали его по жизни долгие годы. А кот Крис, любивший, взобравшись на стол, улечься на только что оконченную рукопись, был еще и верным слушателем и литературным критиком-консультантом. Крис был назван в честь героя киносценария к фильму «Солярис», сын Дан, которому исполнился 21 год, назван в честь главного героя романа «Псалом» Дана, родного брата Иисуса Христа, пришедшего на землю для защиты обездоленных.

В опустевшей квартире Горенштейна оборванные планы, неоконченные рукописи. Впрочем, известного и опубликованного достаточно, чтобы сказать: из жизни ушел выдающийся писатель, классик русской прозы двадцатого века».

## ПРИМЕЧАНИЯ

1 М. Полянская, *Музы города*, Берлин, 2000.

2 Характерно, что в берлинском университете им. Гумбольдта читался курс лекций «Русские писатели-эмигранты от Набокова до Горенштейна».

3 В одном из писем он сообщал: «Сейчас Мина Полянская опубликовала книгу «Музы города» о Берлине и проживающих там писателях. Посмотрите у Владимира Шубина – может, она Вас заинтересует». Письмо Ларисе Щиголь датировано 2 марта 2000 года.

4 Я тогда Юрского задарила нашими журналами, книгами в память о моей первой любви к Чацкому в его исполнении в ленинградском БДТ в пору моей студенческой юности.

5 Это было в большом зале Еврейской общины Берлина.

6 Договор одной стороной был нарушен: через полгода за отцом, как тогда говорили, «пришли», но его уже не было в живых.

7 В Черновцах жили евреи из бывшей Австро-Венгрии, знавшие немецкий язык, с которыми наши «бессарабско-румынские» никоим образом не «соприкасались», так же, как в нынешней Германии евреи из стран Восточной Европы, как правило, не имеют контактов с теми, кто именует себя немецкими евреями. Напротив нас жил такой еврей-профессор, на которого я взирала с почтением, когда он в своем беретике подходил к дому, а затем исчезал за тяжелыми чугунными узорными воротами. Никто из «наших» евреев с ним заговаривать не решался.

8 Я однажды хотела рассказать об этом Горенштейну из-за совпадения с эпизодом «Дома с башенкой», но он отказался слушать именно это, побоялся моего детского горя, не хотел этого слышать, а заодно вспоминать свое.

9 Бельцы – населенный пункт, достаточно древний, был построен на болоте, разрушен татарами, вновь отстроен и в 1811 году, и по указу Александра Первого получил статус города. Город был перспективен в торговле (в основном, торговал скотом), поскольку граница с Австрией проходила совсем рядом.

10 Знаменитая песня на идиш «А штейтеле Бельц» вошла в классику и была в репертуаре сестер Бэрри. Привожу одну строфу этой песни, у которой, кстати, очень «сложная» мелодия, с моим переводом на русский язык: «Бэлц, майн штэйтэлэ Бэлц – эрцейл мир, алтер, эрцейл мир гешвинд, вайл их вил висен алес а кинд. Ви зейт ойс дас штибл, вус от а мул гегленцт,

ци блиттц нох дас беймеле, вус их хоб форфланцт. (О, мой городок Бельцы – городок моего детства! Расскажи же, старик, расскажи, не томи, как выглядит домик детства? И все так же озарен ли сказочным светом, который исходил из него? И стоит ли еще то деревце, которое я так нежно выхаживал?)

11 Мой отчим, кроме всего прочего, ненавидел книги еще сильнее грибоедовского героя. Он искренне считал, что все книги следует сжечь.

12 Парафраза пушкинского «Воспоминание».

13 Я работала в течение 16 лет в литературной секции Ленинградского городского бюро экскурсий, которое располагалось тогда в роскошном здании бывшей Английской церкви на Набережной Красного флота 56, бывшей Английской набережной. Эта организация занималась не только экскурсионным делом, но и вела научную работу. В результате этой деятельности вышло много замечательных книг о писателях и деятелях искусства, живших в Петербурге и пригородах. Я тоже участвовала в этой работе и была одним из авторов книги «Одним дыханьем с Ленинградом...», которая вышла в Лениздате в 1988 году.

14 Ф. Горенштейн, Товарищу Маца.

15 «Но затем, – говорит Набоков в лекции «Преступление и наказание», – следует фраза, не имеющая себе равных по глупости во всей мировой литературе: «Огарок уже давно погасал в кривом подсвечнике, тускло освещая в этой нищенской комнате убийцу и блудницу, странно сошедшихся за чтением вечной книги». «Убийца и блудница» и «вечная книга» – какой треугольник! Эта ключевая фраза романа и типично Достоевский риторический выверт. Отчего она так режет слух? Отчего она так груба и безвкусна?»

16 Надо сказать, что Горенштейн, высказался по М.Бахтину. Три пункта, посвященные определению жанра («Проблемы поэтики Достоевского») звучат у Бахтина так:

1) Создание исключительных ситуаций для испытания философской идеи;

2) Сочетание фантастики, символики, мистико-религиозного элемента.

3) Решение «последних вопросов», вопросов с этико-практическим уклоном».

17 Ф. Горенштейн, Как я был шпионом ЦРУ, Зеркало Загадок, 2002, 10.

18 Набоков также придерживался мнения, что искупления в романе нет.

19 Идеи Эрнста Мартина издать книги Горенштейна, к сожалению, остались на бумаге.

20 В романе «Веревочная книга» Горенштейн назвал супружескую пару Крупская-Ленин фамилией Ильичей, ссылаясь на то, что так любовно-ласково их называли в ЦК.

21 Достоевский в романе «Преступление и наказание» характеризует так потенциального террориста.

22 Характеристики, употребляемые Горенштейном в «Веревочной книге» по отношению к революции.

23 Реальный Меркадер рассказывал, что «страдал» эдиповым комплексом, и что этот факт ущербного детства действительно учитывался «органами» при его вербовке.

24 Ф. Горенштейн. Место.

25 Цитаты здесь и ниже в этой главе из романа «Место».

26 Ф. Горенштейн, Место.

27 Там же.

28 То, что Крис внезапно кинулся на Горенштейна потрясло его, да и нас, пожалуй тоже. Горенштейн был весь вечер какой-то притихший и упрямо твердил, что Крис ни в чем не виноват. Он постоянно сравнивал Криса с другой своей кошкой, покойной Кристенкой: «Кристенка, царство ей небесное, она была святая, прожила всего шестнадцать лет – в России мы ее кормили неправильно – сырой печенкой. Могла бы жить да жить. А Крис (небольшая пауза) а Крис, он умный».

29 Теория «животного магнетизма» – не что иное, как учение об особой энергии живого, с помощью которой, например, возможно гипнотическое воздействие на психику.

30 Читатель догадался, что этим меньшинством «в количестве одного человека» была Ольга Лозовицкая.

31 Какие книги Горенштейн имел здесь в виду я не знаю, поскольку Лариса присылала ему много книг, в том числе собрание сочинений Мопассана и Бальзака.

32 Ф. Горенштейн, Как я был шпионом ЦРУ.

33 Во второй части своей статьи «Как я был шпионом ЦРУ» Горенштейн говорил об антисемитизме Булгакова, что, кстати, отмечалось в белоэмигрантской прессе: «составлял «черные списки» и прочее. Это и в его художественности просматривалось, иногда его прорывало».

34 Из письма Ларисе Щиголь 28 апреля 1998 года.

35 Это письмо отправлено Ларисе Щиголь в Киев (6 июля 1998 года).

36 Письмо также отправлено в Киев 14 сентября 1998 года.

37 Письмо датировано 9-м мая 1998 года.

38 Ф. Горенштейн. Реплика с места. Зеркало Загадок, 1998, 7.

39 Ф. Горенштейн. Как я был шпионом ЦРУ, Зеркало Загадок, 2000, 9.

40 Ф. Горенштейн. Место.

41 22 февраля 2001.

42 Наталья Дамм возглавляет это общество.

43 Наталья Дамм часто приезжала в Берлин на литературные вечера Горенштейна. Остановливалась, как правило у меня. И оказалось у нас с ней в прошлом много общего: безотцовщина, трудное детство. Так же, как и я, предоставленная самой себе, бродила она по своему маленькому городу Мичуринску, и забредала неведомо куда. Когда я прочла Наташе главу из этой книги «Постоянное место жительства», она сказала мне: «Странно, но я также где-то бродила, и никто меня не искал. Мама была учительницей и сидела за тетрадками. Сейчас я с изумлением думаю, как же я не боялась забредать одна даже на кладбище. Однако, при всем том, мы с тобой обе умудрились в детстве и отрочестве прочитать огромное количество хороших книг!» Я благодарна Горенштейну, что он познакомил меня с Наташей.

44 Из письма Ларисе Щиголь 17 января 2000 года.

45 Горенштейну не суждено было «держать эту книгу в руках». Она вышла всего за месяц до его смерти. Лариса Шенкер сказала ему по телефону, что из-за большого объема получился двухтомник, и он сокрушался по этому поводу. «Это очень плохо», – сказал он по телефону Юргенс. «Почему?» – удивилась она. «Читатели купят первый том, а второй – нет», – говорил он, – дорого, и получится так, что до конца не дочитают».

46 Точка зрения Гоголя была противоположной. В «Выбранных местах из переписки с друзьями» он писал (речь, правда, идет о художниках-творцах, для которых «нищенство», по Гоголю, важное условие творческого вдохновения): «Есть люди, которые должны век остаться нищими. Нищенство есть блаженство, которого еще не раскусил свет. Но кого Бог удостоил отведать его сладость и кто уже возлюбил истинно свою нищенскую сумку, тот не продаст ни за какие сокровища здешнего мира».

47 Этот фрагмент был продиктован Фридрихом на магнитоленту. Необходимо подчеркнуть, что это черновик, отредактировать и переработать который Горенштейн так и не успел. Многоточия в круглых скобках означают: «неразборчиво».

48 Такими словами определил Белинский современную ему критику.

49 «Скрябин» издан в Нью-Йорке в издательстве «Слово» в 1998 году.

50 Имеется в виду достаточно объемная работа Горенштейна о происхождении Пушкина «Тайна, покрытая лаком». Работа эта до сих пор не опубликована (1 июля 2003 года).



51 Предисловие к моей книге о Цветаевой «Брак мой тайный».

52 Тела Евы Браун и Гитлера, после того, как они отравились 30 апреля 1945 года, согласно завещанию, были сожжены, и трудно было их идентифицировать. Правда, недавно появились новые сведения: в черепе Гитлера (он хранился по приказу Сталина в Москве в тайном архиве) найдены следы пулевого ранения.

53 Парафраза пушкинского отрывка (из неоконченной поэмы) «Юдифь».

54 В продиктованных Фридрихом перед самой смертью главах «Веревоной книги» был сюжет о Веретенникове, его работах и гибели (оказывается, его съел бенгальский тигр). Однако «тайны Пушкина», вернее, каковы были конкретные замыслы (о всей ли жизни пьеса, или о последних годах) Горенштейн мне так и не открыл.

55 Ф. Горенштейн, «Сто знацит?».

56 Дени Дидро, Жак-Фаталист и его хозяин.

57 Тогда, как в леммовской версии герой вернулся домой.

58 Ф. Горенштейн. Бердичев

59 Фридрих так и не купил компьютер, как мы его не уговаривали. Я уверяла его, что бояться компьютера не надо, и что если даже я научилась на нем работать, то он и подавно научится.

60 Имеется в виду «Иван Грозный», которого он «надиктовывал» нам для того, чтобы эти тексты возможно было потом внести в компьютер. Фридрих в награду за труды подарил нам эти кассеты.

61 Горенштейн говорит о предисловии к роману «Веревоная книга». Книге предшествует предисловие глубоко почитаемого им Александра Ивановича Герцена, который, конечно же, с удовольствием согласился написать литературному коллеге Горенштейну предисловие. Впрочем, весь роман состоит из подобных метаморфоз.

62 Крис «держал» Горенштейна в строгости, сибаритствовать не давал, порой же садился на рукопись и не давал писать. Горенштейн никогда не возражал Крису, считая, что ему все позволено, поскольку у него «алиби».

63 Горенштейн имеет ввиду рассказ «Арест антисемита», который посвятил Ольге Юргенс.

64 Горенштейн читал тогда несколько книг немецких авторов о Сталине. Из письма Ларисе Шциголь: «Волкогонов мне, наверно, не нужен. Он антисталинист, и это так же, как и сталинисты, необъективен. Я уже недели три перевожу с немецко-

го на русский книгу о Сталине Исае Дейча. Это относительно объективная книга, и она мне помогает».

65 У нас был огромный платяной шкаф во всю стену, который мы отдали Горенштейну с тем, чтобы он, наконец, разместил свои «пять английских пиджаков», о которых он писал в «Памфлете», а также все остальное. У Фридриха было много по-настоящему красивой дорогой одежды. Шкаф водрузили в маленькой комнате, которая располагалась ближе к кухне.

66 Речь идет о той самой Немецкой академической службе культурного обмена, которая в 1980 году пригласила Горенштейна в Германию со стипендией на год, а затем еще и помогла ему в Германии остаться. Писатель считал для себя долгом не пропустить ни одного мероприятия, на которое его приглашали. А приглашали его всегда. Сложилась традиция, по которой я тоже не пропустила ни одного мероприятия (иногда присоединялись Борис и Игорь). На юбилее Академии искусств 2 июня мы были втроем: Юргенс, Горенштейн и я.

67 Чтение Фридриха 27 мая 2000 года прошло с большим успехом и заметно выделило его среди остальных писателей, приехавших из разных стран. Он читал парижские сцены из романа «Летит себе аэроплан».

68 Фридрих решил похудеть в основном из-за диабета, который прогрессировал. Пирог он упоминает в связи с тем, что Ольга пекла очень вкусные пироги и умудрялась привозить их из Ганновера еще теплыми.

69 Библиотека института Восточной Европы Свободного университета Берлина.

70 Имеется в виду «Веревоочная книга».

71 Время от времени писатель «угрожал», что ничего когда-нибудь делать не будет, но свидетелями «ничегонеделания» мы так и не стали. Наоборот, приходилось «притормаживать» его, успокаивать даже, говорить, что написано им достаточно, на хорошее собрание сочинений хватит, и незачем так напрягаться и торопиться.

72 Образ Пушкина, изображаемого современниками и их потомками как человека с плохим неуживчивым характером и даже как плохого человека, интересовал и тревожил его. О нем, о Горенштейне, говорили тоже самое.

73 Ольга Юргенс не сумела тогда приехать, и мы вдвоем с Фридрихом поехали на очередную «академическую» встречу. Помню, что сидели в саду за столом и разговаривали о Тургеневе, о теме любви в его творчестве, которая зарождается, затем загорается, но никак не «реализуется». Между влюбленными, кроме неперенных разговоров о судьбе России, искусстве, по-

литике, ничего не происходит, затем они расходятся, как правило, навсегда.

74 Горенштейн спрашивает о рисунках Юргенс к роману «Под знаком тибетской свастики».

75 Неосуществленный проект (но начатый) к комиксу «Унхерн и Подмойский» с иллюстрациями Юргенс. Ею было тогда проиллюстрировано несколько произведений: романы «Искушение», «Зима 53-го года», а также рассказы «Старушки», «Дом с башней», «Улица Красных зорь», «Последнее лето на Волге». Фридрих говорил Ольге, что надеется опубликовать все это в издательстве «Эксмо» в Москве, где издавался роман «Псалом».

## От автора

Источники, по которым можно было восстановить биографию писателя, немногочисленны. Я благодарна тем, кто снабдил меня материалами, устными воспоминаниями и письмами: Ольге Юргенс, Ларисе Щиголь, Татьяне Черновой, Наталье Дамм, Аркадию Яхнису, а также моей семье. Тем более, что я старалась следовать примеру Горенштейна, любившего работать с письмами, дневниками, газетами... Я уже говорила, что романтики любили документы и устные рассказы. А Шатобриан обращался за помощью к жене, у которой была прекрасная память – она восстанавливала нужные ему эпизоды из прошлого. Водсворт любил читать дневники своей сестры, благо она ему это разрешала.

Приведу несколько примеров творческой помощи. Так, Ольга Юргенс записывала, по возможности, некоторые мысли писателя и недавно нашла у себя замечательную запись его слов, которую можно было бы сделать даже и эпитафией этой книги: «Даже пророк не пророчит из воздуха. Пророчить – это значит видеть уже выросшим дерево из конкретно существующего ростка».

Ольга Лозовицкая рассказала мне о деревне, в которой родилась, и ее рассказ лег в основу главы «Внучатая племянница Хрущева». Мой муж Борис запомнил много «испанских» бесед с Фридрихом, мы с ним в деталях восстанавливали беседу об орудии убийства убийцы Троцкого, и это заставило меня «пересмотреть» в творчестве Горенштейна инструментарий индивидуального террора. У сына моего Игоря оказались некоторые письма и документы писателя. Кроме того, он помог мне в поисках материалов эпохи шестидесятников и окончательной редакции книги.

Я писала довольно быстро, по горячим следам, так что создавалось, казалось, что кто-то торопил меня и шептал: «пиши, пиши, пиши». Или же глубокой ночью напевал мне: «спят курганы темные, солнцем опаленные и туманы белые ходят чередой. Через рощи шумные, и поля зеленые вышел в степь донецкую парень молодой». Так что, у книги, может быть, есть и своя мелодия.

Всем друзьям Горенштейна, моим наставникам и советникам, вдохновившим на создание книги, выражаю глубокую признательность.

# СОДЕРЖАНИЕ

## ЧАСТЬ I

---

1. Там на шахте угольной паренька приметили.....	7
2. Нарисованные фотографии .....	18
3. На пороге больших ожиданий .....	21
4. Кремлевские звезды .....	28
5. Цена диссидентства .....	47
6. Москва - Оксфорд - Бердичев .....	58
7. Берлинские реалии .....	70
8. В зеркале загадок .....	80
9. «Внеочередной роман» .....	88
10. О Русском Букере и других почестях .....	99
11. «Луковица Горенштейна» .....	105
12. Город мечты и обмана .....	113
Примечания .....	122

## ЧАСТЬ II

---

13. Постоянное место жительства .....	136
14. Aemulatio .....	148
15. Смешная печаль .....	158
16. Внучатая племянница Хрущева .....	164
17. О литературных провокациях .....	171
18. «Место свалки - Бабий Яр» .....	181
19. Вокруг «Веревочной книги» .....	191
20. Отступление о литературных толках, спорах о Достоевском и моем сне.....	210
21. Петушиный крик .....	216
22. Солярис .....	227

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Несколько писем Фридриха Горенштейна Ольге Юргенс ...	230
Первый отклик на смерть писателя .....	235

Примечания .....	238
------------------	-----

От автора.....	245
----------------	-----

**Mina Polyanskaya**  
**«Ya - pisatel nezakonniy»**

---

**Мина Полянская**  
**«Я – писатель незаконный...»**

Записки и размышления о судьбе и творчестве  
Фридриха Горенштейна

**Computer design Anna Genova**  
**Cover Design Artiom Gassan**

**ИЗДАТЕЛЬСТВО**  
**СЛОВО–WORD**

**SLOVO–WORD**

**Publishing House**

139 East 33rd Street #9M  
New York, NY 10016, U.S.A.

**Tel.:** (212) 684–2356

**Fax/Tel.:** (212) 686–0199

**E-Mail:** slovo.word@verizon.net

**Url:** www.slovo–word.com

**Copyright ©2004 by Mina Polyanskaya**

**All rights reserved.**

No part of this publication may be translated, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without prior permission in writing from the copyright holder.

**Library of Congress Cataloging Number:** 2003115556

**ISBN:** 1930308736

**Printed in U.S.A.**





**CAOBO  
WORD**